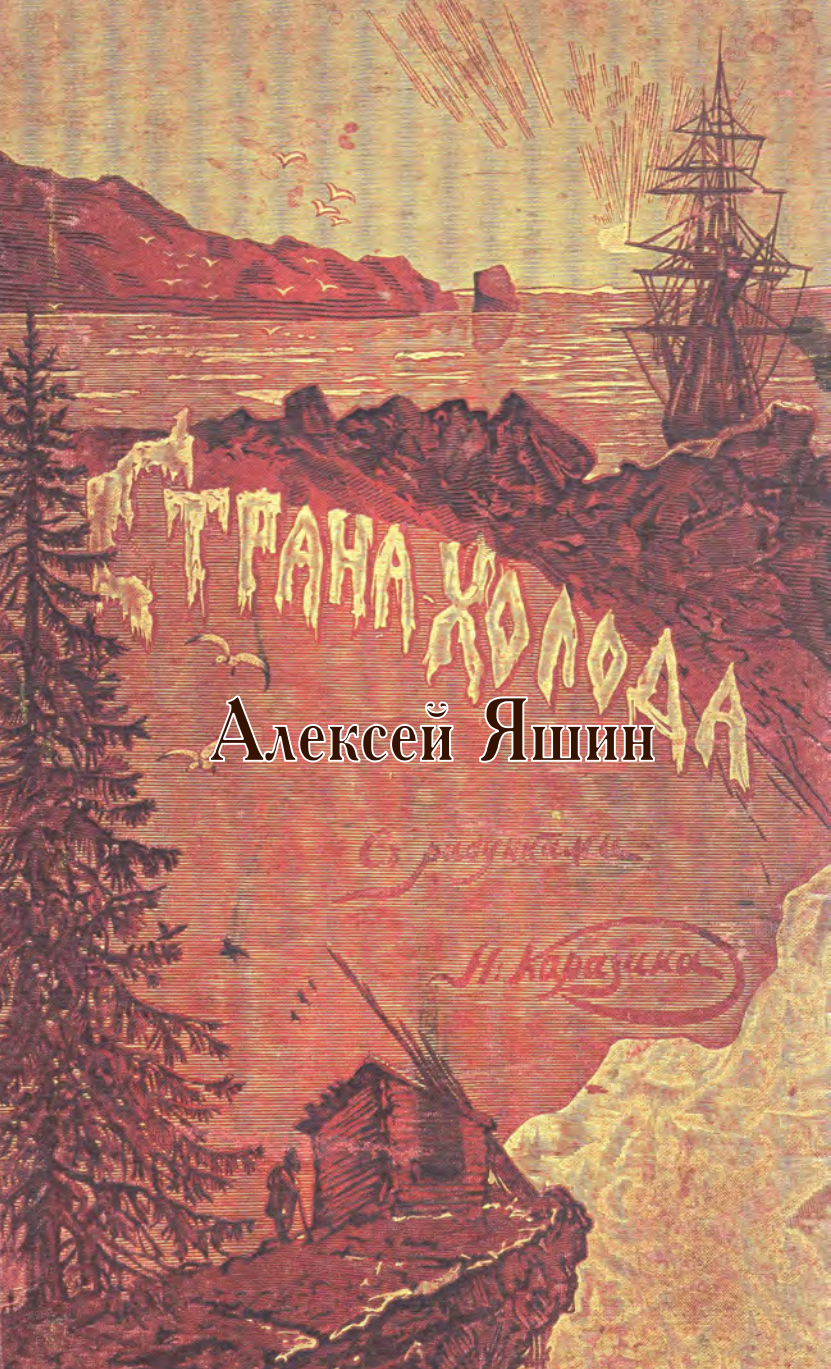




СТРАНА ХОЛОДА

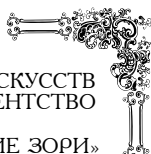
Алексей Яшин

С рисунками

Н. Карацук



ПЕТРОВСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК И ИСКУССТВ
НЕЗАВИСИМОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ АГЕНТСТВО
«МОСКОВСКИЙ ПАРНАС»
БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «ПРИОКСКИЕ ЗОРИ»

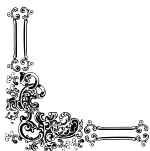


Алексей Яшин

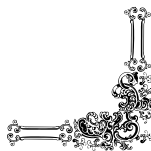
СТРАНА ХОЛОДА

(ДЕТСТВО В ГИПЕРБОРЕЯХ)

Повесть



МОСКВА
«МОСКОВСКИЙ ПАРНАС»
2009



ББК 84 Р7 (Рос.—Рус.)
УДК 882
Я 96

Яшин А. А. Страна холода (Детство в Гипербореях): Повесть / Предисл. Л. В. Ханбекова: Петровская академия наук и искусств. Независимое литературное агентство «Московский Парнас». — Москва: «Московский Парнас», 2009. — 351 с. (Библиотека журнала «Приокские зори»).

ISBN 978-5-73300-554-1

Настоящая книга продолжает повествования авторизованного героя Николая Андреяновича. За душой наблюдательного повествователя достаточный жизненный опыт; ему есть с чем сравнивать веселые новейшие времена первоначального накопления капитала. Автор обращается к раннему детству своего героя, только-только начинающему осознавать себя частью неведомого пока, огромного мира, даже если этот мир вмещает в себя крохотный островок в Кольском заливе с полутора десятками его насельников. Но помножьте эту малость на необычность «малой родины» Николки: самое что ни на есть Заполярье с великолепными, суровыми красотами здешних лета и зимы, северных сияний. Голые скалы, шторма и многомесячные туманы, а из окна маячного дома Николка, как обычно, видит китов и стаи резвящихся касаток. Но в то же время это не лютая глухомань, а очень энергичный край: все губы-фиорды буквально забиты боевыми кораблями Северного флота. А в глубь полуострова — многолюдные города, где строятся и уже работают огромные комбинаты, дающие стране никель, апатит, руду для череповецкой «Северной Магнитки». Вот в таком краю, недавно диком, медвежьем, и постигает таинства мира шестилетний Николка.

Иллюстрации и обложка Н. Н. Каразина из одноименной книги «Страна холода» В. И. Немировича-Данченко (1877 г.).

© Яшин Алексей Афанасьевич, 2009

© Ханбеков Леонид Васильевич,
предисловие «К читателю», 2009

К ЧИТАТЕЛЮ

В своей книге о творчестве Алексея Яшина* я так начал первую главу: «Мне кажется, с каждым из нас, в детстве, в ранней юности, случается событие, которое определяет всю последующую жизнь. Только мы, бывает, не отдаемся ему сразу с полным доверием, как материнской или отцовской руке. Или не находится рядом человека, который бы «расшифровал» это событие, как пророческий знак судьбы. Судьба-то, она непременно потом, через годы, выведет на ту, указанную дорогу...»



И — добавлю уже сейчас — это непременно случится, если раннее детство прошло в совершенно неординарной среде, а какой? — Читатель поймет это с первых страниц новой повести известного прозаика из Тулы.

Итак, это уже четвертая книга с главным героем Николаем Андреяновичем, литературным alter ego автора. Да он этого и не скрывает — хотя бы фактом представления первых трех книг на Бунинскую премию 2008-го

* Ханбеков Л. Тульский энциклопедист. Штрихи к творческому портрету Алексея Яшина. — М.: «Московский Парнас», 2008 (Серия «Созвездие России»); то же самое см. в книге: Ханбеков Л. Собр. соч. в 4-х тт. Т. 4. — М.: «Московский Парнас», 2009.

года, что была объявлена в номинации автобиографических произведений. Дальше «шорта» Алексей Яшин тогда не пошел; литературные премии дело — тонкое; все, как сказал Белов в названии своего романа, впереди. Тем более, что по представлению «Московского Парнаса» за эти и некоторые другие книги Яшин стал лауреатом премий им. Александра Фадеева и им. Валентина Пикуля. Символично, что последний провел свое военное детство в тех же местах, что и герой яшинской тетралогии, а отец писателя, моряк-североморец Афанасий Яшин, в годы войны был знаком с юнгой Северного флота Вале́й Пикuleм. До чего же тесен наш такой большой мир!

Но вернемся от любопытных литературных реминисценций к новой книге Алексея Яшина.

Все мы, учившиеся в советской школе (про нынешнюю умолчу...), помним традицию русской беллетристики: создание автобиографических книг в триединстве детство-отрочество-юность. Лев Толстой и Горький, Гладков и Чаплыгин, Каверин и Гарин-Михайловский... И даже кто таких трилогий не писал, почти обязательно обращался к теме творческого взросления — в смысле творческого, активного восприятия разворачивающегося мира, перед ребенком, отроком и юношей. Достаточно назвать гениального «Подростка» Достоевского. А прекрасные сказки о детях Пришвина и Мамина-Сибиряка? Из новой эпохи, конечно, Аркадий Гайдар (не будь к ночи помянут его внучек...).

В эту традицию вносит свою лепту и Алексей Яшин, в определенном смысле быто-

писатель мурманского, североморского Заполярья 50—60-х годов.

Итак, лето пятьдесят четвертого года — с незаходящим в тех широтах солнцем; на три-четыре месяца Страна холода сбрасывает с себя покров снега, рассеиваются плотные и вязкие, как кисель, вечные туманы, не штормит незамерзающее море. Всего год, как Николка вышел из затянувшегося младенчества; в тех местах детей не торопят во взрослую жизнь, жалеют, дескать, будут тебе еще труды и заботы, радуйся пока, малец, уюту домашнего мирка. Вот исполнится семь лет — в Полярный тебя отвезут, в школу и интернат, на целых девять месяцев. А на каникулы? — Это если море долгосрочно не заштормит, и попутный военный катер сумеет пришвартоваться к скалистому пирсу-камню островка Седловатого. Так закончится и у Николки беззаботное детство в Гипербореях.

Все это читатель найдет в повести. Понятно, это лишь антураж, хотя и сразу привлекающий, занимающий воображение читающего «Страну холода». Но ведь перед нами не этнографическое описание бывших «медвежьих углов», а через свою душу пропущенное повествование о становлении человека, хотя ростом и разумом еще человечка. Не нужно апеллировать ко всяким ученым — переученным психологам и педагогам; мол, сами с усами, и знали по своему личному опыту жизни: все в человеке — хорошее и плохое, творческое и обыденное — раз и навсегда закладывается в детстве. А вся последующая жизнь как бы наслаивается на эту основу. И если еще ребенком осознал себя как творче-

ски мыслящую, вдумчиво наблюдающую натуру, то во взрослении тебя не оглупит даже современное, зомбирующее телевидение. «Яка така закавыка», как говорил вахмистр из «Парохода «Саратов» Бунина, а «закавыка» в том, что, увы, только восемь процентов людей могут самодостаточно мыслить, то есть мыслить творчески, а не по указке телеведущего. Я всегда об этом догадывался, но точную и аргументированную пропорцию эту мне сообщил в своих письмах Алексей Яшин; область его профессиональных научных интересов как раз ноогенез: ноо — разум, генезис — развитие; греч. Доверять известному ученому можно.

...Но как приходит к мальчугану этот зоркий взгляд на обыденные, казалось бы, вещи: дом, родители, семья, скалистый остров, его обитатели, все перипетии взаимоотношений в почти изолированном мирке?

Конечно, многое дают гены, но не все. Всегда значительна роль тех условий, в которые поставлен этот человек: от характеров и взаимоотношений родителей до климата места проживания. Удалось ли автору раскрыть процесс душевного, мыслительного взросления только-только вступившего в сознательную жизнь человечка? Об этом судить читателю.

Отметим весьма существенное. В «Подростке» Достоевского прослеживается одна мысль, являющаяся лейтмотивом книги: вся взрослая жизнь человека, особенно творческого, есть развитие вишь — анализ и вглубь — синтез наблюдений-впечатлений, что заронила в душу ребенка среда его проживания и воспитания. Наш автор — прямое подтвер-

ждение этого философско-художественного утверждения Федора Михайловича.

Действительно, кто прочитал две-три книги Алексея Яшина, а сейчас знакомится с этой повестью, сразу — и невольно — отметит про себя: а ведь вся мотивация поступков, действий, мыслей героев «взрослых» книг писателя является развитием детских впечатлений Николки? А как может быть иначе, если и ребенок Николка, и мудрствующий нелукаво Николай Андреянович, и автор книг о них — одно и то же лицо, один и тот же ум и характер в динамике их развития и художественного отображения...

И еще одна *nota bene*: как всегда неординарен, оригинален автор в художественном оформлении книги. Об этом я писал в «Энциклопедисте»; де-факто Алексей Яшин возродил традицию русского литературного лубка. На сей раз он иллюстрировал повесть рисунками замечательного художника-этнографа XIX века Н. Н. Каразина — рисунками тех мест, где прошли детство и отрочество героя книги.

Леонид Ханбеков,
литературный критик, вице-президент
Академии российской литературы

ОТ АВТОРА

Как, несомненно, обратит внимание читатель, книга иллюстрирована одним из самых замечательных художников XIX века, работавших в этом жанре. Приведем его краткую творческую биографию из «Энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона»: «Николай Николаевич Каразин (1842—1908 гг.), художник-этнограф, иллюстратор и писатель, один из учредителей «Общества русских акварелистов». Сюжеты иллюстраций Каразина — типы и сцены из среднеазиатской жизни*, военные сцены и пр. Романы и повести: «Двуногий волк», «В камышах», «На далеких окраинах» и др.».

Воспроизводимые ниже иллюстрации Н. Н. Каразина взяты нами из книги «Страна холода» (издана в 1877 году); также приведем из словаря Брокгауза — Ефрона биографическую справку об авторе этой замечательной книги: «Василий Иванович Немирович-Данченко (1848—1936), писатель. Увлекательно написаны путевые очерки: «Соловки», «Кама и Урал», «Очерки Испании», «Год войны» (собрание корреспонденций с театра войны 1877—78). Романы: «Плевна и Шипка», «Цари биржи» (1886), «Кулисы» (1886) и многие другие. Сборники рассказов: «Незаметные герои» (1889), «Семья богатырей», «Святочные рассказы» (1890)».

* «Ориенталистские» иллюстрации Н. Н. Каразина были использованы в нашей книге: «Без руля и без ветрил» (М.: «Московский Парнас», 2009).

Полагаем, что приведенное выше напоминание не лишне, ибо сегодняшний читатель вряд ли что слышал о Каразине, а фамилию Немирович-Данченко ассоциирует исключительно с братом писателя — драматургом и совместным со Станиславским основателем и соруководителем МХАТ'а Владимиром Ивановичем (1858—1943). А вот в последней трети XIX — начале XX вв. их имена, как иллюстратора книг и писателя — причем оба выраженные этнографы — были известны всем читающим в России; как говорится, от семинаристов и гимназистов до царевых министров. Являясь корреспондентами ведущих русских журналов и газет, Немирович-Данченко и Каразин «из первых рук» знакомили Россию с событиями почти всех балканских и среднеазиатских войн империи названного периода отечественной истории.

...Купив в 1969 г. в тульской «Буккниге» (на этом месте сейчас площадь Ленина перед зданием администрации), удивительно богатой в те годы на книжные раритеты, книгу Немировича-Данченко с иллюстрациями Каразина, ахнул: ведь в точно такой же шестилетним разглядывал картинки у маячника Матронины, а брат Толька читал мне, тогда неграмотному, оттуда сказки из жизни местных лопарей; прочитал уже сам в один присест — и не удивительно: минуло всего три года, как наша семья уехала из Заполярья, а именно этим местам и посвящена «Страна холода». И пусть в год издания книги еще не были основаны города Николаев-на-Мурмане и Александровск, ныне Мурманск, где я родился, и столица Северного флота Полярный, где я жил, но все в книге было предельно хорошо

узнаваемо. И хотя герой уже нашей книги, шестилетний Николка, с радостным изумлением постигает открывшийся ему после беспмятных лет младенчества мир людей и предметов в самое теплое летнее время, но и он уже постоянно держит в уме, что живет в Стране холода, где, по присказке, девять месяцев зима, остальное лето. Поэтому-то и названа — в продолжение литературных традиций — наша книга тоже «Страна холода». Главное — рос Николка в то прекрасное время, когда холод физический, атмосферный многократно перевешивался теплом добрых, хотя внешне и грубоватых, людей советской, русской Гипербореи.

СТРАНА ХОЛОДА.

ВИДѢННОЕ И СЛЫШАННОЕ.

В. И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО.

*Бѣлое море. — Мурманъ и сѣверная Норвегія. — Лапландія. — Новая
Земля. — Вайгачъ. — Племена глухаго угла.*

СЪ 25 РИСУНКАМИ Н. Н. КАРАВИНА.



ИЗДАНИЕ КНИГОПРОДАВЦА-ТИПОГРАФА М. О. ВОЛЬФА.

С. ПЕТЕРБУРГЪ.

Госпитальный дворъ, №№ 13, 19 и 20.

МОСКВА.

Кузнечій мостъ, домъ Третьякова.

1877.

«ВОСПОМИНАНИЕ БЕЗМОЛВНО ПРЕДО МНОЙ СВОЙ ДЛИННЫЙ РАЗВИВАЕТ СВИТОК...»

Николай Андреянович* уже не первый год ожидал со смешанным чувством первое января. С одной стороны, обычное предпраздничное состояние души, но с другой — как-то смущали новомодные каникулы, собезьяниченные у западников с их рождественскими посиделками-погулялками по боулингам, бистро и прочим скромным заведениям.

А почему смущали все же, по существу, отвлекаясь от подражательства европам-американам во всем? — С одной стороны, еще не по привычке народ трудовой к десятидневному безделью. Особенно те поколения, кому за «полтинник», к которым теперь и сам Николай Андреянович принадлежал. Привыкли, понимаешь, сами, да еще от отцов-дедов уже в генах закрепили: после лета входить в рабочий ритм, слегка погуляв на ноябрьские праздники (не от Смутного времени, как сейчас, а от Октябрьской революции), к Новому году достигнуть апогея, лишь на пару дней отвлекшись — тосты под бой кремлевских курантов, генсек, теперь президент, оливье... — и с напором курьерского, рассекающего снежные русские равнины, трудиться до очередного, летнего отпуска.

Правда, где-то между четвертой и пятой

* Неизменный наш персонаж; см. книги: «Тяжело дышит синий норд» (Тула, 2003); «Живые шахматы: Новые рассказы Николая Андреяновича» (Тула, 2006); «2007 — Штиль: Третья книга рассказов Николая Андреяновича» (Москва, 2007).

Золотой звездой на широкую грудь добрейший Леонид Ильич несколько расширил праздники майские, так что первая декада этого месяца урожденных тельцов по Зодиаксу получалась каникулярной, навроде нынешней новогодней, но трудовой темп не сбивала, ибо совпадала с весенней дачной горячкой.

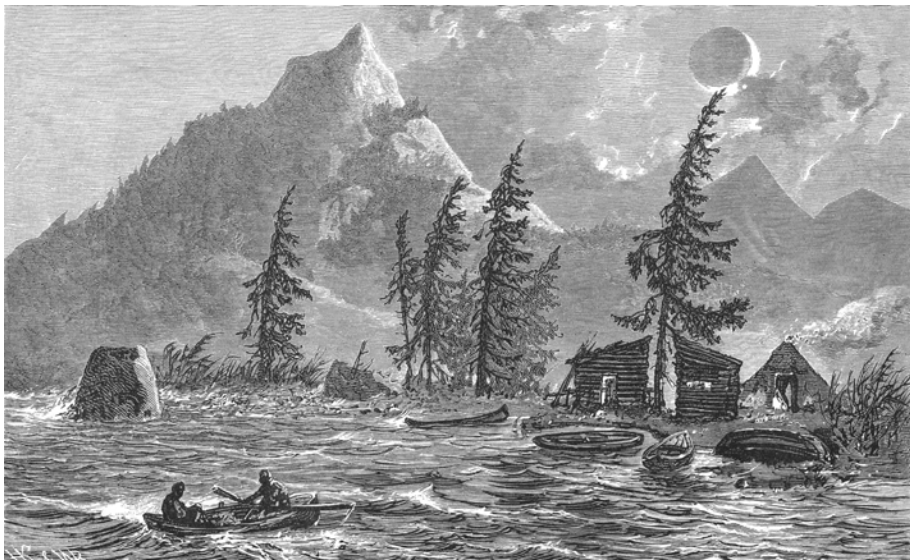
...А тут тебе расслабление посредине зимы. Чем эти десять дней занять? Ну, допустим, олигархеры со своими девочками и мальчиками для услуг в Куршавеле отсидаются, оставят тамошним халдеям стоимость непостроенного танкового полка или эскадрильи истребителей. Еще миллион допущенных в нынешний класс-гегемон порезвится в околоэкваториальных странах и на экзотических островах, отвезя туда цену большого противолодочного корабля... Николай Андреевич, только недавно оставивший инженерную работу в оборонном НПО «Меткость» и ставший доцентом университета, все переводил на военную технику.

Найдут себе занятие в корпоративных вечерниках с сексуальным продолжением «по обоюдной договоренности» пяток миллионов разного оттенка «менеджеров» и «офисных креветок». Конечно, за всех них можно только порадоваться, но остальным-то без малого полутора сотням миллионам россиян и россиянок чем заняться? — Водку всю не выпьешь, грянувший по ранней осени мировой кризис империалистической финансово-спекулятивной системы понизил половую активность — от высоких мыслей как свести концы с концами, в фигуральном, конечно, смысле — не только рядовых тружеников, но даже и столь лелеемого в заботах,

преимущественно словесных, управляющего странной среднего класса. А где нет водки и секса — там пустота души и неуютность тела.

Добрейшая, не хуже достопамятного Леонида Ильича, супруга в ответ на его доверительно-семейные жалобы урезонивала, как и положено в женском характере, уже привыкшая к новым реалиям жизни: «И как это ты все держишься за совковую привычку заботиться обо всех? Сейчас время пришло о себе и своей семье думать, а остальные и сами разберутся. Тем более, что у тебя-то найдется чем эти каникулы занять: твоей писаниной безденежной, ну-у, почти безденежной. Хоть под бой курантов и поздравления нового нашего президента начинай строчить. Все одно — в гости на Новый год не пойдем, праздник семейный... Знаю, знаю, тыщу раз говорил, но все равно — семейный. Вот по радио и телевизору постоянно об этом говорят!»

Ох, женщины, женщины; телевизор у вас всегда мужа перекукует! Нет, бесполезно им объяснять, что стереотип: «Новый год — праздник семейный» — это наследие дореволюционных времен, перенесенный в наши дни совершенно бездумно. Все дело здесь в переходе революционной России от юлианского календаря, как тяжелого наследия реакционного царизма, к европейскому григорианскому. Это самое дело в том, что до семнадцатого года, до декретов Советского государства собственно встреча Нового года, учрежденного как праздник западником Петром, у русского народа так и не прижилась; только в светском обществе, у некоторой части городской интеллигенции, да либеральных по-



Береговая почтовая станция

мещиков и получивших среднее образование купцов Новый год отмечался. Но все равно «не в ногу» с просвещенной Европой, ибо уса́тый наш император начало года перенес с сентября, как то до него имело место быть, на январь, но календарь на европейский заменить не решился, опасаясь церковного раскола похуже никонианского.

Итак, получалось, что до пришествия на Русь класса-гегемона в ватных чуйках и бра-тишков, перепоясанных пулеметными лентами, новогодние или около того праздники расслаивались. За тринадцать суток до календарного юлианского Нового года высший свет устраивал балы в знак солидарности с европейским, григорианским Новогодом. Диссидентствующие, либеральные по тогдашней номенклатуре, интеллигенты тоже рюмахи поднимали. Остальной же народ и ухом не вел. А через неделю, двадцать пятого уже вся страна с елками, с колядками, весело и шумно, отнюдь не запершись по хатам, праздновала Рождество Христово; это которое ныне седьмого января по григорианскому, гражданскому календарю; как всем хорошо известно, русская церковь, наряду с православными Сербии, Грузии, Греции и Иерусалимской патриархией, до сих пор не отреклась от календаря римского цезаря Юлиана в пользу численника папы римского Григория *n*-ского. Хотя бы того цезаря и называют Отступником, ибо временно вернул Рим, уже ставший христианским, к старозаветному язычеству.

Затем следовала отдохновенная, официально нерабочая неделя с массовыми гуляньями, выпивкой и высококалорийной закуской. Завершал ее юлианский Новый год — наш нынешний

Старновгод. Но в те времена его встречали несколько холодно: во-первых, русский народ во все времена, тем более включая нынешние, всегда относился к госпраздникам как-то отстраненно: дескать, пушай их чиновники в департаментах и празднуют. Во-вторых же и главных: за рождественскую неделю уже все выпито-съедено, народ утомился, а юлианское первое января — рабочий день; неопохмеленных тогда в департаментах, фабриках, лавках, полках и даже в редакциях либеральных газет не терпели. Вот потому-то накануне Нового года массовые гулянья прекращались, а народ, дабы не искушаться на большее, сидел по домам, к ночи постепенно снижал норму выпивки, а когда на темном небушке всходила в апогее рогатая луна, небрежно помолясь (а супруги — истово), все ложились опочивать.

Потому со смехом и говорилось: Рождество — разгуляй на миру, а Новый год — семейный вечер.

Но когда большевики Троцкого и Ленина при одобрении братишковых с лентами патронов калибра 7,62 мм отлучили церковь от пролетарского государства и с подачи интернационалиста Льва Давыдовича перешли на ватиканский ежедневник-организайтер, то, во-первых, Новый год, как телега перед лошадьёю, оказался перед Рождеством, но, главное, во-вторых, переимчивый русский народ скоренько отвык от религиозного дурмана и забыл на семьдесят лет про Рождество... да и сейчас его знает исключительно из передач радио-телевидения, вмиг сделавшего обратный двойной кульбит: перескочил из советского госатеизма в новейшую госрелигиозность.

Итак, акценты сместились, народ начал весело праздновать начало очередного года очередной сталинской пятилетки, потом хрущевской семилетки, сызнова пятилетки при Леониде Ильиче, причем праздновать шумно и коллективно: в клубах городских и деревенских, студенты в общагах, интеллигенция в ресторанах, даже члены Политбюро на ближней даче Иосифа Виссарионовича и так далее. Дома, запершись, сидели, нахохлившись, только недобитые контрики, сектанты и вообще религиозные нонконформисты. Даже воры гуляли по малинам всем трудовым коллективом.

Так шло до начала восьмидесятых годов. Сам Николай Андреевич из того периода своей жизни насчитал не более двух-трех домашних встреч Нового года, то есть не в гостях, не в ресторане за столом на два десятка персон, не в ином людном месте. Но за пару лет до прихода к власти Горби-демократизатора какой-то малограмотный (а кто из них грамотный?) журналюга, все перепутав, запустил через СМИ утку о традиционной семейственности встречи Нового года. Ее подхватили все собраты по перу и экрану. А потом начались волчьи девятые годы, когда зимой после 18:00 по московскому времени народ не решался выходить из дома, даже в новогоднюю ночь. Вот так прежде коллективный праздник превратился в оливье, поздравления президента с телеэкрана и угрюмую квартирную пьянку, с недавнего времени и вовсе переросшую в декадный запой. На радость частнопрактикующим наркологам с выездом на дом: две с половиной тысячи рублей за флакон впушенной в вену страдальца дистил-

лированной водички с каплей пирасетама и кубиком рибоксина.

...Эту, несколько нудноватую, но совершенно верную историю вопроса Николай Андреянович без конца рассказывал всем: женщинам, коллегам-преподавателям. Даже малоразумным своим студентам на лекциях. Реакция получалась различной. Женщины, включая личную супругу, морщились при упоминании революционных имен, особенно Сталина, и вообще реалий советского периода истории; ссылались на достоверность телевизора: «Там лучше знают: семейный, так и значит — семейный!»

Преподы возрастом за сорок охотно соглашались, но камнем преткновения для всех них оказывался мудреный пересчет с юлианского на григорианский численник. Даже матерые доценты с матмеха их *универа* задумывались, поднимали взоры долу, что-то шептали губами, сопровождая умственные упражнения, потом обреченно махали рукой: дескать, Андреяныч, без бутылки не осилим. И только доцент-патриот Язвишин с медико-физкультурного факультета и его, Николая Андреяновича, коллега по кафедре с похожей фамилией Яцышен самостоятельно осилили календарный пересчет. Правда, после застолья в «Хантах-мансях» — распивочной-«стекляшке». Более того, патриот Язвишин, самостоятельно освоивший недавно теорию многозначной логики Александра Александровича Зиновьева, выдающегося философа и автора публицистического романа «Зияющие высоты», за который обиженный Суслов приказал выдворить его за бугор, через пару дней после бурной дискуссии в «Хантах-мансях» вручил Николаю

Андреяновичу лист писчего формата, весь исписанный логическими знаками, кванторами и прочими атрибутами математической логики. «Вот тебе, Андреяныч, полное, логически непротиворечивое доказательство твоей правоты по части Нового года!»

Пришлось Николаю Андреяновичу пригласить доцента на пару-тройку стопок очищенной в распивочную «Сайгон» на Серебрянской — ближайшую народную от университета...

Студенты же тупо молчали. Все им было по фигу. Николай Андреянович даже обиделся, разгорячился: «Какие-то вы все инертные, даже свои интересы не отстаиваете! Вон в Греции уже месяц ваши коллеги громят на улицах все подряд, протестуют против масонской Болонской системы высшего образования: все эти бакалавры-магистры вместо нормальных инженеров, идиотский ЕГЭ, тестовая система для креатинов, фикция стобалльной системы... Эх, вы!» — «А мы все это в гробу видели, — в наступившей тишине послышался голос с верхотуры лекционной, с амфитеатром аудитории, — на нас где сядешь, там и слезешь. Мы свое дело туго знаем. Хотя миллинобалльную систему оценок вводи — все одно — вы же, Николай Андреянович, нам этот «лимон» баллов на экзамене поставите, ну-у, хотя бы семьсот штук баллов, чтобы мы отвязались. Вот вам еще в голову эти фиктивные баллы брать за вашу-то зарплату, не намного превышающую нашу стипендию!»

Николай Андреянович вмиг повеселел, рассмеялся одобрительно: дескать, наш студизус — кремень, его не только болонской систе-

мой не возьмешь, но даже экспериментами Академии образования.

...А супруга права: именно эти новомодные «каникулы» ему есть чем занять. По поздней осени как-то вызвал в свой кабинет завкафедрой несколько сотрудников, Николая Андреяновича тож:

— Ну, господа-товарищи, у нас небольшой праздник: не забыли в Минобразовании, что в советское время наша кафедра дала двух генеральных конструкторов из всего-то четырнадцати по стране, пятерых Героев соцтруда и без счета лауреатов Ленинской и Госпремий. Дали нам грант на написание учебника по проектированию ракет для борьбы с «томагавками» и прочими низколетящими монстрами наших, как сейчас говорят, заокеанских партнеров по борьбе с мировым терроризмом. Уф-ф, без бутылка и не выговоришь такое! Вот мы четвером и напишем. Денег на прибавку к нашим зарплатам дали не так уж и много, а сроки, как всегда, минимальные: к началу февраля следующего года представить полностью готовый оригинал-макет для издания.

Да, соавторами будут, само собой, наш проректор по научной части, главный специалист Фомченко из НПО «Меткость» и еще двое из Минобраза и Миннауки. Сами понимаете, что за учебник надо еще и Премию правительства выправлять.

Николаю Андреяновичу достался по разнарядке раздел по конструкторским расчетам — по его прежней специальности в «Меткости». Работалось ему споро, оставалось оформить только две главы, Впрочем, уже мысленно

стройно выстроенные. И с ними он планировал пошабашить к окончанию новогодних каникул.

Поскольку же после аномально (а что сейчас в мире не аномально?) Разве что братьяхохлы четко выдерживают норму: устраивать к Новому году очередной газовый спектакль) теплой осени, включая декабрь без снега и мороза, с первого января грянули непривычные «минус пятнадцать», то и вовсе ничто не отвлекало Николая Андреевича от письменного стола. И как истовый стахановец он завершил труд досрочно: в запасе остались два каникулярных дня.

Чем их занять? Водку пить не хотелось в одиночку — это совсем последнее дело. На улице все также потрескивал мороз, дул северо-восточный ветер; даже в парке зябко и неуютно.

Вспомнив о парке, усмехнулся. На прошлой неделе прямо за главным входом туда радением нового паркового начальника, милицейского полкаша-отставника, в благодарность за непыльную должность установили огромный стенд, метра три на четыре. На стенде же расклеили сильно увеличенные групповые и «соло» фотографии, живописующие трудовые будни первых лиц города. Мимоходящий народ с интересом рассматривал всенародных благодетелей.

...А на третий день, направляясь на прогулку в парк, Николай Андореянович узрел листок бумаги, притороченный липкой лентой, скотчем по-импортному, в правый нижний угол стенда. С интересом также он прочитал написанное среднеклассным почерком:

«Миром правят инопланетные зоофильные лесбиянки. Они трахаются со всеми животными. Так произошли обезьяны и их ближайшие род-

ственники люди, которые являются самыми па-
костными скотами, из-за которых жизнь на
Земле стала невозможной».

«Ну и интересы у нынешней молодежи», —
несколько изумился Николай Андреянович.

Отдыхать так отдыхать: лежать с книжкой
на диване, искоса посматривая на включенный
супругой телевизор, выходить на полчаса-час
на кухню: попить чая свежей заварки, покурить,
помечтать о свежеизданном учебнике, повышен-
ной зарплате — из средств гранта, и прави-
тельственной премии.

На кухне сиделось хорошо, справа окно, за
окном их двор, и вечером хорошо освещенный.
И никто особо не мешает. Только кот, выра-
стивший себе на зиму шубу, да такую, что
шерсть, как у доледникового мамонта, до пола
свисает, оттого в тепло натопленной квартире
явно одуревший, каждый час заходит к Нико-
лаю Андреяновичу и кланчивается печенку. Забыл,
что совсем недавно ел. Самое интересное: от
рождения очень уж самостоятельный, не позво-
ляющий себя на руки брать, здесь же вспрыги-
вает на журнальный кухонный столик, мурлыка-
ет, ластится к хозяину, бодает головой его ру-
ки... Вновь усмехается Николай Андреянович,
дóбро думает: вот если бы коты являлись воен-
нообязанными, то за полкило печенки хоть каж-
дый день Родину бы продавали!

А вот от случайных взглядов через окно на
двор непонятное, несколько недоуменное ощу-
щение: чего-то не хватает? А-а, вот чего —
детей там нет ни днем, ни вечером. Оно понят-
но, мороз, но ведь не сорок якутских — ойма-
конских? Днем при зимнем солнце и вообще на

термометре за окном семь-восемь градусов. Ну, к вечеру-ночи до одиннадцати-двенадцати опустится. И что? Уже не говоря про свое за-полярное детство, отмечает Николай Андреянович: еще лет пять назад в зимние каникулы двор с самого раннего света и часов до десяти вечерней темени гомонился младшими и средними школьниками. Даже и в мороз поболее. И сейчас в их доме и что напротив — двор общий — достаточно школьников. И этим летом во дворе построили целый детский городок — глава города взял капобязательство весь город застроить фонтанами, цветниками и детским площадками... Из сумм, отпущенных на ремонт домов.

А за окном детская пустота. Где же они проводят каникулы? И только приглядевшись в темноте вечера к окнам противостоящего дома, сообразил, условно разбив все пять этажей четырехподъездного дома на квартиры по три окна: одно окно, кухонное, ярко светится; это хозяйка мужу готовит закуску. Праздник! Среднее окно светит слабее, с меняющейся яркостью; понятно, глава семьи лежит на диване и в телевизор смотрит. А в третьем и вовсе еле-еле уловимый синеватый отблеск света: школьник, сын или дочь, прилип к монитору компа. Либо в идиотскую игру с инопланетянами играет, а может, опасливо порой оглядываясь на дверь, путешествует по порносайтам интернета. Но скорее же всего переписывается с дружкой, что сидит за компьютером в соседней квартире — через стенку.

Скорбно усмехнулся Николай Андреянович, но мудро осуждать никого не стал: дети своего

времени. Как и он сам в детстве был в своем времени, в своем месте. Закурил, предаваясь воспоминаниям.

УТРО БЕЗ РАССВЕТА

Николка проснулся так же мгновенно, как и заснул накануне. Уже прошлым летом он умел четко отличать сон от дневной яви и даже еще раньше, когда мартовская оттепель только-только заменила собой долгие февральские метели — но тогда все же он путался... Только хорошо помнил, как после прошлогодней оттепели над их островом долго-долго носились ветры, море штормило, небо не прояснялось. А затем на весь их мир пали бесконечные туманы, нескончаемые и тоскливые даже для малых детей. Наконец и солнышко стало проныривать в разрывы облаков, уже не зимних, свинцовых, но высоких, не сплошных, к полудню скручивавшихся в барашки, неровно плывущие по синему небу. «Вот и май наступил, а тебе, Николка, через неделю пять лет исполнится», — сказала мать.

Сейчас-то он уже мог словами объяснить и метели с оттепелями, свертывание серого неба в веселые облака-барашки... Но год с лишком назад Николка все это понимал не словами, но как-то по-другому. А когда взрослые, мать, отец, брат Толька, говорили про те же метели, оттепели, облака, то все эти слова по отдельности Николка хорошо понимал, но они пролетали мимо, ничего для него не значили в связи с тем, что творилось за стенами дома.

— Ты, Николка,— говорила тогда мать, добро улыбаясь,— тугодумом растешь. Я-то вот себя сизмальства, с трех лет помню, а тебе вот пять только что исполнилось, а ты как в тумане еще! Смотри, кто в жизни-то тугодумом растет, того сверстники обгонят и всегда поперед тебя будут скакать, а ты за телегой плестись будешь, и то, если вицей* тебя погонять будут.

Сидевший за столом большой комнаты, она же спальня Николки, Тольки и Славки, и заряжавший порохом и дробью латунные патроны для ижевской двустволки отец хмыкнул:

— А куда торопиться? Самое дело время до школы оттягивать сколько можно. Потом-то жизнь быстро полетит, если только войны навреде давешней не выпадет ему; вот где все медленнее угольной баржи тянется! Потом и ты архангельская, не чухонка, что ваши соседи, и я калуцкий из староверов-поповцев, не полутатарской, стало быть, крови, не лопарь тутошний, как Седалин, а значит, оба мы и Николка полные русаки. Был вот умный немец, канцлер Бисмарк, еще до империалистической, так сказал, что русские долго лошадь в телегу запрягают, зато потом быстро скачут.

— Ужо время-то покажет. Больно баско** этот Высморк говорит.

...Эти слова отца и матери Николка запомнил, особенно про грядущую школу, которой его иногда пугали старшие братья: Толька и Юрка, которого взрослые маячники звали Жоркой; на-

* Прут — в смысле розга (северн., архангельск.).— Прим. авт.

** Красиво, гладко (то же самое).— Прим. авт.

стоящее же его имя значилось как Георгий. И еще его занимал таинственный фриц, явно недобитый фашист Бисмарк. Может потому, что сразу вспоминал свои зимние насморки?

А вот сейчас, этим утром он не только ясно отделял сон от яви, но и словесно понимал: себя и все округ он осознанно помнит с неполных пяти лет. Это его нисколько не огорчало. Да и мать, как он уже подспудно понимал, сожалела о беспамятстве больше для разговора: с кем еще в доме поговорить по-бабьи, часами? Отец молчалив, когда не на вахте на маяке, то читает или мужскими хлопотами занят: баню топит, патроны заряжает и на охоту ходит... да мало ли дел у маячника в доме и за его порогом? Юрка и Толька уже в подростки вышли, да кроме лета все время в городе, в школе, в интернате при ней. Толька и на невеликом острове умудряется куда-то исчезать летом на весь день, а Юрке-Георгию этой весной шестнадцать исполнилось: выправил себе в Полярном паспорт и, не доучившись, решил бросить школу и поступать в мурманскую среднюю мореходку, а если не получится, то пойти матросом в тралфлот. Пока же до конца лета уехал на родину матери — близ Плесеца Архангельской области — проводить бабу Татяну, совсем уж плохой ставшую. И с чего бы? — Еще и семидесяти не исполнилось. «Должно быть болезнь какая пристала,— сокрушалась мать,— ведь восемь лет ее не видала с этим Севером проклятушим: с маяка да на маяк перебираемся, вот и Седловатый уже четвертый, да дети один за другим рождаются...».

Николка проснулся, как и не засыпал: он

уже и это понимал — особенность сна в двухмесячный полярный день. Хотя только десять дней, как вернулись всей семьей из отпуска, проведя почти два месяца на отцовской уже родине, в калужской деревне, где день и ночь нормальные, как и здесь по весне и по осени. А зимой все наоборот: одна бесконечная ночь; здесь тоже нет заката и рассвета, границы между сном и бодрствованием условны, но если летом в сон проваливаешься от усталости, то зимой весь условный «день» клонит ко сну; но засыпаешь долго и с трудом, нагоняя на себя эту необходимую усталость. Чудно устроен здешний мир! Раньше Николка может быть и не задумывался об этом. Наверное, ибо сам себя не помнит. А вот этим годом, прожив два месяца в калужской деревне, на Большой земле, как говорят маячники, он уже имеет с чем сравнивать. И еще стал понимать: во всяком деле все надо с чем-то сравнивать, а если не с чем сопоставить, то принимай как есть. Кто-то живет, как Николка, на острове, другой — на полуострове Рыбачьем, который с их Седловатого не углядишь даже с высокой башни маяк-сирены, но который не так уж и далеко, как говорит отец... А сколько людей на Большой земле? — Ужас прямо; Николка научился недавно считать до ста, но там их явно больше ста.

И еще он стал замечать: когда проснешься — летом ли, зимой, или в промежутке между ними, — то как бы два мальчика в тебе сидят. Один, бодрый и беспричинно всем на свете довольный, рвется соскочить с койки, перебежать комнату и через открытую уже настежь дверь оказаться на кухне, откуда явственно до-



Промысловые избушки у урочища «Кедов»

носится могучий дух скороспелых шанег со свежей засахаренной морошкой — теста для них осталось со вчерашнего дня, когда мать ставила хлеб с запасом на две недели. Но выпечной аромат явно перешибала яичница с салом; даром что из яичного порошка, разболтанного в молоке — опять же из порошка. «Где родился, там и пригодился», — смеялся отец, когда Николка в деревне с неохотой ел яишню из настоящих куриных яиц, а в те два дня, что он сам-двое с отцом провел в гостях у его тетки в Калуге, из гусиных (семейство тетки проживало на самой окраине около речки Яченки), сравнивая ее явно в пользу привычной, порошковой. Дескать, к чему привык, то и вкусным кажется.

Это первый, дневной Николка стремился к кухонному столу. А вот второй, только что в видениях своих рассекавший зеркальную гладь залитой солнцем реки Угры в отцовской деревне — а на самом деле только-только научившийся барахтаться «по-собачьему» на мелководье — все вертелся и вертелся в койке, кутаясь в одеяло, даже стараясь, закрыв глаза, вдругорядь вернуться в столь занимательный сон-утеху. Увы, первый Николка потрепал второго, согнал с него сонную лень и стал полновластным властелином. Он спустил ноги, далеко не достающие до поля, глянул вправо-влево: все три кровати стояли в ряд у широкой стены большой комнаты: Николка посередине, справа — Толькина, слева, почти впритык к косяку двери, ведущей в уличный тамбур, — Славкина.

Ни тринадцатилетнего Тольки, ни трехлетнего карапуза Славки не значилось. Окно в

комнате — напротив входной двери — выходило, как уже знал он от взрослых и Тольки, на южную сторону, солнца из него не видно, но комната залита светом, а со стороны кухни не чувствуется табачный запах: значит, отец уже ушел на маяк, стало быть и утро уже не раннее. А если летом утро без рассвета, то угадывать его можно только по яркости света из окна, табачному дыму или его отсутствию, съедобных запахов с кухни. По часам Николка ориентироваться еще не умел, но не обозначенное числами время уже хорошо отличал — вот как раз по сложному сочетанию домашних действий. Даже не задумываясь.

Кстати, и отец, и Толька пробовали учить его узнавать время по часам, но из этого ничего не получилось: во-первых, принайтованные в комнате над столом, чуть слева от окна, часы, размером побольше миски, с хромированным ободом, под толстым стеклом, были с двадцатичетырехчасовым корабельным циферблатом — как пояснял отец, то есть казенные, положенные по уставу в маячных домах. «Это потому, — говорил отец, — что в морской службе нет дня и ночи, утра и вечера, а есть сутки, а в них четыре восьмичасовые вахты, две полусуточные или одна суточная. Есть еще склянки внутри вахты...» Так что говорить о Николке, если даже мать и востроглазый Толька, определяя время, особенно после полудня, что-то в уме вычисляли. Во-вторых же Николка умел считать предметы до ста, но цифр, кроме нескольких, не ведал. «Пойдешь в школу, в интернат, так там тебе все растолкуют, — приговаривала мать, когда он просил научить его цифрам, — раньше

своего времени и цыпленок не закудахчет, и телок не замычит».

Видно мать утреннюю готовку закончила, вышла с кухни с ведром, направляясь через большую комнату к уличной двери: выплеснуть в яму, что выкопала в промежутке между домом и баней.

— Рано не рано, а уже десятый час. Так Толька-то с середины ночи ушел на Меловую бухту к утреннему отливу с острой камбалу ловить. Вчерась-то много я теста сготовила, вот и шаньги испекла, и еще осталось, а отец велел к вечеру, как с маяка придет, рыбак с камбалой запечь. Вот Толька и отправился; должен уже скоро и заявиться.

— А Славка? Иль с ним упелся?

— Мал он еще рыбачить-то. Ему счас баско на даровое, как бы виноградом с разнофруктами у Гусаровых не объелся, еще животом занимается.

— Какой виноград, — выпучил Николка глаза, даже подумал, что он все же еще не проснулся, сон продолжается причудливый.

— А такой вот. Ночью катер к пирсу причалил, по мегафону вытребовали начальника маяка. Федоров прибежал и почту получил, а потом слышу — проснулась от голосов — он уже в тот же мегафон кликает обоих Гусаровых. А потом, как на улицу-то вышла, видала: Паша с Веркой гуськом от пирса к себе идут. Он-то сам две посылки большие несет, а она — одну. С полчаса же назад Вера к нам приходила, принесла в миске виноград, пару персиков и абрикосов еще; вон-ось они на столе в кухне, иди ешь, я все помыла. — И рассказала, что

катер пинровский* шел из Полярного к себе. Они на почте днем все свое получали, а там упростили к нам на Седловатый завезти скоропортящиеся посылки из Ташкента — Гусаровым от тамошней родни. Почтарши и все скопившиеся письма нашим маячным, и газеты Федорову с Трофимом заодно им всучили. И нам Вера по-соседски два письма занесла: одно из Калуги, другое — от Юрки. Вот отец придет — будем читать; одна боюсь — вдруг что нехорошее...

— А чего Славка-то?

— Так к себе Вера-то увела, чтобы вволю фруктов поел. Они ведь без детей живут; она и говорит: вот накопим денег на дом, вернемся в свой Ташкент, так начну через два года на третий рожать. Скучают оба по мальцам-то, хоть на Славку посмотрят в доме, порадуются. И в отпуск из экономии не ездят.

...Может Гусаровы и нарадоваться не могли на сопливого Славку, но вот он-то, Николка, истинно был рад такому началу дня без рассвета: как с куста свалились виноград и персики!

ВЕЛИКИЙ ОСТРОВ СЕДЛОВАТЫЙ

Николка не помнил, как они перебрались с маяка Палагубского на Седловатый: ему тогда еще не было пяти лет — начала осмысленного

* То есть принадлежащий ПИНРО — Полярному институту рыболовства и океанологии; расположен на острове Кильдине. — Прим. авт.

памятства. Но осталось первоначальное удивление новому жилищу. На Палагубском, материковом маяке близ Полярного, они занимали две небольшие смежные комнатки в общем маячном доме, а здесь — отдельный дом, да еще с обоих торцов — сарай и баня. Целое хозяйство, как посмеивались отец с матерью. Да и дом-то какой! — По длине поделенный перегородками с дверьми на три кубрика, как называл отец по-флотски: большая комната, где ребят поселили с их койками, опять же уставленными отцом по корабельному порядку строем вдоль торцовой стены; слева — входная с улицы дверь, да двойная для тепла, с квадратным тамбуром; справа — окно и стол. По летнему времени все три окна дома с выставленными и снесенными в сарай обеими внутренними рамами; только внешние оставлены. Прямо напротив Николкиной койки в противоположной стене-перегородке — дверь на кухню, а чуть левее двери — русская печка боковиной в комнату выходит, а у самой стены — лежанка, приступок печи, самое фартовое спальное место зимой. По праву старшинства его раньше занимал Юрка, правда, только на зимних каникулах. В следующую же зиму все две недели каникул там будет блаженствовать Толька. А вообще-то до наступления школьной учебы в Полярном и в прошлую зиму, и в грядущую — это Николкино лежбище, если только отец его не занимает в позднюю осень, в мартовскую оттепель и в раннюю весну, когда его мучает обостряющийся ревматизм, заработанный, наряду с залеченным наскоро в полярнинском госпитале язвой и туберкулезом, за четыре года войны.

Кухня по ширине одинакова, конечно, с большой комнатой, но по длине дома вдвое меньше, да чуть не половину занимает печь; у правой стенки — кухонный, он же обеденный, стол, а в левой, не занятой печью, — окно. В другой кухонной стенке-перегородке — дверь в родительскую комнату, где справа — третье и последнее в доме окно, а слева во всю длину комнаты перегородка с дверью, ведущей в маленькую кладовку. Здесь также все расставлено вдоль стен: родительская кровать с блестящими спинками из круглых изогнутых железок, шкаф, этажерка с книгами и люлька с Сережкой, которому к осени исполнится годик.

После недавней поездки в отпуск в отцовую родную деревню Николка спросил у матери, дескать, почему наш дом и изба тетки Насти, отцовой сестры, такие разные: у нас дом длинный, печка посередине, а в деревне одна большая комната о трех окнах, в одном углу такая же печь и неотгороженный закут кухни, из которого дверь ведет в сенцы.

— А это в деревнях так принято, — отвечала мать, — комната одна, чтобы тепло от печи ее грело, а в сенцах зимой холодно, но теплее, чем на улице. У нас же печь посередине дома, тепло в обе комнаты идет, да окна с тройными рамами его держат. Это же Север!

...Николка, с которого после слов матери о приходе Гусаровой мигом слетели всякие размышления о сне и яви, для приличия поплескался у рамо́мойника на кухне и уместился за столом. Честно съел свою половину винограда, оставив вторую Тольке, затем яичницу-омлет, а пару маленьких шанег запил чаем. Чаем сразу

на несколько месяцев запасались в Полярном, причем отец признавал только китайский, очень вкусный, особенно если к чаю мать наливала блюдце сгущенки. Свой же законный персик и пару шанег, сложенных ягодными верхами друг к другу, Николка незаметно от матери утащил в большую комнату: с собой на улицу взять. Выходить летом из дома без чего-либо съестного — это все одно, что босиком выскочить на улицу зимой! Дел-то сколько надо переделать? И всех циферок на суточных часах не хватит... если бы в конце концов в начале условной ночи непобедимо в сон не потянет. Не то что обед, а и ужин дома Николку может не дожждаться! Остров-то такой великий, что если дело требует твоего присутствия за Вороничной сопкой, на Южном мысе, самой удаленной от дома точке Седловатого, то голос матери, дескать, где вас, ироды, носит, полсуток уж близко к дому не подходили, ужо вицей отстегаю — марш обедать! Или ужинать — смотря по времени.— Так и то этот голос можно услышать, если на острое или на воде вокруг полная тишина. Но откуда ей взяться, тишине-то? Беспрерывно на горке, на северной оконечности Седловатого, где громадина маяка-сирены и Большой маячный дом, запускают дизеля, все перебирают, ремонтируют, готовят к долгой трудовой поре — от первых осенних туманов на море до весенних штормов, да все ночи оба дизеля поочередно в работе стукотной.

А если и они сейчас, летом-то, замолкают к вечеру, либо днем на час-другой, что время обеда, то еще громче дизельной стукотни с моря заглушающие дальний голос матери звуки-шу-

мы: то торговые суда и рыболовецкие сейнеры, идущие в Мурманск и от него на выход в море, подолгу гудят басами, не хуже осипшего в зимний мороз начальника маяка Федорова, разминаясь на встречных галсах. Николка уже хорошо понимает: это для него Кольский залив немереной ширины, а для судов, не говоря уже о военных кораблях, крейсерах тем более, даже в тихую, ясную погоду требует осторожности и маневров, как казенными словами поясняет отец, приучая Николку к флотской точности в словах.

Но суда и корабли посигналят, да разойдутся и замолчат. Тут бы матери, воспользовавшись нечаянной тишиной, и напомнить про иродов, еретиков и остывающие щи, но не везет ей: только перестал вопить противным механическим взвизгом большой пароход с чудным флагом на надрубочной мачте — половина красная, а вторая — белая, — как со стороны Полярного, слева обогнув остров Большой Олений, курсом на правую обочину их Седловатого быстрым ходом выскочили сразу три подлодки: одна «щука» и две новенькие, округлые, размером поменьше. А в пяти кабельтовых от острова, забирая все вправо, но совсем рядом с берегом Седловатого, ход замедлили до черепашьего и прегромко застучали, забухали. Даже гранит острова под ногами дрожит, а зеркало залива мелкой рябью покрылось.

«Это, Николка, они дизеля опробовали и на полную мощность врубили. Но энергию не на гребные винты отдают, а на зарядку аккумуляторов», — пояснял отец. Дальше Николка и сам уже хорошо знал: выйдут подлодки из залива в

Баренцево море, обогнут полуостров Рыбачий, свернут влево и на траверсе Норвегии заглушат дизеля, уйдут под воду и дальше ходко на аккумуляторах двинутся, куда им ихний адмирал в Полярном указал.

...И так круглые сутки; на море для кораблей нет дней и ночей, утра и вечера — ни для гражданских судов, ни для военных кораблей.

Вот для чего маячному пацану, выбегающему летним утром из дома, непременно следует захватить пару-тройку шанег или пирожков с начинкой — что бог послал, либо же пару кусков черного хлеба, а между ними — прослойка из тонкого порезанного шпика или пласта вяленой трески. Не помешает вдобавку пяток печенюшек либо флотских галет. В чем все это богатство до полудня держать — не вопрос: маячная пацановская одежда с толком подобрана. Лето — не зима, но и не калужская деревня с дневным солнцепеком и ночной духотой, если ввечеру дождь с грозой не случился. Одним словом — днем здесь приятное тепло от нагретых солнцем скал струится, а в светлое ночное время скалы поостынут, и с моря зябкостью тянет. Переодеваться по два-три раза не с руки, раз и пообедать недосуг домой забежать, поэтому, как любит повторять отец, матрос меняет форму одежды только четыре раза в год — по сезону, а не переодевается, как граф, к завтраку, обеду и ужину.

— А солдат?

Отец снисходительно хмыкнул и добавил в том смысле, что «он в пехотах не служил», тамошних нравов не знает, но вроде как и у них что-то похожее. А Николка и сам уже знал, что

так: в кино, что раз в месяц, если море не штормит, на маяк привозят, да и в отцово́й деревне летом вволю в клубе насмотрелся, солдаты летом маршируют по пыльным дорогам в гимнастерках с неуставно расстегнутыми верхними пуговицами, а через плечо и наискось по груди у них шинельные скатки. Значит, форма одежды на любые причуды даже летней погоды.

Скатка не скатка, но фуфайка, что по-казенному называется телогрейкой, а еще стеганкой, самого малого размера, что нашлась на маячном складе, да еще мать полы и рукава подрезала основательно и пуговицы перешила на зауенье, всегда на плечах поверх сатиновой рубахи, а под ней и майки. А шаровары из чертовой кожи, на резинках и шитая округлыми узорами тюбетейка — по наследству от Тольки, с прошлого года щеголяющего в модной кепке-восьмиклинке с пуговкой, завершают наряд, форму номер три по-флотски. В карманы же фуфайки и полпуда еды можно положить...

Вот с обувкой прошлым же летом произошла у маячных пацанов полная революция, как назвал это событие Толька. А случилось вот что. До той поры Николка, как и Толька с Юркой, седалинские Васька с Танькой, федоровские Витька с малолетней Настеной, по осени и весне шлындали в сапогах, в основном резиновых. Только Юрка и Васька, имевшие ноги покрупнее, щеголяли в кирзачах; меньших размеров в полярнинском магазине не имелось. А летом переобувались во что полегче; Николка носил явно девчачьи боты с пуговичной защелкой.

Конечно, имелись у него и ботинки, но в них разве что в отпуск ездить, а здесь только

хорошо по дому форсить да вокруг него круги нарезать. А так — и на пологую сопку не заберешься, а к крутому берегу-обрыву и близко не подходи: как на лыжах съедешь в воду. И кирдык, как говорит Гусаров на ташкентском языке. Опять же и дня их не поносишь, как всю кожу поверху изрежешь гранитным щепнем. Остаются позорные боты, а если стремно, то парься в резиновых сапогах.

...Да, Паша Гусаров прошлым летом — а сами они с Верой приехали на маяк зимой того же года — точно совершил революцию и окончательно разрешил злободневный вечно вопрос о ребячьей летней обуви.

Всему причиной в начале прошлого лета оказались чайчьи яйца. Это для Николки и его сверстников, выросших на маяках, лучшей яичницы, чем из порошка нет на свете. А взрослые-то, кроме Седалина, выросли в иных, теплых местах, как, например, отец близ реки Угры в своей деревне Дворцы, где в каждом дворе по два-три десятка кур квохчут и яйца каждый день несут. Вот почему в самом конце мая — начале июня, когда чайки уже снесли яйца, но насидеть их не успели еще, маячники снаряжаются за ними. Дело это опасное, поэтому не только Николке, но и Юрке с Толькой даже мечтать об участии в экспедиции не приходится.

Но и чайки не дуры и свои яйца, размером с гусиные, но только в крапинку, на их Седловатом, где нет высоких утесов и имеются люди, они не кладут, а выбирают для этого дела маленькие скалистые островки, разумеется, безлюдные. И вообще без какой-либо живности. Прошлым летом Николка был еще слабодумом,

поэтому спрашивал у отца и Тольки: чайки от людей прячутся на скалах да на островках? Обстоятельно разъяснил отец:

— Чайки яйца несли и высиживали еще за миллионы лет до появления человека. Но и кроме него много охотников за яйцами: песцы, росوماхи. Выдры и те из воды на берег выбирают для такой охоты. Только тюленям несподручно далеко от берега на сушу удаляться. Поэтому-то чайки и выбирают, опасения ради, для гнездования островки, где никакой дичи нет. А с человеком они в этих местах познакомились всего лишь лет тридцать назад, но уже успели во враги зачислить.

Так вот, собрались прошлым ранним летом, еще никто из маячников в отпуск не уезжал, на большой моторке, на которой в тихую погоду в Полярный ходили, по яйца чаячи на ближний необитаемый островок Медвежий, что в три раза меньше их Седловатого. Хотели были чуть подальше, на большой остров Зеленый, да Федоров засомневался: мол, там уже из поселка в Сайда-губе, что при рыбзаводе, мужики все гнезда разорили.

Договорились — потом отец дома со смехом рассказывал — с утра собраться у пирса в Языковой бухте, да каждому не забыть по длинной палке, чтобы от разъяренных чаек отбиваться, захватить. Федоров же ракетницу возьмет на случай, если птицы совсем оборзели и всей стаей вздумают нападать.

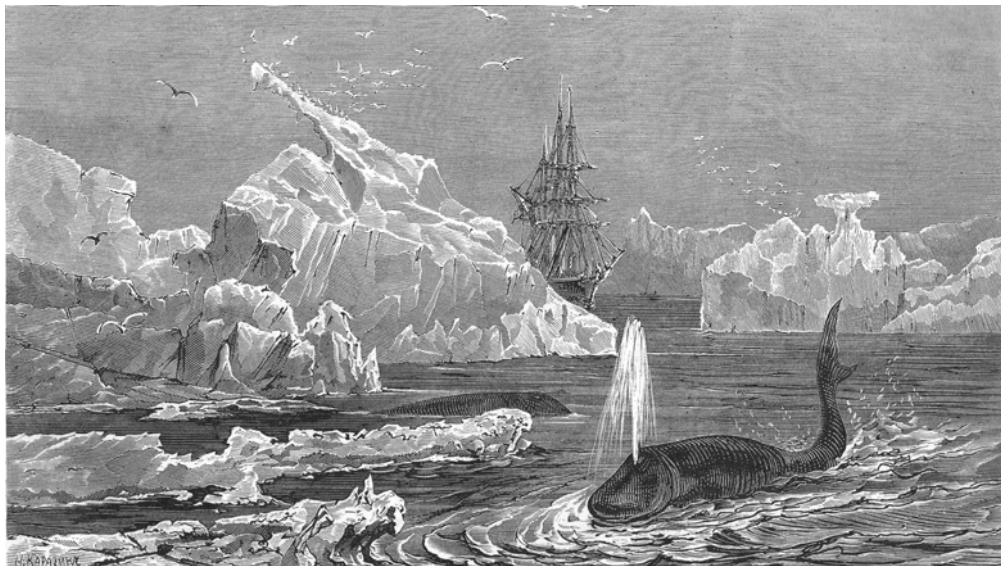
— И вот, — рассказывал отец вечером того же дня поездки, с аппетитом поедая с большой сковороды чаячью яичницу с салом, — собрались и ждем Пашку Гусарова; не кричим его,

видно, идет от дома. Подошел — и мы все в хохот: штаны заправлены в шерстяные носки чуть не до колен длиной, а на ногах обыкновенные галоши, только с двумя дырками на заднике, а через них продернута бельевая веревка, заплетенная на голяшке. Словом, лапти да и только. Трофим смеется: «Ну-у, Паша, тебе бы в кино сниматься про войну с гоминдановцами. — Прямо боец Народно-освободительной армии Китая образца сорок восьмого года».

А Пашка-то не понимает в чем дело, но дошло: «Про галоши что ли? Так у нас дехкане в пригородных районах только так и ходят. Удобнее обуви не придумаешь: ноги не потеют, вес легкий и по любой крутизне не поскользнешься. А у таджиков и афганов так и вообще основная обувь. У Верки тетка в республиканском потребсоюзе работает счетоводшей, так говорит: половина всех галошных фабрик в Союзе на Афганистан и других зарубежных азиатов работают. В Европе они из моды вышли, разучились там галоши лить, только у нас их производство и осталось».

Мать с Юркой и Толькой было рассмеялись, но отец уже серьезно продолжал:

— ...А прав Гусаров-то. Мне вот Жора Асатурьян, с которым на Торосе в войну служил, тоже говорил: у них в Армении по горам в чувяках галошных ходят, надевают на шерстяные носки или на онучи и веревкой оплетают. Лучше самого народа в таких делах житейских никто не придумает! Хватит ребятам летом париться в резиновых сапогах и ботах; как моторка в Полярный пойдет, так купи на всех галош, а носков шерстяных ты им за зиму по три пары связала.



Плавучие льды

И вот Николка уже второе лето, выходя из дома на вольный промысел, заправляет свои шаровары в длинные серые шерстяные носки, ступни вставляет в галоши с ярко-малиновым ворсистым нутром и заплетает концы тонкой бечевки, продернутой через два отверстия, на пятке, крест-накрест до середины икр ног. Хорошо! И тяжести никакой не чувствуешь, ногам не жарко и не холодно, а как ловко в таких чоботах на самые крутые скалы взбираться!

Только снарядился Николка и шагнул к двери, как загудел зуммер телефона, что висел на кухне над обеденным столом; мать — видно ему было через открытую кухонную дверь — сняла с рычага трубку. На всякий случай притормозил, любопытствуя: чего это отец с маяка позвонил с утра, сам недавно из дома выйдя? И не напрасно:

— Колька! Отец говорит, что седни Седалину корову привезут.

Мать рассмеялась, и за ней, скорее за компанию, и Николка. Вот новость так новость, всем новостям новость! Таких событий на его короткой памяти еще не было.

К телефону в доме уже все привыкли, хотя появился он только в начале прошлой осени. Впрочем, для Николки нововведение явилось скорее нежелательным: теперь, если ты находишься на горке, то есть в маячной северной оконечности острова, то мать запросто его обнаружит: позвонит отцу на маяк, либо Глафире, жене Седалина, а то и федоровской Клавке — и мигом засекут и передадут приказ о явке домой. А приказы на острове, территории военно-

морской, даже пацаны не обсуждают. Так приучены.

Но даже и с телефоном все же велик остров Седловатый... ох, велик!

ТЕЛЕФОН НА ОСТРОВЕ И ЧЕРНОМУНДИРНЫЙ ПОДПОЛКОВНИК ШУЛЕЙКО

Великий-то великий, но такой неопределенной мерой Николка только в прошлом году удовольствовался. Сейчас же, подросши и поумнев, какой-никакой счет до ста освоив, хотелось поконкретнее знать размеры острова. А в прошедшей только что отпускной поездке и вовсе в конфуз перед деревенскими ребятами попал: расспрашивают его об острове, а каких, мол, он размеров? Николка же только руками разводит, даже не может на прямой вопрос ответить: больше деревни Дворцы или меньше?

Начал расспрашивать всезнающих взрослых, но от отца ответа не получил: не вовремя обратился, не в духе тот был, видно, мать опять щи сварила не по-отцовски, то есть чтобы капуста не разварена, мясо ровными кубиками, а в даже до краев налитой тарелке хорошо просматривалось бы ее дно — никакой мутности.

Сосед Гусаров, хотя и окончил в Ташкенте, как он сам рекомендовался, гидрометеотехникум, пожал плечами: дескать, еще не промерил весь остров ногами. Решился к самому Федорову обратиться. Тот подозрительно прищурил глаза:

— Э-та тебе зачем? Я вот с Андреем поговорю: совсем он вас распустил! И выбрось

все из головы. Остров — это военная часть, в гидроотдел флота входит, и размеры его есть секрет, военная тайна. Узнай ты их, так в отпуск поедете — всей деревне разнесешь. А я за все и отвечай; подполковник Шулейко с меня три шкуры спустит.

...Осталась одна надежда на Тольку. А тот и сам заинтересовался:

— Да-а? Так измерить же можно. Ты погодь, далеко не уходи, я сейчас сажень на скорую руку сколочу.

«Что такое за сажень? И как великий остров можно измерить...» — сгорал от любопытства Николка, слоняясь поблизости дома, не отходя далее озера Гранитного, что рядом с маячным бревенчатым складом, что всего в сотне шагов. И при этом зорко поглядывал за Толькой, что-то мастерившим на хоздворе, как отец называл вытоптанный пятачок с торца дома, что ближе к входной двери, между стеной его и баней. Здесь прямо у беззаконной стены уложена бунта коротких бревен, а рядом кóзлы для их распилки; тут же стоймя стоял чурбан, похожий на большой барабан, для колки дров. Бревна эти, выброшенные морем на берег в весенние и осенние шторма, отец с Юркой и Толькой там же на берегу пилили и, затянув петель из крепкого фала*, сволакивали к дому с пологого берега напротив Бурой скалы.

...На обязанности же Николки с этого лета лежало перетаскивание уже готовых поленьев малыми, по возрасту его, охапками вокруг всего

* Плотная веревка канатного типа.— Прим. авт.

дома в дровяной сарай, располагавшийся с другого торца дома.

Понять суть Толькиной работы он не мог, как не может человек, даже многоопытный взрослый, что-либо сообразить о предмете, ему неведомом. Только цепко отмечал про себя: ага, брательник, порывшись в разном дровяном хламе, что не годился на дрова, но на всякий случай складываемом обок бревен, выбрал пару реек, одну из них подпилит, уравнив в размерах, и померил по себе: как раз до плеча. Вытащил из кучи еще одну рейку, покорооче. Затем зашел в дом и вынес оттуда молоток и величайшую отцову ценность: метровую металлическую линейку, отсвечивающую на летнем солнце как гибкое узкое зеркало. Застучал молотком. Уже не в силах сдержатъ любопытство, Николка без зова приблизился к хоздвору.

— Вот и сажень, — продемонстрировал довольный Толька изготовленный прибор: две длинные рейки, сколоченные одними концами, а вторыми разведенные почти на два Николкиных роста и закрепленные посредине поперечной рейкой.

— А-а что это?

— Ты, Николка, тугодум, — явно подражая матери, ответил Толька, — я же говорю: сажень, расстояния мерить. Между концами расстояние полтора метра, на два, как положено у землемеров, длинных реек не нашлось, но и этого хватит. Вот смотри, — и Толька пошел от дома, ловко на ходу выкручивая саженью кренделя, ставя поочередно заструганные концы ножек по выбранному направлению: на Гранитное озеро.

— Полтора, три, четыре с половиной... — в такт поворотам шагомера повторял он, — нет, с этими полторашками обязательно собьешься; лучше считать на разы, а потом их умножить на полтора...

Николка ничего не понял в счетных упражнениях брата, но на разы и сам умел до ста считать. Эх удивил! Зато он хорошо помнил строгий запрет начальника маяка на всякие попытки узнать размеры острова, о чем тотчас и напомнил Тольке.

— А мы на горку и не пойдем, а Федоров с нее раз в год по понедельникам спускается, да и то только к пирсу...

— Как же мерить-то остров в длину, если не горку не заходить?

— А так; длина острова по линии «юг — север» измеряется от Южного мыса до Носового, а наш дом как раз посредине этой линии... плюс-минус метров пять, не больше.

— Откуда знаешь?

— Опять же оттуда; надо иногда взрослых мужиков слушать и запоминать, они иногда и умные вещи говорят. Вот когда телефонные провода с горки, от маяка к нам с Гусаровыми тянули, так Колчедыкин, что за разметку отвечал, делал промер рулеткой, а я ему помогал. Он и планчик нарисовал и говорил мне, что наш дом-то и посредине острова в длину.

Николка прекрасно знал холостяка Трофима Матренина по прозвищу Колчедыкин — хромает на левую ногу с лошадиной стопой, как говорит отец, но все одно не мог сообразить: даже если их дом посредине, то как же измерить длину острова, не заходя на маячную горку?

— То ли ты еще мал годами, а может и бестолочью уродился, — задумчиво поглядел на него брат, — измерим от дома до Южного мыса и умножим на два! Да и с горкой-то было бы сложнее: учитывать перепады высоты, а на нашей низине только одна Вороничная сопка, и та небольшая. Все, пошли. На вот тебе мою записную книжку и карандаш. Я считаю и как дойду до ста — ты на этой вот странице чистой ставь крестик... это-то хоть умеешь? Будешь моим, э-э, ассистентом. Все, двинули.

Через полчаса Толька довертел своей саженью до Южного мыса, лишь дважды немного отклоняясь от курса: слева обогнул ближнее к дому Гусиное озеро и справа — самую вершину Вороничной сопки. В последний пролет счет до ста не дошел, поэтому Толька лично записал в книжку нужное число остатных шагов сажени.

— Та-ак, — размышлял он, возвращаясь с Николой рядом и саженью на своих двух плечах растопыркой вперед, — а сейчас поперек измерим; и опять самая ширина, это и на глаз видно, будет проходить между нашим домом и Гусиным озером, с запада на восток от скалы с обрывом до противоположного берега, за домом Гусаровых, оставляя справа зенитные землянки. Поторапливайся, надо к обеду закончить. Сегодня мать обещалась щи с бараниной сварить. Очень я баранину уважаю, на Палагубском к ней попривык. И кисель из засахаренной морошки с утра затворила.

К обеду не только успели замерить ширину, но Толька, морща лоб от умственных упражнений и даже справляясь со школьным учебником

(«Надо, понимаешь, учесть перепады высот и всякие огибанья»), пошабашил:

— Все, вот и размеры: в длину километр почти равно, а в самом широком месте — четыреста шестьдесят метров. Плюс-минус, конечно, какой-то имеется. Теперь, Николка, можешь спать спокойно: и военную тайну Федорова сами узнали, и профессию землемера освоили! Пускай теперь подполковник Шулейко сон потеряет: вычислены размеры секретного острова, ха-ха-ха!

...А как протягивали телефонные провода под руководством Трофима — Николка и сам хорошо помнил. И даже из разговоров отца с матерью знал: почему маяк, маячный дом и их с Гусаровым отдельные дома соединили телефонами. Просто в середине прошлого лета, тож при незаходящем солнце и распрекрасной погоде в неурочный час вынырнул из-за Южного мыса как-то незаметно подкравшийся гидроотдельский белый катер и скоренько пришвартовался у скалы-пирса в Языковой бухте. Да так скоро, что Федоров едва-едва, запыхавшись, успел сбегать с маячной горы.

К его ужасу прибыл сам подполковник Шулейко, начальник политотдела гидроотдельской службы флота — гроза и кара, редко милость для всех маячников Кольского залива и всего побережья Кольского же полуострова от норвежской границы, от Печенги, Рыбачьего, далее Кильдина и вдоль Терского берега, мимо Поноя и с загибом вовнутрь побережья Белого моря до самой Кандалакши.

К ужасу — потому что обычно в этот срединный летний месяц Борис Никифорович от-

дышал от трудов праведных в Крыму в военном санатории или заглядывал на родную Полтавщину. Как потом слышал Николка из рассказа за обедом ухмыляющегося злорадно отца, его старинный, еще с довоенной службы, враг Шулейко остался без южного пляжа и полтавского сала по причине не столь давней кончины Иосифа Виссарионовича: «Сейчас в верхах и не только в них сумятица, вот и все мало-мальские начальники стараются не отдаляться от своих кресел». Мать внимательно слушала, боязливо оглядываясь на ребят, дескать, рано им все это слушать, еще сболтнут что где не надо...

...Но весь-то ужас и был в том, что лишенный отпуска Шулейко решил отравить жизнь всем маячникам вверенного его политопеке гидроотдела флота. Холодно кивнув головой Федорову, в сопровождении двух черномундирных, как и он сам, капитанов, он молча проследовал на маячную горку, остановился, чуть запыхавшись от подъема по крутой лестнице без перил, велел, не оборачиваясь к стоящему за его спиной Федорову, собрать личный состав. Тот взял под неналичествующий на его голове козырек и крикнул околачивающемуся чуть поодаль седалинскому Ваське: «Мигом вниз за Андреяном и Гусаровыми!»

При имени Андреяна Шулейко досадливо поморщился, но тут же вскинулся:

— Ка-а-к? На объекте постоянной готовности личный состав мальчишки собирают? И почему на самом маяке никого нет?

— Так, товарищ подполковник, время летнее, светлое, погода хорошая, а дизеля оба на регламентном ремонте...

— Ма-алчать! Это как оба дизеля? А если срочно маяк надо задействовать, а?

— Так ведь лето... — изобразив тупость на лице, пробовал оправдываться Федоров.

— Никаких лет, а вдруг чрезвычайная ситуация? Запомни, Федоров: хотя ты у меня на хорошем счету, но заруби себе на носу, что маяк, как хорошая б..., всегда должен быть готов к работе. Даже на случай солнечного затмения!

Но на сам маяк Шулейко не пошел, ибо техника — не по его компетенции, а на агитплощадке перед большим маячным домом, где стояли пара скамеек, щит с пожелтевшей наглядной агитацией и детские качели, впрочем, серьезных размеров, поодаль, провел политзанятие: общую часть для всех и отдельно закрытую для маячных партийцев: Федорова и Седалина.

Зная, что Борис Никифорович отменный едок, Федоров еще загодя кивнул жене, выглядывавшей в окно, а после закрытого партсобранин почтительно пригласил Шулейко со спутниками отобедать, заранее извиняясь за простоту стола.

После духмяного, жирного, наваристого борща и запеченного палтуса, клюквенного морса и пирожков с морошкой Шулейко несколько отошел и продиктовал одному из капитанов:

— Енгошлыков, запиши в замечаниях: вый-ти с предложением в техотдел об установлении на маяках Седловатый, Торос, Сальный, Береговой и на обоих Кильдинских — Северном и Западном внутренней телефонной связи, — и, обращаясь к Федорову, добавил:

— Не так скоро, думаю, но из техотдела все для связи завезут, а по поводу дизелей уст-

но предупреждаю. Имей в виду, на себя ответственность беру.

И верно, к концу августа уже не «адмиральский» белый, но техотдельский катер-«аркашка» доставил на остров пяток списанных, но исправных, корабельных телефонных аппаратов с индукторами, одетых в толстостенные стальные корпуса... и только. «Телефонного провода на базе нет,— коротко пояснил старшина катера,— сами чего-нибудь сообразите».

Не привыкать-стать, Федоров сообразил быстро: налил из лично печатаваемой канистры со спиртом для протирки рубинов маячного прожектора армейскую фляжку... чуть подумал, принес из дома порожнюю четвертинку и ее затарил. После чего сел в моторку и отправился в недалний путь на левый берег залива в Медвежью губу, где стояла артиллерийская часть.

В зоне полного «сухого» закона фляжка с гаком-четвертинкой принесла Федорову целую бухту армейского телефонного провода, которую, надев по центру на палку, с кряхтением подняли на горку и занесли в маячное здание Гусаров и Матронин, как самые молодые; здесь даже врожденная хромота Трофима в расчет не принималась. За ними, поскольку время еще было каникулярное, гурьбой шли все ребята острова, крайне заинтересованные в появлении провода — вечного пацановского дефицита; они на ходу оценивали достоинство его, а также изустно прикидывали: сколько им достанется обрезков. Получалось, что много. Федоров степенно вышагивал обок несунув и отдавал распоряжения Матрону, уже назначенному старшим по телефонизации, учитывая, что Трофим

имел полное среднее образование и после школы, не призванный по инвалидности в последний год войны, некоторое время работал в Соломбалах, портовом пригороде Архангельска, на узле связи электромехаником.

— Пока, Трофим, дожди не зарядили, нарисуй-ка планчик проводки и сваргань для установки на маяке распределительный щиток. Вот тебе вводная, а остальное сам, как специалист, додумаешь. Действуй!

Целых две недели Трофим Матронин, которого на это время заглаза перестали звать Колчедыкиным, был самым важным человеком на острове, так что руку поутру мужикам подавал, неохотно вынимая ее из кармана брюк, только увидев уже протянутую здоровающимся. Даже Федоров с усмешкой, но с серьезным лицом приветствовал его: «Трофиму Батьковичу наше низжайшее!»

Для начала Трофим с устного разрешения начальника собрал маячников и самовольно сбежавшуюся ребятню, включая самых малюток Николку и федоровскую Настену, что на год его моложе, на агитплощадке и разъяснил диспозицию:

— Значит так, мужики... извиняюсь и женщины, конечно, коммутатор я установлю в дежурке машинного зала, а от него три отдельные ветки: на промежуточный мостик — внутри маяка проводка; вторую, навесную без промежуточной опоры, — от мостика в Большой дом, а там по квартирам; договоримся так: один звонок — Егору Михайловичу, два — Седалину и три — мне. И самая длинная ветка — в низину: от маяка вниз вдоль лестницы, далее прямо-

ком на склад, от него в дом Андреяну, а потом к Гусаровым. Там тоже отзываться по звонкам: склад — четыре, Андреяну — пять, Гусаровым — шесть.

— Все уши прозвонит,— недовольно отозвался Паша,— раз ветка отдельная, так и сдelaй нам также: один-два-три!

— Э-э, Паша, хотя вы с Верой и имеете среднеспециальное образование, а мыслите нелогично. Коммутатор задуман так, чтобы абоненты телефонной сети не только имели связь с маяком, но и друг с другом в любом варианте: первый, то есть Егор Михайлович, допустим, со складом — четвертым, когда там кто есть; пятый Андреян с Седалиным вторым и так далее. Понятно?

— Угу,— недовольно согласился Гусаров шестой...

Но здесь вступился хозяйственный Седалин, он же маячный завхоз и завскладом:

— Это что же — и столбы телефонные городить на низину будем? Так это работы на несколько месяцев: короба под столбы рубить*, камни с берега тоннами таскать, а где столько леса калиброванного под столбы взять?

— Чай мы не в городе,— снисходительно пояснил Трофим,— машины не ездят, а провод не оголенный, как на обычных телефонных линиях, но для полевой армейской связи: его и топором не перешибешь, а изоляция рассчитана

* На тамошнем безземелье, где на скалах — и то в лощинах-нижинах — в лучшем случае десять-двадцать сантиметров торфа, столбы ставят в специальные бревенчатые срубы-короба, в него ставят столб основанием и сруб заполняют камнями, обычно без раствора.— Прим. авт.

даже... — Тут Матронин по ядовито расплывшимся улыбкам на лицах мужиков, в том числе даже не воевавшего, но служившего срочную Гусарова, сообразил, что зарапортовался...

— Ты, Трофим, за советскую власть нас не агитируй, сами знаем что за провод. Так прямо по земле *будешь тянуть* ко мне и Паше? — Николка услышал голос отца. Но и Матронин снова обрел начальническую рассудительность и не меньшую язвительность:

— Нет, Андреян Матвеевич, тянуть буду не только я, но и все мы вместе. И тянуть, как ты выразился, не по земле, а с провисом в полметра-метр на самых простых кóзлах шалашного типа. Объяснять дальше? Или опять про родную нашу власть напомним?

Здесь Николка краем глаза отметил: старшие ребята, Юрка, Толька и седалинский Васька, услышав про достоинства телефонного провода, переглянулись, обреченно махнули руками и развернулись идти прочь от агитплощадки. Заинтересовавшийся таким странным поведением пацановских авторитетов Николка пошел за ними, но на ходу все же дослушивал:

— ...Не особенно-то про власть рассуждай! Сам понимаешь, что в стране траур по великому Вождю, а ты... Смотри, хоша и не партеец, но попадешь в черный список к Шулейке! Вот как Андреян еще с довойны там накрепко прописался.

И, уже покрывая смешки маячников на его слова об Андрее, Федоров загадочно улыбнулся, чуть подумал, но досказал:

— И все же Трофим, если захочет, всегда с хорошей инициативой выйдет. Так вот, по

этим же проводам ко всем вам будет с шести до двадцати четырех каждый день радиотрансляция идти от маячного приемника. Так что бабы в Полярный как поедут, так пусть в Циркульном магазине громкоговорители покупают. А нам с Гусаровым и Трофимом тоже хватит тратиться на батарейки для своих радиоточек. Правда, на время телефонных разговоров радио будет замолкать — тут Трофим какую-то хитрость автоматическую придумал, но — без этого никуда не денешься, не тянуть же на пол-острова по три провода кряду? Да и не хватит по три-то и целой бунты...

— А чего ушли-то? — Николка, дослушав про радио, очень обрадованный этим, догнал братьев и Васку.

— А то, что этот провод годится только чтобы Гитлера с Черчиллем и с Эйзенхауэром впридачу вешать, — сплюнул Юрка, — я сразу заподозрил, хотя бунта толем* и была обернута, по тяжести. Э-э-х! Жалко. Ни для какого стоящего дела не годится.

— Почему?

— Слушай, малой, ты иди-ка по своим детсадовским делам, коли они у тебя имеются, а будут линии тянуть — сам увидишь.

...Действительно, когда на острове закипела телефонная работа, мужики начали разматывать бунту и резать провод по длине линий, Николка подобрал первый же обрезок и, подражая Юрке, тоже сплюнул. Нд-а-а, никуда не годится: никаких тебе под оплеткой-изоляцией пучков цветных, мягких проводков, что братья приво-

* Рубероид. — Прим. авт.

зили на каникулы из Полярного, а единый, в полторы спички толщиной свитый стальной провод, жесткий и, как пружина, не сгибаемый.

— Пап,— спросил Николка отца,— а почему провод-то такой жесткий и пружинит?

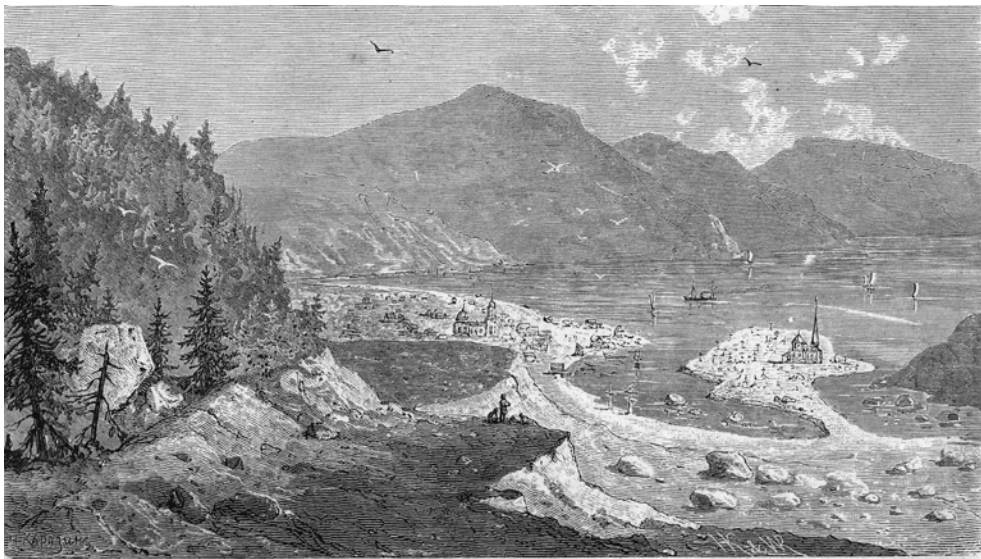
— Армейский потому. В кино, наверно, уже видел, как солдаты такой разматывают между окопами и командным пунктом. А вокруг мины рвутся, снаряды, бомбы с самолетов. Провод же все это должен выдержать — связь обеспечивать. Взорвется в метре от него мина, отшвырнет провод на десяток метров, тот изогнется, напряжется, но не порвется. Вот так-то!

По этой причине он потерял было всякий интерес к телефонной сутолоке, но Трофим совсем разошелся и уже командовал напропалую взрослыми и малыми. Додумался до того, что, размечая линию прокладки провода на низине, стал на верхней площадке лестницы на горку этаким фертм, а ребят расставил по примерным местам установки козел и сверху в мегафонный раструб командовал:

— Витька! Два шага вправо и три назад. Васька! Хватит болтаться, стой смирно. Николка! Стань спиной к двери склада, отсчитай пять шагов и замри.

Даже Тольку привлек, а Юрка специально из дома не выходил, чтобы не позориться. Отец, шедший на вахту на маяк, притормозил около Николки и со смешком сказал, адресуясь более к выходившему в это время из дверей склада озабоченному чем-то Седалину:

— Прямо по Гоголю: а поставить квартального Пуговицына, как длинного ростом, для благоустройства на мосту!



Город Кола: вид с левого берега реки Колы

Седалин, прочитавший во взрослой жизни только две книги: устав караульной службы на срочной в тридцатые годы и устав же *ВКП(б)* пять лет назад при вступлении в партию,— опасливо посмотрел на грамотея и промолчал.

...Так и не сбылась во время телефонной горячки Николкина мечта переделать свой плохонький однолезвийный складной ножик, к тому же разболтанный донельзя, в почти что финку. Толька брался довести все до ума: заклепать лезвие в ручке — переделать складной ножик в нескладной, с жестко закрепленным лезвием в ручке; само лезвие переточить в маячной мастерской на электрическом точильном круге под боевой фасон и там же отшлифовать до зеркального блеска; на боках ручки также заклепать медные планки — для тяжести и объема... Но все это великолепия он хитроумно обещал проделать только после того, как брательник раздобудет цветных проводков, чтобы, как он выразился, «придать товарный вид», оплестя ими ручку. А без этого и смысла нет возиться. «Я в Полярном пучок для тебя нашел, но кто-то из интернатских спер»,— объяснял Толька, скашивая глаза в сторону.

Хорошо ему говорить, ведь у самого-то настоящая финка с цветным плексигласовым набором, отшлифованная, с лезвием столь заточенным, что волос на лету режет! Да еще в чехленожках с петлей под брючный ремень, что мать на машинке прошила, а выкройку сам Толька вырезал из голенища старого ялового отцова сапога; тот и сам из него заплатки на задники валенок вырезал. А заготовку для финки Толька из Полярного привез: подобрал около по-

мойки ресторана «Ягодка» столовый нож с поломанной накладной костяной ручкой.

— О-о! Хорошая сталь, золлингеновская, — сказал отец, вертя нож в руках, — как же, как же, помню: в сорок шестом в «Ягодку» из германских репараций до чертиков сколько всякой посуды понавезли. Финку будешь делать? Так завтра с утра на маяк приходи: дизель на суточный прогон после переборки будем ставить, так что хоть целый день точило можешь крутить. Да и Колун, хотя это не его дело, завтра с Седалиным на Большой Олений на моторке пойдут — до ночи; там старший Седалин пятьдесят лет отмечает.

Хотя тогда Николке, в отличии от Седалина-старшего, что маячничает на Большом Оленьем, стукнуло не пятьдесят, а ровно в десять раз меньше, но он уже знал, что Колуном отец зовет в домашнем общении начальника Федорова.

...А без ножа, желательно финки в ножнах на боку, пацану на острове и делать нечего, зазря только из дома выходить и обувьку трепать. Даже свистульку из обрезка ветки куста не сделать, не говоря уж о луке со стрелами. «Вот пойду в школу в Полярном, наберу цветных проводков, а еще лучше цветной пластмассы, найду около «Ягодки» золлингеновский нож и сделаю финку получше Толькиной — с канавкой на лезвии. А вырасту, так и вовсе меч выточу из стальной полосы, которыми пол под дизелями выстлан. Как у Александра Невского, что в кино, которое на той неделе на остров привозили».

КАТАНЬЕ ДРОБИ И ПАЛАГУБСКИЕ БАРАНЫ

Выскочив из дома, Николка едва не налетел на Тольку, возвращающегося с ночной рыбалки; в одной руке он боевой пикой держал острогу, а вторую заметно оттягивала армейская брезентовая сумка из-под полевой рации с намоchenными боками.

— Смотри, куда летишь! А то и на острогу можно налететь.— Проголодавшийся Толька зло посмотрел на брата. Николка, желая задобрить добытчика, сходу выпалил новость:

— А знаешь, сегодня Седалину корову привезут!

— Подумаешь, новость! Я это еще вчера знал,— фыкнул Толька,— на пирсе, я туда заходил, уже сам Седалин суетится, резиновые коврики из машинного отделения расстилает, чтобы корова не заскользила по камню. Говорит: вот-вот бот с коровой пришвартуется.

Толька отошел, подобрел и похвастался:

— Что там корова, я вот не только камбал размером с суповую тарелку набил, а здоровенную палтусину, видишь, в сумку не вошла, хвост торчит наружу, на острогу насадил!

— Откуда она на отмели-то появилась?

— А стая касаток по проливу шла и загнала в бухту. Вот эту я пригвоздил и еще одну зацепил было, но, здоровая, изогнулась и ушла.

— Пойдешь корову смотреть?

— На хрен она мне сдалась. Коров что ли не видел? Потом у меня дел неупротор.

— А каких?

— У тебя, Николка, в голове по молодости

еще память долго не задерживается. Сегодня суббота — забыл? Отец на маяке до вечера, поэтому мне баню растапливать и приятное с полезным соединять. Да, я вчера форму для кастета довырезал, а свинца тоже прикопил. Вот в бане и выплавлять буду: себе и на заказ, Ваське и Витьке. Тебе лить? Надумал? Плата как договаривались.

До боли было жалко Николке расставаться с серебряным старинным рублеви́ком с вытесненной на нем царицей Екатериной, который он выменял летом в деревне Дворцы у местного мальчугана за горсть ирисок. Но когда он представил себе, что уже сегодня вечером все более или менее взрослые ребята острова будут выпендриваться при кастетах, а он вроде как приравнивается к девчонкам Таньке и Настене... Нет, пропадай рублевик!

— Согласен, выплавляй и мне.

— Ладно, считай, что не продешевил. А в *твоей* кастет я для твердости вставляю на боевом ребре закаленную и заточенную стальную подковку: даже телефонный провод перебьет! Ладно, пошел я, жрать до одури хочется, а потом баней и кастетами займусь.

Только хлопнул дверью, а Николка приостановился и задумался: конечно, седалинскую корову никак нельзя пропустить, но он еще ни разу не видел, как отливают кастеты. Тем более, что уже несколько дней подолгу стоял в растворенных дверях сарая и наблюдал за Толькой, сидевшим на табуретке за верстаком и делавшим форму для отливки. Это он хорошо все запомнил. Да и сам мастер пояснял: «Обязательно надо липовую доску брать, сантиметра

два с половиной — три толщиной. Еще лучше грушевую, но где ее взять?»

Сначала он стамеской выдолбил нарочито неровную коробчатую форму под подпятник кастета, что зажимается в ладони. Затем полукруглым ободом и тоже стамеской, но поуже, сделал канавку боевого ребра. И уже своей финкой прорезал неширокие канальца между ободом и подпятником — будущие проймы между пальцами. И еще Толька почти полдня все вырезанное подправлял, округлял и шлифовал наждачной шкуркой, накрученной на щепку. Под конец он раскочегарил паяльную лампу и обжег готовую форму. «Все равно отливку нужно напильником обтачивать, но это чтобы ее проще вынимать,— пояснил Толька, довольный своей работой,— учись, пока я на суше живу!»

Николка даже сделал нерешительный шаг к захлопнувшейся за братом двери, но... Нет, коров-то он в деревне совсем недавно насмотрелся, с непривычки страшно их боясь, но как эту огромную животину с корабля на берег выгружают? Где и когда еще увидишь? И он, мучимый двумя противоположными желаниями, все же шел неуверенно по траверсу пирса в Языковой бухте протоптанной, а скорее натопанной по жесткому, ломающемуся под ногами скальному лишайнику тропой, оставляя слева озерцо Гранитное, складскую избу, а далее уже по торфяной низине мимо Седалинского «поля».

В конце концов, размышлял Николка, как делать форму, а это главное в литейном деле, он уже знает, внимательно подглядывая за работой Тольки. А плавить и заливать форму

свинцом — дело не новое и вообще хорошо знакомое по заготовке охотничьей дробы.

Еще весной, чуть ли не на следующий день после того, как мать объявила ему утром: «Ну, Николка, седни тебе исполнилось шесть лет; скоро и тебе в школу идти» — и к завтраку не на блюде сгущенки налила, а вручила целую полубанку и стопку мягкого печенья... так вот, на следующий день отец сказал уже шестилетке Николке: «Давай помаленьку учиться серьезно-му делу. Сегодня у меня суточный пересменок между вахтами, поэтому дробь катать буду, вся за зиму закончилась, а ты присматривайся и мотай на ус».

То, что сегодня суббота — банный день, Николка, боясь уронить себя в глазах домашних, и не говорил: дела с дробью отец всегда соотносил с топкой бани; где еще свинец плавить? Хотя мать говорила, что у них в деревне мужики его плавили на плите русской печи. «Русской, русской,— брюзжал отец, недовольный излишней указкой,— чухна архангельская белоглазая, а туда же — русские!» Мать в спор не вступала и, махнув рукой, тотчас забыв, шла заниматься своими делами.

Хотя и май месяц пришел, но на улице еще зима зимой; хотя солнце по полусуток уже светит, а морозец только ранним утром щеки и нос щипает. Одев шубенку и нахлобучив на голову ушанку, Николка, подражая раскачивающейся, морской походке отца, направился вслед за ним на выход. Двухлетний Славка, сидя в своей кровати, таращил на него свои глазенки: куда, мол, моя нянька уходит? И заплакал. Николка же немного сожалел, что Юрка с Толькой в

Полярном, в интернате и не могут видеть, как он с *отцом* идет катать дробь...

По более ранним наблюдениям, еще как бы со стороны, Николка знал порядок: сначала растапливается банная каменка. И пока она набирает жар, отец — с матерью или без нее, а в зимние каникулы Юрка с Толькой, ведрами носят с улицы снег и вываливают его в печной котел, глубиной с Николку. Дело нескорое: вроде с шапкой котел снегом наполнен, а через четверть часа его уже нет, растаял, а котел-то почти пустой. Снова ведро за ведром натаскивается снег — и так, пока котел не наполнится водой до краев, а дальше уже сама до кипятка доходит. Да еще нужно большую лохань холодной воды натопить из того же снега! Куда как проще летом — принесли пару десятков ведер воды из ближнего, что в двадцати шагах от дома, озера Гранитного — и баста!

...И только после того, как хлопоты эти заканчиваются, баня до вечера сама вытапливается, только не забывай дрова, заранее принесенные из сарая, где их поленница, в печь каменки подкладывать, дело доходит до дрови.

Теперь же он почти на равных с *отцом* растапливал баню, то есть носил из сарая, огибая дом по расчищенной *отцом* дорожке дрова и черпал ведром поодаль бани незатоптанный, но уже подернутый хрустким настом снег — все же хотя и раннемайское, но солнце! Пришло время и для настоящего мужского занятия — готовить для катания дробь. Свинец был заготовлен *отцом* заранее; тот не любил сваливать все дела в одну кучу, но «во всяком деле, Николка, даже в ловле блох, должен быть поря-

док, желательно военно-морской: все по ранжиру и в порядке возрастания сложности».

О значении слова «ранжир», которое вызывало у него почти явственный привкус топленого масла, на котором мать жарила оладьи, он только примерно догадывался, да и то потому, что при его произнесении отец делал строгое лицо и вроде как по-строевому распрямлялся. Однако хорошо знал, что заготовка свинца — это содранная с силового кабеля рубашка, а таких обрезков в подсобке при мастерской маяка всегда можно отыскать в кучах всякого хлама, что скапливался после каждого очередного регламентного ремонта электрохозяйства в дизельной, прожекторной башне и в гидравлической системе маяка. Если охотники, а это все мужики, исключая модничающего Гусарова, который на зиму закупался в Полярном уже готовыми, фабричными патронами со смешными картонными гильзами, все обрезки разбирали, то Федоров, строго порассуждав о сохранности имущества и почти что трибунала за его несохранность, самолично отрубал пяток метров кабеля от бунты, завезенной на маяк для последующих ремонтов. Или же, вздохнув, наливал фляжку спирта для протирки рубинов прожектора, раскочегаривал моторку и отправлялся к артиллеристам в Медвежью губу, откуда привозил не то что кучу явно свежепорубленных кусков кабеля, но и полупудовые свинцовые болванки-стаканы, для чего-то используемые в пушечном деле. «Принимай, мужики, подарки от старшины Пилипченко, а пару стаканов я уж себе отберу», — подмигивал Федоров.

Николка и сам знал, как ошкуривать ка-

бель, но ему пока это дело не доверяли, ибо здесь требовались более крепкие и ловкие, чтобы не пораниться, руки. Самое противное — размотать верхнюю стальную оплетку, густо политую закаменевшей черной смолой. А остальное проще и веселее: острым засапожником, сильно надавливая, разрезать свинцовую оболочку вдоль кабеля, тем же ножом отогнуть ее вправо-влево, а дальше отгибать уже руками.

«Смотри внимательно, — говорил отец, принося из сарая в предбанник ведро с разнокалиберными кусками свинца, — куски кабельные гармошкой уминаешь, чтобы ковш плотнее набить и за один раз весь расплавить. Если когда самому придется ковш делать, то берешь подходящую посудину, лучше чугунную литра на три, но только из серого, литевого чугуна. Ручка из любой железки длиной на полметра, не меньше. Ее можно и на заклепках закрепить — серый чугун сверлится, но нужно только брать победитовое сверло, а где его у нас возьмешь? Правда, в Полярном на Шестом судоремонтном заводе такие есть, но работяги и за бутылку не согласятся: завод военный, стрелки с карабинами в проходной стоят. Значит, нужно уже две бутылки — еще и стрелку, а это уже дорого: в городе полусухой закон, только пиво продают и шампанское в «Ягодке», да коньяк в рóзлив в буфете Декафа*. Не в Мурманск же за водкой ехать?! Поэтому проще как вот этот ковш делать: верхнюю часть чугунка охватываем медной

* От ДКФ — Дом командиров флота; в Николкины времена он уже именовался ДОФ — Дом офицеров флота, но по традиции использовалось в разговорах первое, еще довоенное название. — Прим. авт.



Промысловый бот-баркас

обечайкой, затягиваем ее на отгибах концов болтом с гайкой, а до этого к обечайке приклепываем ручку — тремя закрепками, так не разболтается. А с левой стороны ковша с края пропилена треугольным драчевым напильником треугольная же прорезь — это чтобы свинец выливать тонкой струей, а не охлюпкой, как воду из ведра...»

Отец с Николкой (он же полагал мысленно: Николка с отцом) замяли гармошкой куски свинцовой оболочки в комки, все это уложили в ковш. Получилось с солидной горкой; ее отец несколько умял торцом полена. После чего поставил ковш со свинцом в печь, предварительно пошуровав кочергой, выровняв раскаленные угли под посудину и отодвинув вглубь горящие поленья. Дверцу печи прикрыл, сколько позволяла торчащая наружу ручка ковша.

Отец сел на нижний полук перед печкой, а Николка принес из предбанника жирно отсвечивающую гладкой, зеркальной чернотой сковороду обычной высоты, но размером по днищу с небольшой таз.

— А это, пап, из какого чугуна?

— Раз черного цвета, так из обычного. Передельный называется. Его ни сверлить, ни пилить нельзя, ничто не возьмет, зато свинец к нему не прилипает. Да, сбегай-ка в сарай и принеси, а то я забыл захватить, мои брезентовые рукавицы — те, что с нашитым на ладони войлоком. И ещехвати мешок, что поплосше, только не рваный.

Николка все принес; отец приоткрыл дверцу печи, взгляделся:

— Почти расплавился, скоро забурлит. Рас-

стели аккуратно мешок поодаль полка и поставь на него сковороду, только с края мешковины.

— Пап, а чем серый чугунок от черного отличается?

— Серый сразу в формы льют и нужную вещь сразу получают, а черный отправляют в сталелитейку и в сталь переваривают. Потому и передельным называется. Да еще сковороды из него раньше отливали, так что это сейчас редкость. Говорят — теперь их только из серого чугуна творят. Ты голову этим пока не забивай; в школе все узнаешь, а пока учись тому, что в жизни пригодится, о чем в школе не рассказывают.

Отец еще раз заглянул в растворенную дверцу печи:

— Все, забулькал. Ну-ка, подай рукавицы, а сам чуток в сторону отодвинься.

Из осторожно вытащенного отцом из печи за ручку ковши на Николку резко поддало сухим жаром, кожу на лбу стянуло, а в носу засвербило. Невольно он отодвинулся до широкой пристенной лавки, где при мытье расставлялись шайки с горячей и холодной водой, а также клались мыло и мочалки. Отец же, наклонившись, как-то ловко, быстро и крутя тонкой сияюще-серебристой струйкой расплавленного свинца по сковороде — от центра к краям, как спиралью в сломаном будильнике, что валялся в сарае, выпек первый блин. Тут же распрямился и снова поставил ковш в печь, но дверцу уже не закрыл.

— Вот, смотри, прошла минута, свинец потемнел, а вот от центра к краям, как морозные узоры на окне, побежали трещинки. Все, стал серым, каким и бывает свинец. Готово.

Отец, так и не снимавший рукавицы с войлочными нашивками, взял обеими руками сковороду, чуть поднял ее, резко перевернул вверх дном и бросил на мешковину. Та как-то глухо, с двойным тупым стуком упала. Отец поддел ее за край заранее припасенной ржавой вилкой с обломленным зубцом и поставил на дно. А на мешковине остался лежать свинцовый блин; донная его поверхность еще серебрилась, но на глазах серела, правда, оставаясь глянцевиной без узора морщин.

Тем временем отец уже вынимал ковш из печи для следующей заливки.

Николка заморожено смотрел, как на мешковине увеличивалось число блинов. На четвертом места уже не оставалось, поэтому отец, все также поддевая вилкой, собрал готовые блины в стопку и положил ее уже на пол, освободив место для новых отливок.

— ...Главное, чтобы толщина получалась чуть больше спичечной. Тогда после катки в мельнице получится дробь третьего номера: не мелкая, но и не крупная особо, как раз для птиц, особенно для гаг. Тут опыт нужен и твердая рука.

— Пап, дай мне разлить, а?

— Подожди, вот останется на одну штуку в ковше, тогда и дам; все одно брак будет. Здесь все наоборот с теми блинами, что мать печет: там, по пословице, первый блин комом, а здесь всегда последний; то не хватит на всю сковороду, а то с лишкой — куда ее девать? И жалко. Вот и получается блин или тонкий, щербатый по краям, или толстый. Все одно на дробь пойдет.

Наконец-то Николка дождался: отлив очередной блин, отец взгляделся в нутро ковша, поболтал им:

— Кажись на последний пошло, вроде с лишкой. Надевай рукавицы. Та-ак, теперь бери ковш за ручку и вынимай из печи, да не напрягайся, он уже не тяжелый, спокойнее...

Николка все же смог унять дрожь в руках и ногах; держа ручку ковша на вытянутых руках, поднес ее к сковороде и, как делал отец, вращая наклоненный ковш, вылил свинец в сковороду, но чуть плеснул за ее край. Отец чуть поморщился, что делал при любом, даже мельчайшем непорядке, но ничего не сказал. Еще он неловко перевернул сковороду и недостаточно сильно бросил: блин не хотел отваливаться от днища. Только после повторного бросания он отскочил. Действительно, получился толстоват.

Зарядив печку дровами и оставив ее вытапливаться, уменьшив задвижкой выюшки на трубе под потолком тягу, отец загрузил в мешок свинцовые блины, велел Николке взять ковш и сковороду. Пошли в сарай. Но эту работу Николка уже не раз видел, да и сам иногда участвовал. Слесарными ножницами, закрепленными в тисках, принайтованных к краю верстака, блины поочередно разрезаются на узенькие, тоже чуть больше толщины спички, полоски. А когда все заготовки переведены, то пучки полосок теми же ножницами крошатся в подставленный таз на кубики с примерно одинаковыми размерами по всем граням.

Затем отец достает из угла сарая жестяной барабан с деревянными заглушками, по размеру и форме схожий с огнетушителем, через отвер-

ствия в центре заглушек с помощью воронки, что держит Николка, ссыпает все свинцовые кубики в барабан, а потом продевает через те же отверстия металлический вал с резьбой на концах; закрепляет барабан на валу большими гайками — сразу двумя: гайкой и контргайкой. Взявшись за свободные концы вала, отец с Николкой несут барабан за дом, где напротив кухонного окна, метрах в десяти стоит дробянный ветряк, не выше отцова роста. Лопасти ветряка, чтобы без дела не болтались на ветру, закреплены на основе мельницы проволокой. Отец как-то по хитрому встраивает барабан в мельницу, так что вал оказывается в подшипниках и соединяется с осью лопастей. Вот и проволока с них снята, вот и закрутилась на легком ветерке.

Еще Николка уже знает: здесь на острове днем ветер дует с севера, а ночью с юго-востока; отец называет, конечно, по-флотски: *норд-норд* и *зюйд-ост*. Поэтому осью ветряк устанавливается *норд-ост-ост*, потому и крутятся лопасти полностью все сутки.

И еще он знает, что через неделю верчения отец так же разберет ветряк и высыплет из барабана круглую серую свинцовую дробь третьего номера.

...Усилием Николка отогнал мысли о тонкостях отливки свинцовых дробы и боевых кастетов, приближаясь к пирсу Языковой бухты. А услышав характерный стукоток двигателя бота, явно заходящего с юга в пролив между Седловатым и материковым берегом, и вовсе поторопился: знал, что корову только на боте и можно привезти.

Пройдя ровным и низким берегом Меловой

бухты, где Толька ночью и утром острожил камбалу, а далее миновав проход между невеликой сопочкой безымянного мыса, разделявшего Меловую и Языковую бухты, и «полем» Седалина со свежесгороженным им коровником, Николка вышел к пирсу, где уже топтался необычно возбужденный, в обычной жизни спокойно-равнодушный Седалин — родом из тундровых лопарей; у его ног лежала связка каких-то веревок. И действительно, как сообщил Толька, на камне пирса уже были разложены наборные резиновые коврики, что обычно покрывали цементный пол в дизельном отделении маяка. Еще Николка заметил, что с маячной горки уже подходят к лестнице Глафира Седалина и Васька, а за ними чуть поодаль, что-то из себя воображая, тянется и восьмилетняя седалинская Танька.

Из-за свежесрубленного коровника чуткое ухо Николки уловило голоса. А вот из-за угла вышли сам Федоров с Матрониным, осматривавшие от нечего делать в ожидании бота с коровой новостройку. За ними, тоже что-то воображая из себя, вышел и семилетний федоровский Витька. Что называется, все почти в сборе...

Животные на маяках, как уже понимал Николка — не столько по еще малым личным наблюдениям, но по разговорам взрослых, прежде всего отца с матерью, не такая уж редкость. Когда они уезжали с Палагубского, маяка почти на входе в Полярный — то есть у пролива между островом Екатеринбургским и материковым берегом, на самом выходе из губы Пала, на другом берегу которой расположился военный судоремонтный завод, то Николка еще не вы-

шел из затянувшегося младенческого беспамятства. То есть он как-то смутно сейчас помнил общие очертания маленького мыса между губами Пала и Оленья, где стоял общий маячный дом, почти со всех сторон окруженный впритык к стенкам мостками с перилами, несколько сараюшек чуть поодаль, но зато не мог в мыслях нарисовать само маячное помещение. Помнил только, что звук его, как сейчас доносящийся с Большого Оленьего, был визгливый, не очень громкий; такие звуковые маяки называются *наутофонами*. Светового маяка, как на Седловатом — с вращающимся огромным прожектором, на Палагубском не было; только на самом острине-выступе мыса стояла металлическая, рамчатая тренога — створа с электрическим фонарем, размером с тогдашнего Николку, что загорался с наступлением темноты.

А вот само маячное здание? Когда Николка спрашивал о нем отца или старших братьев, то они пренебрежительно махали руками: какой там, дескать, маяк — пристройка к жилому дому с полутораметровой башенкой. Дизеля своего нет, а ток электрический поступает по подводному кабелю со стороны Полярного: ширина-то Пала-губы на выходе меньше километра! Не маяк, а так себе, не то что седловатовский; мужики на острове говорят, что по размеру с небольшой заводской цех.

Что же касается домашних животных, то сейчас Николка, как и в случае с маяконаутофоном, то ли сам что-то смутно помнил, то ли воспринял из разговоров родителей, рассказов Юрки и Тольки. Он уже понимал, что память очень хитра по своему устройству, хитрее

того неработающего будильника, а уж там-то такое число разноразмерных колесиков и винтиков! — Неужели память человека еще сложнее сделана? Может быть, сомневался Николка, умеет она, память-то, выслушав через уши Николки рассказы родителей и старших братьев про палагубских баранов, вообразить, как воображали седалинская Танька или федоровская мелкота Настена, что не через уши только что узнала, а через глаза Николки два-три года назад, еще на Палагубском... Чудно все же устроен человек. Даже такой маленький, как он, Николка.

ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ И ПЛАВСРЕДСТВА КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА

Как бы там ни было с хитроумной памятью, но Николка уже ясно представлял себе летний Палагубский маяк, такое же незаходящее солнце, и веселое, дробное цоканье по высушенным солнцем доскам мостков, окружающих маячный дом, трех овец и двух баранов: Борьки и Никифора. Ну-у, Борька-то, понятно, а вот редкостное для чина барана имя второго? И опять чудилось Николке: то ли на Палагубском уже знал, или уже на Седловатом мать со смехом, но несколько опасливо, кому-то из своих, конечно, рассказывала: «...Андреян-то, если кто поперек него что сделает, так на зубок, на язык его попадет, а там и останется на всю жизнь! Еще с довойны, с флотской службы невзлюбил его политрук из гидроотдела Шулейко Борис

Никифорович, сегодняшний подполковник. Все приставал: вступай, да вступай в партию! Много за двенадцать почти лет службы всяких пакостей Андреяну наделал. Демобилизовался — и снова под его властью! Вот он на Палагубском, как овец завели, специально баранов Борькой и Никифором прозвал. Хорошо, Шулейка об этом не прознал, а то быть беде!»

...Все-таки это были не его, Николки, воспоминания, потому как не мог сказать: а как овцы, Борька и Никифор к нему самому относились? Не мог и все, а то, что хорошо их себе представлял — отдельно овец, порознь баранов, — так это потому, что только что в деревне Дворцы насмотрелся на этих забавных животных. Хотя рогатых баранов явно побаивался; другое дело глупые, стриженные с весны овцы; если, конечно, они без ягнят.

Но вот это веселое дробное стуканье по доскам мостков? — Нет, это по рассказам себе не представишь; значит, сам запомнил: именно не самих овец, а баранов, их летний веселый стукоток аккуратных копытец. Но уже явно из разговоров и рассказов: как то разведение баранов закончилось. И как, конечно, началось.

В год рождения Николки как раз и их три минуло с окончания войны — без трех же дней: война закончилась девятого мая, а Николка родился шестого. Не сам, конечно, все эти цифры вычислил, а отец как-то ему объяснил. И еще заметил, что родился он «посреди больших людей и событий»: чуть-чуть разминулся с Фридрихом Энгельсом, зато прямо попал промеж двух недавно установленных праздников: Днем печати и Днем радио. «Так что, — посмеивался

отец, — всю жизнь будешь между радио и печатным словом свою линию гнуть».

Родился же он в становище Белокаменском; становищем его называли жители, а начальство именovalo поселком Белокаменка. Понятно дело, что непосредственно-то он появился на свет в мурманской родильной больнице — это он от старших знал, — но семейство, тогда еще без Славки и Сережки, проживало в Белокаменке. В этот же год отец, в очередной раз психанув на придирки Шулейки, подал *рапорт* о демобилизации со сверхсрочной. Все это Николка в подробностях многожды слышал от матери, когда она злилась на отца и припоминала всякие неприятности, происходившие от несдержанного характера отца: «Ведь меньше шести месяцев ему оставалось до военной пенсии — двенадцать лет бы исполнилось, как на службе, Финская и Отечественная в зачет, ан надоело ему вишь попреки о беспартийности от Шулейки выслушивать! Вот и вся служба с тридцать шестого года коту под хвост... Теперь еще двадцать без малого ждать до северной льготной. Хорошо, брат мой Мишкó начальником маяка в Белокаменке был и взял Андреяна к себе, потом в Ретинское и на Палагубский: за собой нас брат-то таскал; вот только сюда, на Седловатый сами переехали».

И дальше мать, разговорившись с прибывавшей скоротать долгий зимний вечер и заодно поучиться прясть шерсть и вязать носки-варежки Верой Гусаровой, когда отец на суточной вахте на маяке, много что рассказывала, а почти уже шестилетний Николка, что-то рисуя цветными карандашами на плотно-шершавых

листах альбома, купленного матерью в Полярном еще осенью, через настужь — для растекания тепла от печки по всему дому — растворенную дверь слушал ясно доносящееся с кухни.

Так получалось по рассказам матери, что после кочевой неустроенности в Белокаменке и Ретинском, да с тремя ребятами на руках, а Николка и вовсе еще сосунок, жизнь на Палагубском совсем хорошо устроилась: брат Михаил — начальник маяка, до Полярного в любую погоду — остров Екатерининский от самых сильных штормов закрывает — двадцать минут хода на моторке. И Юрку с Толькой в интернате проведать, а иногда и просто на воскресенье домой привезти, не говоря уж о каникулах; в магазины зачем-либо... Кабель силовой через пролив протянут, так электрический свет в доме круглосуточно, не надо глаза портить при керосиновых лампах, как нам, Вер, с тобой. Хорошо в маячном доме на горке — там тоже всегда по темному времени свет от дизеля! А к нам провести только Федоров и обещает. Мы уже два полных года здесь, а обещанного три ждут.

Еще была довольна, что наконец-то в ее северной жизни на Палагубском и живность домашняя появилась: овечки и пара баранов. Своя шерсть для пряжи; теперь-то вот придется где-нито на других маяках покупать ее, где овец держат. Хорошо в этот отпуск из отцовской деревни на весь год тючок шерсти привезли. И лишний баран всегда имеется — на мясо зимой, на пельмени. Андреян к пельменям без баранины и близко не подойдет; говорит, мясо в пельменях должно быть поровну: свинина, говядина и баранина. Нарадоваться не могла

и на овечек, и на всю палагубскую жизнь нашу. Почти три года так и жили, а потом все Андреянов характер! С Мишкóм-то, на что уж мужик покладистый мой брат, чегой-то не поделил: вишь, расписание вахт на зиму не по его составил! Правильно люди говорят: вреднее и упрямее калуцких мужиков только ротные старшины из хохлов.

А от его-то, Андреяна, психа все и пошло-поехало. Сначала без овец остались: как-то Борька — и что это на него нашло? Такой смирный баран был — не захотел уступить своему хозяину проход в узком месте мостка у дома. Андреян его шуганул и сапогом под зад поддел. Согнал животную с мостка и пошел, держа в руке колун, дальше: намеренны мы с ним целую горку чурбанов напилили, шел рубить их на дрова. А Борька, даром что баран неразумный, обиделся, нагнал Андреяна и уже его под зад рожками своими, а тот от неожиданности, или испугался, с полоборота махнул колуном и левый рог у Борьки сшиб. В тот же вечер попросил Мишкó зарезать барана; сам-то недеревенского воспитания, хотя в селе и родился да малые лета там прожил, поэтому такая чувствительность в нем: не может животных ножом резать. А стрелять, так мясо кровью испортишь. Еще через пару дней Никифора и овечек подешевле, лишь бы с рук сбыть, продал Переслегиным, бывшим маячникам в Ретинском, а теперь живших в односемейном домике в Старом Полярном. Когда погружали моих овечек в моторку, так я всплакнула и убежала с пирса-то. И Андреян два дня молчал.

...На Седловатом же овец не водилось, но

зато теперь своя корова появится. Вот здорово! Едва Николка подошел к пирсу, а проще говоря, к плоскому камню, торчащему из воды на рост взрослого человека на северной стороне крохотной Языковой бухты, из-за Южного мыса, и так, что уже его не закрывала выступающая обрывистая скала острова, что прямо напротив Николкина дома, показался бот. И мерный стукоток его двигателя в окружившей Седловатый окрестной тишине стал настолько громким, что собравшиеся на пирсе маячники чуть повысили свои разговорные голоса. Явно на усилившийся стукоток бота к пирсу подтягивались и остальные маячники, исключая вахтенного по маяку отца Николки.

Седалин с Федоровым чуть не до крика дошли, причем на правах начальника Федоров даже дважды назвал подчиненного лопарем настырным. Николка знал, что Степан Седалин — единственный из всех маячников происхождения из малочисленного народа лопарей, что разводят оленей далеко за Мурманском, в тундре. Но почему он обижается на это слово? Этого Николка понять не мог. Сам он от родителей и старших братьев не раз слышал, что все в семье русские. И он бы не обиделся, если кто, тот же Седалин, так его назвал. Правда, в раздражении отец именовал мать чухонкой, или чухной архангельский, но все к этому попривыкли и внимания не обращали. Но поскольку тот же Федоров, неодобрительно покрикивая на Седалина всегда к слову «лопарь» присовокуплял что-нибудь про настырность или бестолковость, то Николка, чтобы более не ломать голову, решил: Степан обижается именно на второе слово.



Внутри лопарской хижины

А повздорили Федоров с Седалиным из-за все тех же принесенных из дизельной резиновых ковриков:

— ...Ну и настырный ты лопарь, Степка! Ты как будто командующего флотом, а не корову встречаешь, ковер расстилаешь, чтобы она сошла с бота и шествовала по пирсу на остров. У коровы четыре ноги и те враскоряку. Потом она перепугана будет, копытами заскользит. Поэтому коврики-то надо вдоль края пирса растелить, чтобы копыта на камень не попадали. Учись, пока у тебя умный начальник имеется!

Николка уже за несколько дней знал, что корову Седалин купил у родственника-лопаря из поселка Тюва-губа, милях в семи ниже по Кольскому заливу на правом его берегу. В Тюве, как уже знал Николка, располагался небольшой рыбзавод и льдохранилище: лед запасался в огромных количествах с зимы, и этим льдом наполняли трюмы рыболовецкие сейнеры, следующие из Мурманска в открытое море на промысел. А лед нужен для сохранения пойманной трески и сельди, особенно в летнее время. Родственник же Седалина служил сторожем рыбзавода и держал трех коров, подрабатывая продажей молока семьям рабочих с малыми детьми. Но, как со слов родителей слышал и рассказывал Николке седалинский Васька — не гордый, хотя и на пять лет старше — к родственнику привязался ревматизм, жена его тоже слабосильной стала, потому решили коров распродать. Седалин сговорился купить полуторогодовалую телку, которая сейчас и приближалась к пирсу.

Еще Васька рассказал, что когда неделю назад отец ходил на маячной моторке в Тюву, то

сговорился за умеренную плату спиртом — из запасов Федорова — со старшиной бота, приписанного к тювагубскому рыбзаводу, что тот в оговоренный день по пути на Кильдин завернет на Седловатый и доставит корову в шестивесельной шлюпке на буксире; доставка этой шлюпки на маяк Новокильдинский — по какой-то сложной обменной разнарядке с гидроотделом — и была целью сегодняшней курсировки бота.

— А почему не на самом боте, не на палубе? И ведь корова может из шлюпки в воду выпрыгнуть?

— Э-эх, Николка, парень ты малый, да дурак немалый, — снисходительно объяснял Васька, — бот хоча и приписан к Тюве, но состоит в реестре флотском, значит — корабль, а везти корову на палубе корабля? Засмеют на всю жизнь, да и до начальства дойдет — мало не покажется. Потом у него борта высокие, а корова не собака дрессированная, чтобы по крутому трапу подыматься-спускаться. А в шлюпке телка со спутанными ногами, да еще принайтвана будет фалами к банкам*. И даже из шлюпки ее разгрузить на пирс — морока долгая, сам увидишь.

Здесь Николка уловил голос озабоченного Федорова:

— Слышь, Трофим, сгоноши-ка на маяк и позови Андреяна, боюсь, одни мы не справимся корову из шлюпки разгружать...

— А может ее в Меловую к отмели подвезти?

* Поперечная лавка-доска для гребцов в шлюпке. — Прим. авт.

— Да нет, мы уже со Степаном примерялись: из шлюпки-то там без хлопот ее на берег перегнать, но потом на горку как по скале тащить? Нет, остается только пирс один.

В это время из-за скалы-обрыва с мигом усилившейся на прямой видимости стукотней солярного двигателя показался и бот: сначала поверху скругленного верха скалы с полминуты были видны обе мачты бота с растяжками вант и небольшими реями у самой верхушки, а затем медленно выплыл туповатый нос, а затем и весь корпус бота.

Чего-чего, а в кораблях-то Николка разбирался достаточно. И, как он смутно сам все же помнил, с Палагубского на Седловатый их семейство со всем скарбом переселялось именно на боте.

Во-первых, он накрепко запомнил слова отца, учившего его флотским понятиям:

— Тебе, Николка, через пару месяцев уже шесть лет стукнет, а ты еще такое говоришь, что над тобой похихикивают. Так вот, все плавсредства разделяются на корабли и суда. Корабли всегда военной принадлежности, а суда,— отец пренебрежительно усмехнулся,— это все гражданское, штатское: торгоши, сухогрузы, рыболовные... И еще: по морю корабли, даже и суда, не плавают, а ходят! Плавают только мусор всякий и рыба.

— А касатки и тюлени?

— Ну-у, это ведь не рыбы, хотя звери и серьезные... впрочем, и они плавают.

Во-вторых, Николка отличал большие корабли и суда, что круглые сутки шли мимо их острова по Кольскому заливу, около Седловато-

го, конечно, не задерживаясь и вообще горделиво не приближаясь к нему ближе чем на несколько кабельтовых, и малые, которые и мимо также проходили, но иногда пришвартовывались к их каменному пирсу, заходя слева острова по узкому проливу между Седловатым и материковым Медвежьегубским мысом. За исключением несамоходной баржи, ведомой буксиром, что осенью завозила на маяк годовой запас продуктов, все остальные, заходившие в их Языковую бухту, являлись кораблями трех видов: начальничьи катера, «аркашки» и боты.

...Когда этим летом, накупавшись до озноба в реке Угре, что в отцовской калужской деревне, отогревался на раскаленном солнцем песке и рассказывал деревенским сверстникам и даже ребятам младшешкольного возраста о студенческом море и кораблях, что в самый шторм швартуются к пирсу их острова, то он так пояснял разницу между такими кораблями:

— Начальничьи, они не очень уж большие, но идут по морю шибко: нос на ходу над водой подымается, и волны крутые от носа вбок бегут, а корма наоборот проседает, и от винта волны еще выше, чем носовые. Двух цветов они бывают: белые — адмиральские, на таком политотдельский Шулейка прибывает взрослым политзанятия проводить; а серые — шаровые пофлотски — уже не политотдельские, а всяким службам принадлежат. «Аркашки» побольше раза в два, а может и еще больше, а называются так, как поясняли старшие, потому что на обеих сторонах борта у носа белой краской написан номер, навроде *РК-57*, *РК* — марка катера. Шарового цвета все, сплошь железные, с

заклепками. Рубка тоже железная, а мачта с антенной на ней совсем небольшая. Перед рубкой люк: лючную крышку подымешь, а там трап вниз, спустишься прямо в пассажирскую каюту, где по всем бортам лавки, обитые крашеным брезентом.

...А вот бот Николка расписывал деревенским сухопутным ребятам так восторженно, что те не совсем ему верили, а младшие школьники даже порой скалили зубы и посмеивались: ну, дескать, и погибает северный отпускник! Но ведь он-то ни на капельку не привирал? Получалось в его рассказах так, что бот — это почти шхуна или фрегат в кино про пиратов и адмирала Нахимова, только мачты две, а не три-четыре, как на тех же фрегатах, каравеллах и барках. Но мачты настоящие, с реями, с вантами, и с верхушки передней мачты даже парус-трос натянут под косой кливер. И сами паруса на мачтах, хотя Николка никогда не видел их надутыми ветром, наличествуют, только свернуты туго и принайтованы к реям. А сам бот немалого длиннее «аркашки», но зато шире и осанистее. Это как если бы поставить рядом и сравнить отца с широкой, староверческой, как он сам называет, бородой и тощеватого, хромого на левую ногу (мать говорит: лошадиная стопа) Трофима Матренина с будто приклеенной редкой бородашкой «клинышком». «Под всесоюзного старосту косит, Колчедыкин», — зубоскалил отец в плохом настроении. Например, когда щи у матери получались, по его мнению, не очень наваристыми.

Самое же главное: бот отличался от всех кораблей и судов, больших и малых тем, что

был сделан из дерева, как шлюпка! Но только не из досок, как маячная моторка и личные «двойки»*, что имелись у Седалина и Николкиного семейства — еще на Палагубском завели, а обтесанных бревен, бруса, как пояснял отец. Еще он на вопросы Николки рассказывал: сейчас уже новые-то боты не строят, но и эти еще долго послужат, крепко сделаны соломбальскими, что близ Архангельска, и кандалакшскими корабелями, где их по такому же образцу, только без паровых, а потом дизельных машин, полтора века мастерили. А почти на таких же, только чуток поменьше, поморские рыбаки и добытчики тюленей чуть ли не со времен первых русских царей на Грумант, который сейчас Шпицбергенom именуется, и что по проискам Чемберлена норвегам отдали, как в соседнюю избу ходили, зимовки там строили, обжили главный и малые острова.

Сам отец помнил с довоенных времен, как был призван служить на Северный флот, что тогда еще видел боты, ходившие под парусами — у рыболовецких артелей, а с конца тридцатых годов они ходили уже на дизельных движках, однако мачты и даже паруса на них на всякий случай оставили. После войны артели стали ни к чему, в Мурманске организовали целых два рыболовных флота: траловый, что треску на ньюфаундлендских банках добывают, и сельдяной, промышляющий в Баренцевом и Норвежском морях. А боты перешли в различ-

* Наименьшая по стандарту из шлюпок на одного гребца (два весла) и с одной банкой под него. — Прим. авт.

ные вспомогательные службы Северного флота и гражданских организаций: того же ПИНРО, тювагубского рыбзавода и других.

«Смотри, Николка, внимательно на боты, присматривайся и запоминай,— заканчивал рассказ отец,— скоро они только на фотографиях останутся, их век прошел. А тебе будет что вспомнить о северной жизни!»

— А что, пап,— то ли в том разговоре о ботах, а может и по другому случаю, Николка еще не научился запоминать что-то услышанное в привязке ко времени, спросил он,— значит, нам не все время здесь жить, если нужно будет вспоминать?

— Да, когда-то придется уезжать в Среднюю полосу, в Калугу или во Дворцы, скорее всего не в сами Дворцы, а в Тихон*. Село большое, райцентровское, со школой для вас; купим дом, и я работу найду: электриком на лесопилку, в районе, типографию или в фабзавуч для инвалидов детства, что в монастырских постройках... нет, лучше в милицию пойду служить. Сейчас там начальником района милицейским наш, дворцовский капитан Евтухов, из родственников. Так он говорит: давай, Андреян, вернешься на родину, так я тебя, как кадрового фронтовика, участника двух войн с колодкой боевых наград, без разговоров в участковые определяю. А почему уезжать отсюда? Так здесь-то до самого Мурманска коренных, кроме лопарей навроде Седалина и еще кой-кого из ста-

* От Тихоновой пустыни, в двадцати километрах от Калуги; это монастырское село с монастырем Св. Тихона в 20-е годы по ошибке малограмотных властей переименовали в село Льва Толстого.— Прим. авт.

ринных становищ, и нет: по военкоматовской повестке или за длинным рублем приедут, отслужат, повкалывают лет до сорока-пятидесяти и уезжают на родину. Жизнь-то здесь трудноватая; это потом поймешь, хотя люди здесь почти хорошие подобрались, места диковатые, но красивые. Главное — климат не для постоянного проживания. Недаром старики из коренных присказку от своих отцов-дедов повторяют: «От Колы до ада одна верста». Ты вот здесь родился, привычный значит, для тебя все привычно, все хорошо, но и тем, кто вырос в этих краях все одно во второй половине жизни лучше в более мягкие климаты перебираться.

Вот Шулейка, не к ночи будь помянут, рассказывал еще до войны, лейтенантом тогда был, не чурался с матросами запросто разговаривать, что Максим Горький в предпоследний год своей жизни приехал в Мурманск: посмотреть город, на военных базах побывать. Приехал на ленинградском поезде.

Сам Борис Никифорович, тогда еще младший политрук, приписанный «для разгона» будущей карьеры аж к самому политуправлению Северного флота, тогда только-только создававшегося, участвовал во встрече с поезда великого пролетарского писателя. Хотя он по малому своему чину и толочся в последнем ряду, но хорошо, как он нам говорил... может что и соврал, рассмотрел усталое, какое-то серое, сморщенное лицо Горького.

— Шулейка, — усмехнулся отец, — как всякий хохол, да еще из политотдельских, горазд языком чесать. Получалось же из его рассказа так: Горький осторожно опустил правую

ногу на первую тамбурную ступеньку, чуть поморщился, туда же добавил левую. Так, морщась и вроде как сам собой удивляясь, он сошел на платформу мурманского вокзала. От попыток поддерживать его под локоток при спуске он досадливо отмахивался. Шулейке даже слышалось вроде как: «Не из бар, не из генералов-адмиралов; не суетитесь!»

— Нет, — покачал головой отец, — врет, конечно. Но — складно. И получалось по его, что только командующий Северным флотом Душенов шагнул к писателю с распростертыми для дружеского объятия руками, как Алексей Максимович часто-часто захватал полураскрытым ртом воздух, а как назло с ночи сильный туман налетел, совсем сморщился, зашелся в кашле.

— Ну-у, — опять усмехнулся отец, — бойко тогда Шулейка песни пел, но получилось так, что флотских оттеснили врачи, по команде Душенова, о чем-то пошептавшегося с флагманским медиком-полковником, Горького усадили в санитарную карету, которая помчалась в сторону Ваенги, где только достроили аэродром дальней морской бомбардировочной авиации, а оттуда транспортным самолетом подальше от этих мест. Так что со слабыми легкими здесь долго не пробудешь!

— Ты че, заснул? — Это федоровский Витька толкнут его локтем, — сейчас самое интересное начнется. Вишь — папаня с Седалиным пошли в Меловую, пойдут на «двойке» шлюпку с коровой буксировать к пирсу.

Николка и впрямь, как иной несмышлениш, задумался об очевидном: бот есть бот, а «ар-

кашка» «аркашкой». Так дано, значит и заду-мываться об этом ни к чему.

Между тем бот, не доходя полукабельтова, резко перестал стучать своим движком, но и не включая для торможения обратный ход, еще какое-то время двигался по зеркальной глади пролива между Седловатым и Медвежьим мысом, но скоро замер на траверсе пирса. Явно для форсу старшина бота дал три взвизга корабельной сирены, а потом прокричал в жестяной раструб-мегафон:

— Федоров! На все и про все с вашей коровой даю полчаса. Меня на Кильдине пареная семга ждет под это самое! Шевелись!

Но Федоров с Седалиным уже отчалили от берега Меловой бухты, где содержались все шлюпки маяка, воротом с канатом вытягиваемые на пологий галечный берег. А тут и корова о себе заявила: натужено замычала. Сложное течение проливчика на утренней полной воде вынесло шлюпку-шестерку из-за кормы доселе закрывавшего ее бота. И все на пирсе хорошо увидели коричневую, малорогую, почти комолую, телушку, что стояла брюхом над средней банкой шлюпки, а передние и задние ноги ее были стреножены и фалом принайтованы, соответственно, к передней и задней банкам. Еще один фал тянулся к носу шлюпки от брезентовой шлейки на шее малосчастливой мореплавательницы. Корова, видимо задремавшая от ровного покачивания шлюпки на ходу бота — от малой его винтовой волны — теперь забеспокоилась, тревожно помыкивала.

Тем временем маячная «двойка» с Федоровым и Седалиным стукнулась — на пирсе в

наступившей тишине было слышно — борт о борт с прибуксированной ботом «шестеркой». От неожиданности телка даже взбрыкнула в своих тенетах. Седалин скоренько отвязал буксировочный трос, который не менее скоро выbral на кормовой борт бота палубный матрос.

И вот уже на коротком фале «двойка» буксирует шлюпку с коровой к пирсу; для скорости гребут оба, Федоров и Седалин, утеснившись на одной банке.

— А где Севёрко с Облайкиным? — Николка потому спросил об обеих маячных собаках Витьку, что те целый день, а летом и «ночь», были на виду. И если Гусаровы, которым Северко, достаточно крупная дворняга с отметинами лайки, достался от прежних хозяев его дома Карбасовых, перебравшихся на маяк Цып-Наволок на Терском берегу, иногда зачем-то сажали добродушного пса на веревку у открытой летом двери своего сарая, то общественный Облайкин, чуть поменьше и с признаками гончей, живший при маяке и большом доме, никогда бы не пропустил большого скопления людей.

— Отец приказал их запереть по сараям, а то корову при выгрузке напугают.

— А-а,— дошло до Николки, хотя все одно понять не мог: как не такие уж и большие собаки, причем мирные поведением, могут напугать здоровенную корову. Хотя и без рогов.

...Как бы там ни было, но две шлюпки обе подошли, развернутые бортами, к пирсу, а Седалин, уже перебравшись в «шестерку», развязывал тенета на корове. Федоров из «двойки» на правах начальника руководил и Седалиным, и суется поверху на пирсе маячниками;



Внутри русской промысловой хижины

при этом он в горячке бросал упреки в адрес коровы. Хорошо быть начальником! — Это уже мысли Николки. И в тот самый ответственный момент, как Седалин распутал последний узел фала на задних ногах коровы, а Гусаров, Матронин и Николкин отец закончили легкое переругивание и разобрались с веревками и брезентовыми шлеями, которые следовало подвести у передних и задних ног под брюхо коровы, чтобы тащить ее вверх на невысокий пирс, вот в этот ответственный момент Федоров громогласно чихнул. Чихал же он, причем безо всяких болезненных поводов, так громко, с таким послечиховым подзавыванием, что Николка всегда пугался, даже если Федоровский чих происходил в нескольких шагах поодаль его.

А как было не испугаться и без того оробевшей в морском путешествии молодой, неопытной еще в человеческой жизни коровенке? Тем более, что в момент чиха стоявший стоймя в «двойке» Федоров и корова в своей шлюпке оказались лицо к морде едва не впритык. Все последующее для Николки слилось в матерный лай мужиков — всех, включая обычно не ругавшегося Трофима Матронина, что дало повод Федорову заподозрить хромого Колчедыкина в тайном сектантстве, и визг отогнанных поодаль пирса, чтобы под ногами не мешались, женщин. А главное: как в кино, с быстрой сменой картинок на экране, перепугавшаяся корова, подумавшая, наверное, что настал последний час ее земной юдоли, всем крупом резко взбрыкнула опрочь Федорова, вышибла из шлюпки мелковатого Седалина, только что надевшего ей на шею что-то навроде уздечки. Седалин, не забы-

вая поминать матом родительницу спасителя мира и не выпуская намертво зажатую в руке уздечку, потянул за собой корову из без того давшей сильный крен шлюпки. Та, поумнее в таких случаях Седалина, не плюхнулась в воду плашмя, а, взбрыкнув передними ногами, оттолкнулась задними от днища шлюпки и выпрыгнула. Но и не умевший, как всякий тундровый лопарь, плавать Седалин вмиг поумнел и, обхватив свободной от уздечки рукой выю коровы, неожиданно ловко, как пружина от сломанных часов, вытащился по пояс из воды, забросил правую ногу в тяжеленном флотском яловом сапоге за спину коровы и вмиг оказался восседающим на несчастном животном, удерживаясь на мокром крупе с помощью уздечки.

Корова же, трудолюбиво забарахтав всеми четырьмя ногами, отплыла на пару метров от все еще раскачивающейся, теперь пустой шлюпки, потом дала крен влево и, оплывая обе шлюпки, стала приближаться к пирсу.

Несмотря на такой несчастливый исход, в случайно наступившей паузе между руганью мужиков и воплями баб послышался хохот матросов и попутных пассажиров с недалекого бота. Тут и на пирсе заулыбались, ребята же всю засмеялись, а Николкин отец вполне громко сказал, ни к кому не обращаясь:

— Вот тебе и похищение Европы... только не греческой, а лопарской!

Николка не понял: при чем тут Европа и греки? Про Европу он смутно знал от Тольки — это большая земля, где и все маяки, Мурманск, Полярный и даже отцова деревня Дворцы. И грека он знал: это был политотдель-

ский капитан Пелисиди, что обычно приезжал вместе с подполковником Шулейкой перед Октябрьским и Первомайским праздниками вручать Федорову грамоту, а остальных маячников ругал, но без мата. «Надо будет потом у отца спросить про грека на Европе», — сделал зарубку в своей голове Николка.

А меж тем кино вживую продолжалось. Николка уже хорошо понимал, что у взрослых есть два матерных языка: на первом они ругаются, так что лица краснеют или, как у Трофима, бледнеют; а вот на втором они же вполне мирно, даже дружелюбно помогают друг другу делать всякие полезные дела. Хотя слова одни и те же, за каждое из которых, произнеси их Николка или Толька, даже несмышлениш Славка, мать излупила бы всерьез вицей.

Вот и теперь, услышав гогот с бота, маячные мужики перешли от ругани к серьезному делу, с теми же, конечно, словами:

— Ты, едрень твою фень, Трофим, бросай обе веревки со шлеями Степану, да свои концы держи, в воду не упусти, — командовал Федоров, стаскивая, как мешок с мукой, мокрого Седалина с коровьего седла, — а ты, пловец хренов, передай конец уздечки Андреяну, так твою перетак-разэтак... богу мать! А сам держись одной рукой за борт, другой — и с головой своей — подныривай под корову и просовывай шлею! Ну и работничков бог, едрено-фень твою..., мне на маяк подвалил! Корову впятером принайтовать не могут! Вот-вот, разэтак вашу, растак, давай, мужики, подтаскивайте за шлеи и канаты ее, разэтакую, впритык к пирсу. Степан! Хрен моржовый, запрыгивай в шлюп-

ку, да в нашу, и волокн «шестерку» обрат к боту, а я на пирс в помощь.

...За умелой командой Федорова, не одну собаку съевшего (это не про Северко с Облайкиным) на маячном начальстве, начатом еще до войны, а до того служившего боцманом на эсминце, корову в два счета — три прыжка и с трехэтажным разговорным матом мигом вытащили из воды на пирс, поставили на разостланные резиновые коврики из дизельного отделения, держали за уздечку, пока вода с нее сбежит, и чуток обсохнет животное.

Седалин меж тем, усевшись на банке «двойки», стащил с себя белую матросскую робу и тельняшку, принялся их выжимать. Хотя солнце уже высоко стало и нагрело воздух, но он всегда простуды опасался. Потому и не болел никогда простудой; впрочем, на маяке болеть не было принято. Окромя прошлогоднего случая с тем же Седалиным, но все одно не по простудной части, Николка болящих не мог припомнить.

— Потом постираешься.— Это Федоров прикрикнул, снял свою фуфайку и бросил в шлюпку Седалину,— надевай и мчи к боту, полчаса уже с этой возней вышли! А то мореманы сейчас облают, мало не покажется.

Надев фуфайку и застегнув ее на все пуговицы, Седалин отчалил в сторону бота, где старшина уже было взялся за свой жестяной раструб. А на берегу седалинская Глафира, Глаха по-маячному, принесенной половой тряпкой на правах хозяйки обтирала бока и вымя коровы. Чтобы тоже не замерзла, не простудилась.

— Ну-у, корова, уже при хозяйке, да ты, Глаха, отведи-ка ее от пирса, чтобы вдругорядь

в воду не прыгнула, ха-ха, а лучше прямо в хлев свой ведем. А мы хотя и не купались,— Федоров подмигнул мужикам,— но для профилактики пошли на маяк; там у меня что-то в фляжке еще булькает! Обмоем корову.

МИЧУРИНЕЦ СЕДАЛИН И ЧАЕПИТИЕ У МАТРОНИНА

Степан Седалин по прозвищу Косой с женой Глафирой — Глахой по-маячному и детьми — уже считавшего себя пятиклассником Васькой и готовящейся через месяц с малым пойти во второй класс Танькой — был старожилом Седловатого. Это Николка знал с хвастовства Васьки; мы, мол, раньше всех вас сюда приехали! Правда, сам он на старшинство среди ребят острова не выставлялся, учитывая возраст Юрки и Тольки, но в отсутствие поблизости их покрикивал на Николку и федоровского Витьку, не говоря уже о своей сестре и федоровской же пятилетней дошкольнице Настене.

А из многоречивых рассказов матери, когда заходила скоротать долгий зимний вечер соседка Вера Гусарова, когда и Андреян, и Паша находились в суточной вахте на маяке, Николка все досконально знал о семействе Седалиных. Родом Степан из тундровых лопарей, еще отец его гонял оленьи стада близ Ловозера, но уже в молодые годы, в моровой падеж рогатых кормильцев остался ни с чем, кроме как с больной женой и тремя малолетними детьми-погодками: два сына и дочь. Собрали они с женой малые пожитки, взяли на руки плачущую дочку, веле-

ли малым ребятам за ними идти и навсегда покинули почти уже опустевшее стойбище. Прошли по зимнику через тундру и вышли к мурманской железной дороге, десять лет назад, еще при царе, построенной пригнанными из казахских степей стройбатовцами от Петрограда до Колы и одновременно с дорогой основанного города Николаев-на-Мурмане. Уже отец объяснял Николке, что железная дорога в таких диких местах, как кольская Монче-тундра и тысячеверстная чухонская Корела понадобились только для того, чтобы возить на фронты Империалистической разное боевое снаряжение, а также фабрично-заводское оборудование, гнать по рельсам паровозы — все привозимое в новопостроенный мурманский порт англичанами — союзниками по Антанте.

«Это, — рассказывал отец, — царь Николашка Кровавый хороший подарок будущему СССР сделал: а то пришлось бы нам в Отечественную эту же дорогу строить под немецкими бомбами». И еще отец, много чего знавший из прочитанного и виденного самим, говорил, что в ту войну, первую мировую, азиатов мусульманских в цареву армию не призывали, но для строительства мурманской железной дороги, очень спешно, за восемь месяцев всего, повести полста тысяч казахов, степняков крепких и здоровых. Дорогу-то они построили, но с непривычки к здешнему климату много их полегло. А в казахских степях в шестнадцатом году вспыхнул серьезный бунт-восстание по причине призыва в стройбатальоны. «Кстати говоря, — замечал отец, — это было единственное восстание в тылу за всю империалистическую...»

...Вот вышли лопари Седалины к дороге, втиснулись на полустанке в вагон с завербованными в срединной России на строительство рыбзавода в Мурманске и с ними же доехали до одноэтажного, деревянного сплошь города — самого северного в Советской стране и вообще в мире, до которого дотягивается железная дорога.

Шла середина двадцатых годов, Мурманск и Кольское побережье нуждались в рабочих руках, так что всего меньше суток семейство Седалиных прокантовалось во временном, дощатом вокзале, — каменный еще не построили, а первый, рубленый из бревен, сгорел в Гражданскую во время короткой антантовской оккупации. Как говорили старожилы, американцы с англичанами перепились виски, повздорили и не уследили за одной из печей. Опасная это вещь топящаяся углем печь!

Словом, подрядился Седалин-старший разнорабочим в новостроящийся поселок Абраммыс, почти напротив Мурманска на левом берегу Кольского залива. Там он приобрел специальность моториста, дети поучились в начальной школе. Потом перебрались на маяк в Териберку. Перед самой войной Седалин-старший и жена его в одночасье и почти в одно время примерли. К тому времени сыновья оженлись и разъехались по разным маякам, освоив профессии мотористов — по отцовым стопам. Дочь же, похоронив родителей, уехала на материк, в новый город Апатиты, где вышла замуж и по-сейчас живет там.

Всю войну братья Седалины провели на маяках — это даже не бронь была, а вольнонаемная служба. Теперь же младший Степан

крепко осел на Седловатом, а старший брат — на маяке острова Большой Олений, на прямой видимости в южную сторону от Седловатого, отделенный большим островом Екатерининским от Полярного.

Поначалу, как только Николка обрел память о текущем времени, начал осознавать себя, то есть уже на Седловатом, он как-то не задумывался: почему одного Седалина, даже не жену и детей его, все взрослые заглаза зовут лопарем? Второе прозвище заглаза — Косой — было понятнее: глаза у того всегда как-то вбок смотрели; «косит Степан-то», — говорила мать. Но вот почему лопарь? И спрашивать взрослых, тем более старших братьев, остерегался: вдруг это всем ясное и понятное, а он не знает? Но как-то случайно он все узнал о лопарях от Трофима Матронины.

По всей видимости, Трофим, в свои двадцать семь лет неженатый, да и вообще жених малозавидный со своей лошадиной стопой и нелепой бородкой клинышком, порой начинал скучать по неслужебному общению. Одно скрашивало его тоску: по его планам прозябать ему в одиночестве на острове и вообще на этом малоуютном Севере оставался неполный год. И в хорошем настроении, особенно по летней спокойной погоде, он высовывался в раскрытую форточку — окно его холостяцкой комнаты выходило на южную сторону, в самую людную и обжитую часть острова: что-то навроде двора между большим маячным домом и громадой маяка, где располагалась агитплощадка с газетным щитом, качели для ребят и площадка, где они же порой гоняли мяч.

Постояв у окна, прильнув к форточке и что-то посвистывая в такт чуть слышной из комнаты музыке, Трофим, обнаружив скучающего в одиночестве мальчонку, unbedingt окликал его по отчеству: «Эй, Андреяныч! Заходи ко мне чай с конфетами пить. Я как раз китайский высший сорт заварил».

Уже пару раз побывав у Матронины, Николка охотно принимал приглашение, заходил в раскрытую настежь по летнему времени входную дверь маячного дома, поднимался по лестнице на застекленную веранду, открыв еще одну дверь, оказывался в длинном, во весь дом коридоре с крашеным, хорошо вымытым полом. Третья дверь налево — жилище Матронины.

Не зря мать, разговаривая с той же Верой Гусаровой в присутствии Николки, жалуясь на постоянный детский беспорядок в своем доме, говорила, больше к сыну обращаясь:

— Вот у Трофима-то Матронины, даром что холостякует, такой порядок в комнате! Любо-дорого посмотреть: вещь к вещи, все в полном порядке. И из комнаты почти городскую квартиру устроил: кухонька своя с печкой-голландкой отгорожена, спальня за ширмой самодельной, стол для занятий перед окном, диванчик для отдыха, шкаф, полочки для книг, этажерка с приемником... Даже доска гладильная есть! Ему бы жену такую же аккуратную, да где ее на маяках-то возьмешь? Хорошо, собирается на Большую землю уезжать, там баб много сейчас в его возрасте, что с войны женихов не дождались. И Трофиму с его хромотой не совсем ладащая достанется... Да еще если и институт свой закончит, в инженеры выйдет?

Входит Николка в знакомую ему «квартиру» Матронины: все как и в предыдущий его приход. Матронин подмигивает ему, а сам из кухоньки своей с голландкой, одной из трех в доме, кроме большой русской печи в общей пекарне, счастливо «доставшейся» его комнате, переносит на письменный стол перед окном оба чайника: фарфоровый с заваркой китайской и жестяной, эмалированный с кипятком. А на середине стола, со сдвинутыми к краям тетрадками и книжками уже два стакана тонкого стекла в подстаканниках, тарелка с мягким печеньем и вазочка с оберточными конфетами «Озеро Рица» — вкуснейшими, шоколадными — поставлены.

— Садись, Андреяныч, — с обычной необидной насмешливостью называющий ребянтю по отчеству, — говорит, прихрамывая на ходу, Трофим. Сам присаживается со второго угла стола, наливает крепкого чаю гостю и себе, подвигает Николке конфеты и печенье.

— Может по-серьезному есть хочешь? Имеются вполне теплые макароны по-флотски. Сам недавно подкреплялся. Вишь вот, — кивнул, сам себя одобряя словно, на книжки и раскрытую общую тетрадь в дерматиновой обложке, — готовлюсь к экзаменам. Буду в следующем году, летом, поступать в городе Куйбышеве, я-то родом оттуда по младенчеству, в институт связи тамошний. Я бы и в этом году поехал, да денег еще надо прикопить, чтобы хоть два первые года учебы забот не знать. А дальше на вечернее отделение переведусь, на работу устроюсь, может женюсь тогда. Мне так люди опытные посоветовали с учебой-то: первые два года надо обязательно на дневном проучиться,

хорошую теоретическую подготовку получить, а потом можно и на вечернем продолжить. И на работу техником или мастером с двумя курсами сразу возьмут...

Что-то из рассказа Матренина Николка не совсем понимал, скорее на интонацию себя настраивал. И Матронин это хорошо знал, но перед кем еще на маяке можно выговориться, даже в словах себя убеждая и поддерживая в дальнейшей, обстоятельно планируемой жизни.

— ...Я ведь круглый сирота. Папка мой в тридцать первом году, мне еще четырех лет не было, умер от ран, в империалистическую войну полученных. Братьев-сестер не получилось у матери, а она сама, мама-то моя горемычная, в бомбежку по второму году войны, уже Отечественной, погибла; немец сильно в сорок втором заводы в Куйбышеве бомбил. Деды-бабки еще до моего рождения убралась: кто в войны-революции, кто в голод поволжский двадцатых годов. Одна тетка одинокая в том же Куйбышеве проживает, три года назад отыскал ее. Живет на окраине в хибарке, правда, еще крепкой. Зовет к себе по-родственному, вот у нее и жить поначалу стану, а там как судьба укажет. Ну-ка, я еще тебе чайку подолью.

Николка слушал ровный рассказ Трофима, которому не мешала музыка из включенного на малую громкость приемника на этажерке, стоящей в дверном углу комнаты, у стены, до которой не доходила дощатая, заклеенная обоями перегородка, отделявшая кухню от жилой комнаты.

А музыка из приемника была какой-то другой, чудной, совсем не похожей на ту, что

обычно слышал он дома из недавно установленного громкоговорителя, — это когда под руководством Матренина во все три дома острова вместе с телефоном провели и радио. А в чем это отличие музыки из приемника Трофима? Николка словами еще не умел объяснять самому себе такие сложные дела, как отличие одной музыки от другой. А была эта, сейчашная музыка не то что бойкая, местами даже плавная, затихающая, но потом начинала быстро-быстро веселиться.

Хозяин отметил чутко интерес Николки:

— Что, нравится? Я хорошую антенну — небось видел на крыше — прошлой осенью сварганил, поэтому на средних волнах европейские станции берет. Эх, хорошо бы приемник с короткими волнами заиметь, да сейчас, с отъездом в Куйбышев, уже ни к чему. Опять же деньги надо собирать, а не тратить. Это вроде как из Швеции, из Стокгольма станция, а музыка — из фильма «Серенада солнечной долины». Его и у нас показывают, я как-то в Архангельске после войны, когда в Соломбале электромехаником на узле связи работал, смотрел.

— Дядь Трофим, а про что у тебя книги написаны? — Николка показал рукой, словно совсем несмышлелыш, на двойную полку на стене и этажерку с книгами. Их было даже больше, чем у них дома, хотя отец считался самым грамотеем на маяке. И вообще на острове читали в охотку книги только два человека: Николкин отец и Матронин, но Трофим в основном интересовался учебниками, а для души — почему-то географией с историческим уклоном, а отец все больше толстые романы читал, при-

возя их охапками из районной библиотеки в редкие поездки в Полярный. Понятно, что сам Николка это все с чужих слов знал, некоторые слова здесь были для него смутными, но суть в голове укладывалась ладно: отец умные книги уже давно прочитал, а теперь интересуется разговорными, а Трофим все еще с умными сражается в свободное от вахт на маяке время, готовясь поступать в институт в далеком городе Куйбышеве...

Гусаровы, оба окончившие техникумы, читали выписываемые журналы, а Федоров на политзанятиях для маячников зачитывал газету «Правда». Второй партиец на острове — Седалин вообще ничего не читал.

...Матронин на вопрос Николки охотно пояснил, что на настенных полках, самолично сооруженных им из двух метровых досок, обструганных и для красивого светло-коричневого цвета опаленных паяльной лампой, у него учебники за среднюю школу, общие тетрадки с записями по учебной же части и разные занимательные книжки, в основном написанные Перельманом, по физике, геометрии с алгеброй и радиотехнике с электротехникой — по его специальности.

— А вот на этажерке, — Трофим свойски подмигнул гостю, — у меня такие книги, что ни в какой районной и даже областной библиотеке не сыщешь! Только никому не говори, слышь?

— Украдут, да?

— Да нет, вроде как у нас это не принято, да и кому они на маяке интересны? Если только твоему отцу, да я ему и так почитать дам, коли попросит. Но все одно не говори никому. Я их тоже не крал; в войну, когда в Соломбалах рабо-



Убитый кит

ботал, квартировал у старушки одной, учительницы старой. Вдовая была старушка, а муж ее померший из профессоров по части истории был — обоих и выслали из Ленинграда-то, Надежда Георгиевна, зная мой интерес к чтению, и сказала: «Бери, Трофимушка, книг сколько с собой увезти не в тяжесть будет, бери что больше интересует. А мне недолго уж осталось мыкаться на этом свете, пора с Петром Евграфовичем свидеться в другом мире. Отдам все остальные в заводскую библиотеку». Да-а, плакала Георгиевна, прощаясь со мной — привыкла ко мне, я-то долго у нее квартировал. Как мать мне была; я и получку, и паек, когда приносил домой, ей отдавал на общее хозяйство. Вот так и заполучил на добрую память о ней чемодан книг. Все — старого, дореволюционного печатания, от нашей грамоты некоторыми буквами отличны. Ну-у, ты все равно пока читать не умеешь...

В это время телефон, принайтованный к стене рядом с этажеркой, позвенел предназначившимся Матрону трем звонками. Хозяин встал со стула, подошел к аппарату и снял трубку, с минуту слушал, потом ответил:

— Хорошо, сейчас буду.

Повесил трубку на рычаг, наклонился к средней полочке этажерки и вынул из ряда довольно объемную книгу, подошел к столу и положил перед Николкой:

— Меня тут Федоров на маяк вызвал: заблудился в трех соснах, зачем-то полез в распределительный щиток в дизельной! А это мое и твоего отца дело. Так что я на четверть часа уйду, а ты пока вот эту книжицу посмотри, там

картинок много. Меня дождись, свежего чайку заварю, еще попьем. У меня и халва имеется, настоящая ореховая.

Трофим скинул домашние войлочные тапочки, обулся в ботинки, накинул на линялую ситцевую рубашку вельветовую курточку-американку с пояском, снова подмигнул Николке и вышел. В хорошем настроении был сегодня обычно хмуроватый Матронин: может по причине хорошей погоды и выходного для него дня, а скорее от разговора с мальцом.

Николка хотел взять очередную конфету, но подумал, что это нехорошо в отсутствии хозяина. Ограничился печенюшкой, пододвинул к себе ближе книгу. Размером была она с рисовальный альбом, что этим летом купили Николке в Калуге, а толщиной со спичечный коробок, поставленный на сернистую боковину.

В их доме тоже стояла в углу родительской комнаты, вправо от двери и у окна, этажерка с книгами, что читал отец, а в большой комнате, где спал Николка с Толькой и Славкой, а ранее и Юрка занимал угол у печки с лежанкой, рядом с общим их столом висела на стене самодельная же полка с разношерстными потрепанными школьными учебниками и разноразмерными книжками, что Юрка и Толька привозили из Полярного. Где их брали? Николку это как-то не занимало. Главное, что почти все книги в доме были без картинок. Кроме нескольких учебников старших братьев. Но таких книг ему видеть еще не доводилось. И вообще он предположить не мог, что книги могут быть такими красивыми и, как он догадывался, очень дорогими. Хотя жил Николка, сколько себя помнил,

на маяках, где магазинов нет, но уже со слов родителей, особенно матери, и старших братьев знал: есть вещи дорогие, не очень дорогие и просто дешевые. Мерой же стоимости являются деньги, которые родителям платят за проживание на острове и вахты на маяке. Впрочем, платят и проживающим на Большой земле.

Да-а, явно дорогой была эта книга. И внешне она более походила не на книгу, а на материну шкатулку с тонкой резьбой, в которой она хранила самые ценные в домашнем обиходе вещи: пуговицы, катушки с нитками, иголки, разные петельки и булавки. Очень красивая деревянная, расписанная яркими, ничуть не выцветшими от времени красками, шкатулка — почти и все, что мать за два года до рождения Николки привезла с собой из родной архангельской деревни. А еще Юрку и Тольку...

Правда, обложка книги сделана не из дерева, а из чего-то очень твердого, негнувшегося, обтянутого как-то приятно пахнущей кожей, а узоры не вырезаны, а вытеснены немного потемневшим золотом. Но еще интереснее было на страницах книги, на тех, где вместо непонятных Николке буковок в целый лист красовались хотя и не цветные, но очень необычные, словно тонким пером нарисованные картинки: старинные, совсем не похожие на нынешние боты, парусные корабли, люди в меховых одеждах, едущие верхом и в упряжке на оленях, а главное — шторма на море, скалистые берега и мшастые сопки, становища с редкими, разбросанными домишками. Все это до такой степени похоже на окружающий сегодняшнего Николку мир, что казалось: художник с тонким пером рисовал все

округ, бродя по Седловатому, присаживаясь где-нибудь на скальный выступ и рисуя, рисуя... И только пожелтевшие листы книги с явным запахом древности говорили Николке: если художник и ходил с альбомом и тонким пером по их Седловатому, а может и Ретинску, Белокаменке, Сальному-береговому, тож Палагубскому, то не вчера, даже не за несколько лет до рождения самого Николки, а задолго до войны, до появления здесь военных кораблей, рыболовецких сейнеров и торговых судов с чудными, многоцветными флагами на маленьких мачтах над мостиком. Правда, цвет бумаги, не то что желтый, а какой-то светло-желто-синеватый с малюсенькими крапинками, был приятен на взгляд и на ощупь. Не менее приятен и запах от листов, очень напоминающий тот особый аромат, когда зимой, с мороза или с пурги, забегаешь в дом, где банное тепло и шибко вкусно пахнет пирогами с засахаренной с лета морошкой, черникой и брусникой, причем в эту начинку добавлена сгущенка и порошок со странным названием «корица». И эти пироги — открытые или завернутые в тесто — мать только что выставила из печи; и вот они, духмяные, выложенные из противней и уложенные на газетные листы, расстеленные на столе, прямо-таки выталкивают свой запах с кухни и гонят по всему дому...

Вернулся Трофим, беззлобно поругивая Федорова, полезшего не в свой огород: «Думает, если начальник, так все сам знает и умеет. На все руки, мол, мастер: и политзанятия проводить, и дизеля перебирать, а теперь вот и в мое хозяйство полез!»

Действительно, веселый и щедрый сегодня Матронин к чаю свежей заварки принес из-за кухонной перегородки маленькую тарелку с порезанной кубиками халвой. Но даже халва не смогла отвлечь Николку от книги: еще оставалось много непросмотренных рисованных страниц, проложенных со стороны картинок тонкой полупрозрачной бумагой — точно такой, из которой сделаны гильзы папиросных мундштуков, что мать привозила в цветных коробках из Полярного, а отец их набивал специальной машинкой очень интересно, бодро пахнущим бледно-желтым табаком. Табак этот мать также привозила из города в плоских картонных коробках, причем различных по форме и расцветке. Отец вынимал из этих коробок плотные плитки, обернутые, навряд ли шоколадом, в шелестящую серебряную бумагу, крошил их на газету, сушил, смешивал и набивал папиросы себе впрок на месяц-другой.

— Что, нравится книга? Это как раз про наши места, — сказал Трофим, налив чаю Николке и себе, усевшись и тоже с интересом через стол заглядывая в книгу.

— А что это за люди в меховых шапках и шубах?

— Лопари, как наш Седалин. Только еще давнишние, тундровые оленеводы. В Мончегунд্রে и сейчас такие еще есть, только в современной одежде и в колхозы поверстаны.

— Они не русские, эти лопари? Да, дядь Трофим?

— Да мало они сейчас от нас-то отличаются. Вообще-то правильное, официальное, так сказать, их название: саами. Маленький народец,

родственник карелам, что, как на юг едешь поездом, между Кандалакшей и Петрозаводском живут, почти до Ленинграда. И финнам тоже родственники. Язык свой давно забыли, перешли на русский. Тож и с именами-фамилиями.

Вот в школу пойдешь, там учителя про все рассказывают, не забудут и про саамов-лопарей. А в этой книге, что напечатана еще при царе Александре Втором, написано: лопари — народ крохотный, прозябает, то есть скучно живет, в Кольской тундре, самом гиблом месте на севере Европы. А потому сюда попали, что из теплых удобных мест их выгнали более ловкие, воинственные племена. Во всех старых войнах их били. Старые лопари-сказители вспоминают от своих дедов-прадедов, что очень сильно их народ побили шведы триста лет назад. А совсем недавно — это автор книги пишет, значит, восемьдесят лет всего как прошло — пробрались сюда с Северного Предуралья люди из коми-народа, тоже финское племя, но бойкие, и еще больше лопарей потеснили, совсем на край тундры загнали.

Вот так-то, Николка, а ведь родственные народы! Так и среди отдельных людей: порой соседи лучше самых близких родственников. Ну-у, тебе в эти дела еще рано вникать. А ты проходи ко мне почаще, у меня таких же интересных книг, видишь на этажерке? — Еще три десятка.

Николка до поездки в отпуск этим летом еще раз гонял чай с Матрониным, рассматривая старинные книги с такими же интересным картинками — про Африку и другие страны, где люди совсем не походи на тех, кого Николке

доводилось в сознательной жизни уже увидеть. У них волосы мелко курчавились, а в носу вставлено кольцо размером с обод стакана. В руках копья, на шее белые же бусы явно из собачьих зубов; шлюпки же у них странные: узкие, с приподнятыми над водой носами, с мачтой без реи: один косой парус треугольником. И еще много чего любопытного увидел Николка в Трофимовых книгах.

Познакомившись с Матрониным накоротке, до этого даже чуть побаивался его, почти всегда хмурого, как-то досадливо хромающего на левую ногу, Николка теперь с неудовольствием слышал упоминаемое в разговорах дома прозвище Трофима — Колчедыкин. Нехорошо это, думал он, смеяться над несчастьем хорошего человека. И еще он как-то понимал: если в устах матери прозвище звучало необходимо, как, например, собаку (не человека!) собакой называют, то от отца и даже Тольки слышать это было почему-то обидно. Почему-то — потому, что говорилось в отсутствии Трофима. И вообще посторонних для дома людей. Кстати, от Седалина Николка никогда этого прозвища не слышал, хотя Степан-мичуринец, или Косой по-маячному, вообще малоразговорчив. Как и Николкин отец Андреян, не напившись чаю.

Узнав же от Трофима простую истину о лопарях, Николка почувствовал себя как-то легче: одной доукой меньше в нелегкой мальчишечьей жизни! И к месту вспомнил как-то сказанное матерью, что он тогда не понял, скорее — внимания не обратил. А она сказала вроде как обращаясь к отцу, но глядя на Николку: «...Весь в Мишко́ растет, а мама моя рас-

сказывала: отец-то, я сама его не помню, тоже такой был: как что не может сам себе ответить, задумается о чем, так и захмурится. А как загадку-то свою разгадает, так и успокоится. Пока что еще иное в голову не придет. Вот и Николка такой!»

Отец же хмыкнул, а так как перед этим поужинал и напился чаю, то ответил: «Это хорошо, хотя другие будут замечать: тугодум, мол, парень. На самом же деле значит — до всего сам с малых лет доискивается. Значит, толк из него выйдет!» Видно, хорош был заварен чай, потому отец разговорился, не хуже как во Дворцах, когда выпьет водки с соседскими мужиками, сестра-то его Настасья с войны вдовая. Начал про философов Боэция и Лоренца Валу что-то говорить, что Николке вовсе непонятно. Также, как он уже сообразил, и матери тоже неинтересно, но та делала вид, что слушает и все понимает.

...Если прозвище Косой — единственному на Седловатом — не Николкин отец к Седалину приклеил, а так его, наверное, еще в детстве на Абрам-мысе звали за глаза, а может и вообще с младенчества в ловозерском стойбище, то двойное имя Степана-мичуринца точно он получил от подполковника Шулейки. Как-то Борис Никифорович прибыл на остров с проверкой партучебы в очень хорошем расположении духа. Поэтому, проведя самолично — хотя при нем находился и капитан Пелисиди — занятие с маячными партийцами Федоровым и Седалиным, остался доволен их политграмотой и благосклонно принял предложение отобедать в их же компании. Стол по такому случаю бабы

накрыли в общей кухне-пекарне, очень просторной, чистой, недавно побеленной-покрашенной. Когда же после наваристых щей Глафира Седалина подала тарелки с палтусовыми полотками, запеченными в сухарной, хрусткой обвалке с гарниром из кружочков мелкой свеклы и также мелко порубленного лука, то большой любитель поесть Борис Никифорович и вовсе восхитился:

— Никак у кого-то из вас есть друзьяки-знакомые в подсобном хозяйстве Полярного? Так сказать, оторвали от адмиральского стола, ха-ха-ха!

— Да нет, товарищ подполковник, — с тихой гордостью за своего подчиненного отвечивал Федоров, — это вот Степан у нас сельским хозяйством занимается: пара-тройка грядок у него вспахана, тепличка какая-никакая сооружена...

— Ого! Овощ на скалах выращивает, — изумился Шулейка и, обращаясь к Пелисиди:

— Капитан! Как в следующий раз пойдем по маякам и точкам, то захвати свою «лейку». Сделаешь снимок здешних сельхозугодий и *мичуринца* Седалина... И Федорова, конечно, как руководителя здешнего коллектива. Дадим все на третьей полосе нашей флотской «На страже Заполярья»: вот, мол, как наши передовые маячки компенсируют недостаток витаминной пищи.

Здесь Шулейка поправился:

— Нет, конечно, паек *мы* даем на маяки хороший, калорийный, по нормам флотской береговой службы, но ведь зеленью-то осенью на весь год не обеспечишь, не завезешь!

Уже через полчаса, как политотдельский

катер отвалил от пирса, весь маяк знал: Шулейка с Пелисиди обедал с Федоровым и Седалиным, харчами остались довольны, а Седалина Борис Никифорович нарек мичуринцем и приказал капитану Пелисиди сфотографировать его на своей деланке и поместить фотку в главной флотской газете Северного флота.

Опять же этот визит политотдельцев состоялся прошлым летом, когда Николка уже помнил сам себя, поэтому он стал расспрашивать, кто такой мичуринец, соблюдая флотскую дисциплину, то есть снизу и по старшинству: сначала у Тольки, потом у Юрки, тогда бывшем на Седловатом, а под конец и у отца. И по той причине, что чем-то занятый Толька отделался кратким: «Мичуринец — это последователь Мичурина», а о чем-то задумавшийся Юрка почему-то назвал Мичурина прохиндеем, не уточняя, чем он занимался и прославился настолько, что даже подполковник Шулейка его именем награждает понравившегося ему маячника Седалина.

Николка уже постигал азы разговора, поэтому, памятуя, что братьям он попал со своими вопросам в неурочный час, дождался ввечеру, пока отец от пуза напился чаю с лимоном и, как он любил, с мелко поколотым специальными щипчиками сахаром вприкуску. И только тогда задал вопрос.

— Хм-м, это ты о Косом что ли? Шулейка имел в виду садовода Мичурина из тамбовского города Козлова, теперь Мичуринска. Он много чего понатворил полезного, яблоки и груши полукилограммовые вывел, да запоматывал говорить: за такими деревьями нужно постоянно

ухаживать, удобрять, подвигать и от морозов и тли оберегать. А народ наш к этому не приучен. Не потому что ленив, а воспитан так. Вот пойдешь в школу и узнаешь, что еще без малого сто лет назад крестьяне наши являлись крепостными, работали на помещиков, хлеб выращивали, так что времени на садоводства всякие у них не оставалось. Даже и огородик-то навряд ли седалинского не у всякого был. Вот и не научились яблоки с грушами выращивать, за баловство полагали.

Да и не вовремя Мичурин со своими опытами дело затеял: в двадцатые-тридцатые годы нужно было страну всю заново поднимать, хлеба больше давать, заводы и гидростанции строить. Опять же не до садоводов. А потом война прокатилась как раз по тем местам, где эти мичуринские груши-яблоки разводили. Ничего и не осталось. Это как у Косого: трудится, трудится на своих грядках, ан всех-то плодов только и хватит на один обед политотдельцам! В здешнем климате да на голых скалах и Мичурин бы руки опустил. Седалин, правда, не из выгоды какой свои огороды городит, а просто тянет его к копанью в земле, то есть в торфе нашем. И откуда это в нем? Ведь лопари никогда землю не пахали; только оленей гоняли по тундре и рыбу в озерах ловили.

Так что правильнее его называть не мичуринцем, а *тертуллианцем*. Это, Николка, был в Древнем Риме такой император Тертуллиан, который плюнул на свой трон и уехал в деревню капусту выращивать. Не потому что есть было нечего, а из любопытства. И когда приехали из Рима сенаторы снова звать его в им-

ператоры, он только отмахнулся от них: дескать, все это чушь; лучше посмотрите — какая капуста у меня нынче уродилась! А вот Лютеру Бербанку — американскому Мичурину — повезло...

Как только в речи разохотившегося на беседу отца зазвучали непонятные имена, Николка потерял интерес. То есть он вроде как его слушал, но мысли его неокрепшие были где-то далеко. Вроде как отец перешел уже к другому, потому что Николка услышал снова фамилию Шулейки, вроде бы далекого и от римских императоров, и, тем более, от империалиста Бербанка, снова стал слушать:

— ...Ты, Николка, следи за своей речью, вернее, за своими руками: никогда ими не размахивай, это жестикуляцией называется, вроде как помогая своим словам. Как тот же Шулейка делает, или Глаха с Улитой (Николка уже знал, что так отец называет жен Седалина и Федорова). Помни, что когда человек сопровождает свою речь всякими фигуристскими размахиваниями рук, то это самый очевидный признак: в его речи, а значит и в голове, отсутствует логика, то есть четкие правила мышления. Значит поэтому постоянно машут руками всякие начальники, артисты, пехотные — не морские! — офицеры и унтеры. Женщины почти все машут, но их по природе логика стороной обошла.

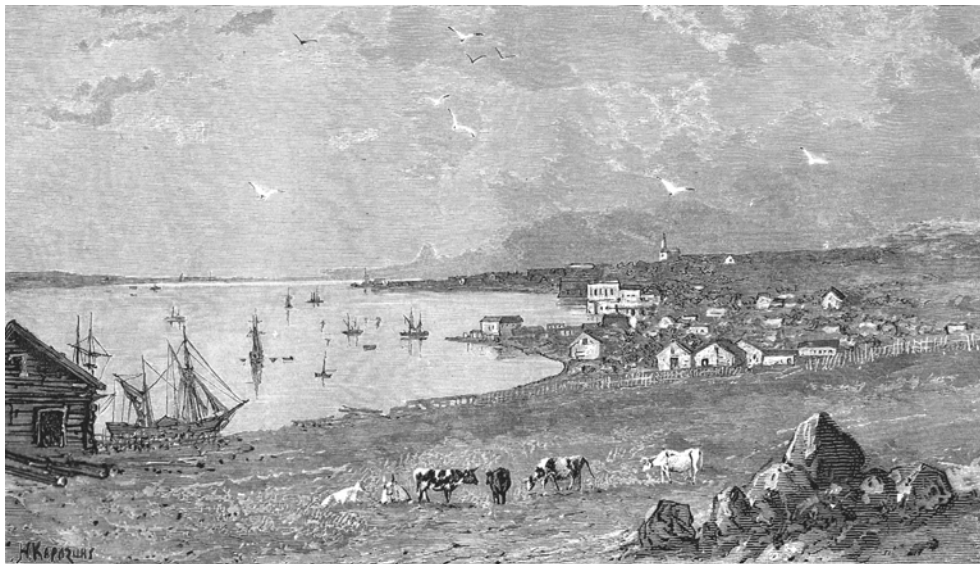
— А мама не машет, если только подзатыльник в это время не дает?

— Ну-у, ей в жизни мало времени выпадало разговоры разговаривать. Однако, пойду со-сну пару часов перед вахтой.

НИКОЛКА И СЛАВКА-ГРАНАТОМЕТТЕЛЬ

Николка остался один на пирсе: все следил внимательно, как бот со шлюпкой на буксире, набирая ход, выходил из неширокого пролива между Седловатым и материковым мысом Медвежьим. Пока бот не завернул за северную оконечность Седловатого и не скрылся с виду. Только тогда он пошел в сторону «поля» Седалина и свежепостроенного коровника. И коровы теперь тоже. Кстати и по поводу вспомнил окончание той истории годичной давности: по какой-то причине, скорее всего, как говорил матери отец, в связи с общим беспокойством, вызванном недавней смертью Вождя, но капитан Пелисиди с «лейкой» так и не приехал, но зимой этого года даже не сам Шулейка, а какой-то интендантский молодой лейтенант по пути на маяк Великий завез Седалину Почетную грамоту. Почему-то обиделся Федоров, такой не имевший. Однако, как опять же иногда приговаривал досадливо отец, дурное дело не хитрое, а сам хитрец всегда получит не мытьем, так катаньем желаемое. Словом, скоро и Федоров получил грамоту, причем более высокого ранга. Перестал хмуриться в сторону Седалина. Случилось же этой весной, незадолго до отъезда Андреяна со своим семейством в отпуск.

В связи с тем, что этим летом по графику Андреяну отпуск «выпал» с середины мая, то больше всего повезло Тольке (Юрка уже готовился к «отлету» от семьи): досрочно сдал кое-как экзамены и вернулся на остров из полярного интерната.



Вид города Вадсе

Со следующего первого сентября та же интернатская участь ждала и Николку, будущего первоклассника, которому неделю назад, в самом начале мая месяца исполнилось шесть лет.

Сам Николка, предчувствуя скорое отбытие на чужбину, вел остатнюю вольную жизнь очень активно. К середине мая уже чувствовалось скорое наступление двухмесячного полярного дня. Солнце только для порядка на час-другой наполовину уходило за горизонт, оставляя северным людям освещенный небосвод. Николка и другая меньшая ребятня забыли про сон, вволю надремавшись в долгую полярную ночь, в любое время суток их можно было встретить, пожелай кто этого, в любой части острова кроме дома. Николка — по возрасту вождь малышни, потому ему совсем зазорно покидать вверенную территорию.

А у него в мыслях одно: как исполнить давнюю мечту, побывать на чердаке большого маячного дома, куда Федоров пожарного опасения для уже давно и категорически запретил не только пацанам, но даже мужикам и бабам без особого дела и его личного разрешения лазать.

Все дело в том, что любознательный Толька, как-то случайно попавший туда, нашел в хранившейся там рухляди проржавленную ракетницу*. Под большим секретом показал ее Николке, а потом отчистил, отшлифовал и уже в Полярном кому-то обменял на входившую в моду щегольскую кроличью шапку-ушанку и две плитки шоколада.

* Гладкоствольный пистолет, из которого выстреливаются сигнальные ракеты.— Прим. авт

Но как проникнуть? Чердачный люк на замке, ключ у Федорова, а запасной, пожарный на застекленном щите в дежурке маяка: двухэтажного здания с дизель-генераторами, прожекторной вышкой и гигантской цилиндрической сиреной — звуковым маяком, что ревущим низким басом в туман служила ориентиром для идущих по Кольскому заливу военных кораблей и гражданских судов: грузовых и рыболовецких. Николка совсем уже было пришел к решению отчаянному и вороватому: в одно из дежурств на маяке отца вроде как зайти посмотреть на новый, недавно установленный дизель, прошмыгнуть в дежурку, снять с гвоздика ключ от чердака, повесив на его место — чтобы не заметил зоркий Федоров — другой, внешне похожий ключ. Затем днем, когда народ занят делами, а большой дом пуст, посетить чердак; ключ же также незаметно вернуть на место.

И только он собрался все это проделать, как Федоров объявил субботник: «Пожарная инспекция из гидроотдела флота по маякам разъезжает, вот только что побывали на Большом Оленьем. Поэтому назавтра всем свободным от вахт, с бабами и пацанами постарше, приводить в порядок чердак, а то там всякой дряни чуть ли не со времен царя Гороха накопилось! Чуть что — несут на чердак совершенно не нужное, дескать, в хозяйстве всегда пригодится...» Федоров умолчал, что чаще всего его прижимистая Улита совершенно неприглядный к употреблению хлам сносит на чердак. На то он и начальник маяка!

Николка и обрадовался, но и отчасти огорчился: шансы что-либо стоящее найти уменьша-

лись во много раз, а число этих разов равнялось количеству участвующих в субботнике.

Мусор с чердака — под вопли Федоровой жены и глухое молчание самого начальника — сносили и сбрасывали с ближней скалы прямо в воду залива полдня. Ничего интересного Николке, исключая вахтенный журнал еще довоенной поры, найти не удалось. Да и журнал Федоров отобрал: вдруг зачем-то для отчетности пригодится. Впрочем, не умеющему читать Николке он был явно ни к чему.

Зато, разворошив гору совсем уже непонятного мусора, маячники нашли... ящик с гранатами. Федоров ахнул и выматерился: хлопот теперь не оберешься. А подошедший Седалин-грамотоносец, как-то возгордившийся этим знаком отличия, ухмыльнулся: «Вот они, родимые, где! А мы-то в сорок пятом, «разоружаясь» перед комиссией гидроотдела, никак этот ящик найти не могли. Пришлось отдать служивым весь запас спирта для протирки рубинов* прожектора и списать гранаты по акту, сославшись, не в документе, конечно, что боеприпасы использовали для рыбной ловли в годы войны...

Ящик спустили с чердака и отнесли — опасения ради — на самое острие Носового мыса, обернув брезентом, крест-накрест перевязав бельевой бечевкой, концы которой Федоров самолично залил сургучом и приложил медную печатку — ту, что по служебной инструкции использовали для опечатывания дверей склада и

* Понятно, не настоящих рубинов, а граненых и отшлифованных разноцветных призм, образующих сложную оптику большого вращающегося прожектора.— Прим. авт.

каптерки маяка, где хранилась канистра с противорчным — для прожектора — спиртом. Впрочем, печатаывали только перед приездом Шулейки и разных проверяющих. А пришедший с вахты отец за ужином рассказывал матери и прислушивающемуся Николке, что Федоров собрал всех мужиков, совещались: что делать с таким подарком? Официально сообщить по начальству в гидроотдел — так замотают с актами-переактами; пожарники встряхнут: дескать, десять лет жилой дом под угрозой взрыва и пожара стоял! Особисты и вовсе под статью могут подвести. А кому отвечать? — Понятно, Федорову.

Решили не мудрить, а исполнить то, что было сказано комиссии в сорок пятом: гранаты взорвать в воде, побросав с берега, заодно и трески поглотить вволю, а не торчать с удочками в часы прилива. Начальству же гидроотдельскому, коль скоро приедет на остров, — молчок. На этот счет Федоров не сомневался: в маленьком маячном коллективе круговая порука заменяет порой правила внутреннего распорядка и несения вахт.

Здесь же Николка узнал: гранаты решено взрывать в море завтра с утра, если, конечно, поблизости в заливе не будет наблюдаться подводных лодок — по заливу они идут на дизелях в подвсплытии — и других военных кораблей.

— А почему так? — спросил Николка у Трофима Матронины.

— А потому, что их гидролокаторы тотчас засекут разрывы в воде и сообщат куда следует, а нашему Егору Михайловичу по шапке дадут, — подмигнул Трофим, с недавних пор благорасположенный к пацану.

Наутро залив сверкал зеркалом под высоко уже подскочившим солнцем. Ящик с гранатами, накануне перенесенный на узкий мысок, нос, языком выступавший с северной стороны острова, освободили от брезента. Собрались метать боеприпасы Федоров и Андреян, как служившие и воевавшие, и Седалин, по плоскостопию воинского прошлого не имевший и всю войну пробывший маячником на Седловатом — старожил этих мест. Ему вменили в обязанность отгонять ребятню и держать ее на должном расстоянии от берега. Матронин и Гусаров несли вахту на маяке.

На сухом чердаке, каждая обернутая в вошшеную бумагу, гранаты сохранились как новенькие, даже зеленая краска на осколочных рубашках-цилиндрах не потемнела. Попутно Федоров дал втык Седалину: «У вас тут в войну видно одни штатские служили? Рубашки положено отдельно от гранат хранить, а надевать на основу только перед боем».

Мужики подымили «беломором», дожидаясь пока скроется за северным горизонтом — выходом из залива — одинокий военный тральщик, а затем принялись за дело. Седалин снимал рубашки и подавал гранаты военспецам, а те метали их с минутными интервалами что было сил, подальше от берега. Ребятня с восторгом ожидала очередного подводного взрыва притонувшей гранаты: сначала доносился глухой, как из-под земли, дробящийся грохот, а затем вода на месте падения гранаты взбухла гладким колоколом с метр высотой, который за несколько секунд опал, выбивая невысокие волны, что кругами разбегались и уже к берегу затихали.

«Вот оно — военное качество!» — сказал раскрасневшийся Федоров, забросив последнюю гранату, — более десяти лет пролежали, а все взорвались».

Он было приказал и рубашки в воду побросать, но егонный Витька выпросил их себе и ребятам на забаву. Потерявший бдительность начальник разрешил. Николка аж три штуки успел ухватить. Мужики отправились к Федорову отметить ста граммами казенного спирта боевое действие, но уже через пару часов одумавшийся начальник самолично обежал все дома и вообще остров, отбирая у ребят гранатные рубашки. Сообразил: попадется на глаза какому-нибудь приехавшему с инспекцией чину — и все удачно решенное дело насмарку.

С пристойной в общении с детьми руганью Федоров собрал девятнадцать цапек, которые в присутствии понятых и побросал в море с того же мыска. Куда делась еще одна? — Дело темное, вся ребятня клялась: сдали что имели. Родительские дознания тоже толку не дали. Да еще Николкин брат Славка, что двумя годами младше, сказал: вроде как видел, что одна рубашка, брошенная Седалиным при снятии с гранаты в общую кучу, отрикошетила и скатилась в воду. На том и порешили, хотя к словам еще путающегося в речи мальчика Славки мало кто прислушивался из взрослых.

В ту же почти светлую ночь Славка зазвал старшего для него брательника в хозяйственный сарай с левого торца дома, извлек из темного угла и показал гранатную рубашку. Тут же пришли к соглашению: Николка мастерит деревянную гранату под рубашку, а права пользова-

ния изделием принадлежат обоим. Договорились все держать в тайне от ребят, не говоря уже о взрослых, то есть уходить в дальний край острова и там вволю метать боеприпас по воображаемой цели. Николка легко пошел на такое соглашение, учитывая слабосильность мальчика.

Отец ушел на ночную вахту. Мать, умаявшись от чистки дармовой трески, что досталась на долю семьи после взрыва гранат — мужики загодя подогнали к мысу шлюпку, а потом собрали оглушенную рыбу, — заснула, уложив и грудного Сережку. А Николка в присутствии уважительно наблюдающего за ним брата обтесал подходящий чурбачок, окультурил ручку ножом, отшлифовал ее осколком стекла, а под конец, насадив рубашку на болванку, окрасил деревянную часть зеленой масляной краской под колер рубашки. В сарае много чего имелось. Для сушки покраски гранату спрятали на чердаке сарая. Еще через пару дней Николка смастерил из проволоки и гвоздя чеку, очень похожую на те, что Федоров с отцом вырывали при броске гранат. Чека вставлялась в ручку, вынималась и вновь вставлялась. Аляповато, как он самокритично полагал, но все же похоже на настоящую. Издали, конечно.

В последующие две полусветлые ночи вволю набросались. Увы, делать это тайно, не хватаясь перед ребятами, скоро надоело. Поэтому до лучших времен прибор спрятали в углу сарая под полурассыпавшейся бочкой, к которой явно интереса никто в ближайшие год-два не проявит, дали друг другу и «накрывшему» их сыну федоровскому Витьке страшную революционную клятву — как-то Толька читал вслух «РВС»

Гайдара для Николки — и забыли обо всем. По крайней мере Николка, у которого до весны уже скорого отъезда в отпуск в калужскую деревню Дворцы имелось множество неотложных дел.

А через неделю в причальную Языковую бухточку острова подкатил щегольски-белый катер. Ждали пожарников, а прибыл со свитой сам черномундирный подполковник Шулейко; Николка уже хорошо знал, что начальник политотдела гидро-же-отдела Северного флота есть гроза и молния, царь и господин, рука карающая и милующая многих служб, в первую очередь маячников: от Абрам-мыса под самым Мурманском до норвежской границы — влево по выходу из Кольского залива, и по всему Терскому берегу, Беломорью, до Кандалакши — вправо.

...Еще катер не подманеврировал в бухте к пирсу — плоской, на пару метров выступающей из скалистого берега площадке, — как весь остров знал: *сам Шулейка* нагрянул»

Не было среди маячников Северного флота и Главсевморпути* человека, проработавшего хотя бы пару лет, приехавшего откуда-то из Ташкента, как Гусаров, или Курска «за длинным рублем»**, не говоря уже о старожилах Федорове, братьях Седалиных, Андреяне Матвеевиче, что с середины 30-х годов в этих местах, кто бы невольно не становился в стойку

* Многие маяки имели двойное подчинение. — Прим. авт.

** К должностному окладу добавлялось 100 % «полярных» и 40 % поясного коэффициента — это на «всем готовом», включая бесплатное пищевое довольствие (от пуза!) и двухмесячный отпуск. — Прим. авт.

«смирно» при упоминании этой славной фамилии. И ребята маячная тож.

Сам Андреян по причине сухого закона и староверческого воспитания не любитель был разговоры разговаривать. Зато мать в долгих — от отсутствия другого общения на острове — беседах с женами маячников так красочно обвиняла Шулейку в несправедливом отношении к Андреяну только за то, что тот уже почти двадцать лет отказывается вступать в партию, что Николка невольно сжимал кулаки, а еще не подросший до осмысленного восприятия жизни Славка вовсе полагал слово «шулейка» ругательным.

Не зря Федоров, обладавший волчьим чутьем, ждал проверок «сверху». Ни к чему не мог Шулейка придраться по части порядка на маяке, дисциплины и партийно-воспитательной работы. Ободрил и партийцев острова: Федорова и Седалина. Вспомнил благодушно о военных годах с беспартийным Андреяном. Под самый конец короткой речи Шулейки о международном положении и укреплении дисциплины, произнесенной на площадке перед большим маячным домом перед всеми собравшимися маячниками, включая детвору, обогнув маленькую кучку народа, справа выскочил Славка, распахнул старую материну телогрейку — его обычную одежду этой весной, вытащил из-за ремня «гранату» и, выдернув чеку, метнул ее несколько неловко слабой еще рукой под ноги Шулейке со словами: «Полуси, фасист, гранату!»

После секундного оцепенения — мужики с матом, бабы с визгом — все бросились враспынную, включая свиту черного подполковника,

а тот застыл, как будто ухваченный кондрашкой, огромный, осанистый в своей шинели с золотыми пуговицами. И казалось, из раскрытого рта его вытекает беззвучно окончание фразы: «...Даже кончина Великого Вождя советского народа не застала нас врасплох, и руководство партии и страны уверенно ведет нас к намеченным товарищем Сталиным целям!»

Еще остался на месте Федоров. Он даже как-то пригнулся, глядя на гранату, а затем аккуратно, чтобы не испачкать одетого по случаю бостонового костюма, лег грудью на нее.

...Ввиду курьезности происшедшего шума поднимать не стали. Нервы у подполковника оказались железными. Ровно через год, тоже в мае, Федорову привезли от политуправления Северного флота Почетную грамоту в ознаменование 10-летия Победы со многими льготами к ней. Провоевавший всю Финскую и Отечественную Андреян Матвеевич получил выговор в приказе по гидроотделу. Не привыкать-стать. Федоров же на обмывке грамоты с хохотом рассказывал: про «гранату» он узнал загодя от сына. «Сволочь и предатель», — поругался Николка с Витькой. Правда, не надолго, ведь через год с небольшим вместе в интернате Полярного нелегкую службу нести.

А ВОЙНА БЫЛА НЕДАВНО: МАЯЧНЫЕ БАЙКИ И БЫЛИ

Когда, не столь давно уж, Николке исполнилось шесть лет и он начал обдумывать свою роль в этом, невероятно интересном, даже на

малолюдном Седловатом мире, то мать стала по временам как-то оценивающе посматривать на своего среднего сына. И отец раз перехватил такой ее взгляд:

— Чего присматриваешься, Андреевна? Вроде как никаких изъянов пока нет.

— Да вот смотрю; небаско порой он все задумывается. Вроде и бегаёт, играет, как все остальные пацаны, а вроде как он и тут, и задумывается. Юрка и Толька не такими росли, а о Славке с Сережкой ещё рано говорить. Ты вот, Андреян, книг много перечитал, так скажи: чего это он, а?

— *Твои-то* в деревне выросли, в многолюдстве, а он — на островах-маяках. И в меня, наверное, пошел: все к философствованию сызмальства тянет. А может слишком долго от младенчества к просто детству переходил. Поэтому мыслями ещё в несознание младенческом, а делами уже в более старшей жизни. Словом, размышляет, все в голове своей перебирает, чтобы лучше на будущее запомнить. Значит мыслит, а это уже само по себе хорошо.

И действительно. Одно воспоминание в голове Николки теснило другое. А столько уже всего накопилось за полтора-два года, как обрел память! Так и сейчас. Ноги сами несут его к коровнику Седалина, где чуть не все маячники собрались, а воспоминание о Славке-гранатометеле сразу вызвало целую кучу-малу слышанного о неведомой и таинственной войне, в память о которой, недавней по мнению взрослых и пацанов постарше, воевавшие маячники через три дня после его именин (мать не говорит «день рождения» — именинами называет), если не на

вахте, надевают припахивающие дустом пиджаки с медалями и орденами. Отец тож.

И мать все повторяет в этот день, втайне от всех своих всплакнув по погибшему первому мужу — отцу Юрки и Тольки, да, мол, война была совсем недавно...

И еще, несмотря на малый свой разум, Николка подметил: собственно о войне маячные мужики с орденами и медалями почти никогда не говорят, но зато даже стрезву, а трезвы они в зоне полного «сухого» закона всегда, не считая редкостных ста грамм от подобрешшего Федорова, словно охочие до разговоров женщины, взახлеб «травят», говоря морским языком, о всяких шkodливых и веселых историях военного времени. По их мнению, конечно, веселых. Наверное, так надо, думает Николка.

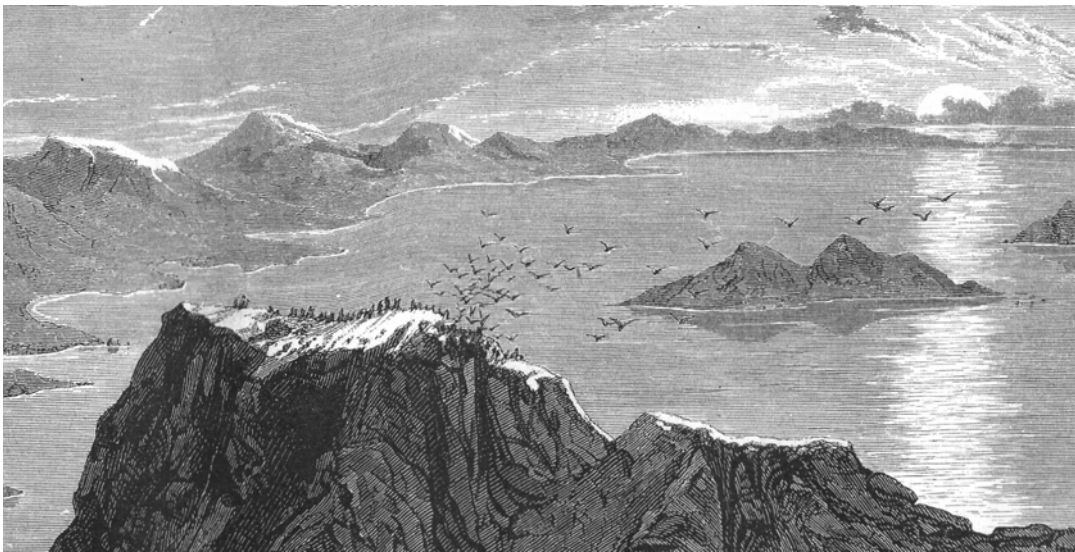
А вот маячные женщины — те больше о страшном любят поговорить под долгий зимний или слякотно-дождливый осенний вечер. Особенно часто, порой в разных интонациях и оговорках, они вспоминают, понятно, сами по наслышке, но вроде как от очевидцев или их знакомцев, о страшном происшествии многолетней (для Николки три-четыре года уже вечность...) давности на маяке острова Великий, хотя был он чуть поболее Седловатого. И вот как это отложилось в цепкой детской памяти Николки.

Начальник маяка острова Великого Василий Коноплянников заступил на дневную вахту. Стоя тихий, почти жаркий июль месяц. Как и положено летом, вахты были не дробные, но полусуточные: время отпусков, двухмесячных, северных. Сам Коноплянников отправил все свое семейство и на все лето, еще с конца мая, даже

старшего сына из интерната в Полярном на неделю досрочно забрал, на родину, в архангельскую поморскую деревню. Там и родня каждый второй, а главное — мать, еще бодрая старушка, обихаживает и в полном порядке содержит родительский дом, как и положено в Поморье, двухэтажный, со всеми службами, даже с отхожим местом, под общей крышей.

Самая многодетная семья Ворожейкиных уехала тоже в родную череповецкую деревню в начале июля; Василий же собирался присоединиться к своим на август месяц — после возвращения Ворожейкиных, которые, как и он сам с супругой, приехали на Север по вербовке шесть лет тому назад, в год окончания войны.

Еще на маяке находилась чета тридцатилетних Зарубиных, совсем недавно приехавшая, оставив двоих детей с родителями, «за длинным рублем» из Ельца; ясно, что понятие отпуска для них было абстрактным, была бы денежная компенсация; жена Зарубина тоже работала, в отличие от других женщин, в штате маяка, более того, была по образованию инженером-механиком. Наконец, не собирались в этом году куда-либо уезжать пожилые Трещевы, поскольку жена Трещева уже вышла на льготную пенсию в сорок пять лет, а сам глава семьи тоже по льготе дорабатывал последний свой год на Севере. Готовились к переезду следующим летом в родные места где-то возле Вологды, откуда уехали еще задолго до войны, которую также провели на маяках; отсюда и льготные пенсии. Трое их детей, уже вполне самостоятельные, разъехались: старший лейтенантом на



Лапландское озеро среди гор

Тихоокеанском флоте служил второй год, средняя дочь заканчивала в Мурманске пединститут, а младшая уже загодя училась в сельхозтехникуме в Вологде.

Василий сменил с ночного — солнце так и не заходило, полярный день на дворе — дежурства Трещева. Не оговорился: не вахты, а именно дежурства, как сторожа дежурят, ибо в круглые световые сутки, без зимних туманов, маяк и не включался. Вообще, весь списочный состав маяка в короткое летнее время занимался регламентом, в том числе и в вахтенные дежурства.

Каждый в свою летнюю вахту занимался проверкой по своей части. Моторист по своей армейской специальности, Василий с самого утра, не разминаясь, продолжал уже недельную возню с дизель-электростанцией маяка. Часам к двенадцати перебрал коробку и, весь в мазуте, вышел на мостик маяка, предварительно сполоснув руки в солярке и тщательно вытерев их ветошкой. Солнце почти пекло — со скидкой на заполярную широту. Василий присел на табуретку, закурил.

Маяк стоял на самой высокой точке острова, в ста метрах от скалистого восточного берега, мимо которого и проходил траверс судоходного пути вдоль северной оконечности Кольского полуострова. Где-то далеко, за горизонтом, путь этот отворачивал на юг, на вход в Кольский залив. С западной стороны острова, разделенная проливом полукилометровой ширины, располагалась материковая земля. Кстати, на этот берег на маячной моторке сегодня поутру за морошкой отправились Трещевы и жена Зарубина: на острове не было болот, поэтому за морошкой, сезон

которой был в расцвете, ездили не первый день на ближний материковый берег. Сам Зарубин, как человек городской, собирать грибы-ягоды не любил, поэтому пришлось с моторкой управляться сонному с ночной вахты Трещеву. Впрочем, он прекрасно поспит и в причаленной к берегу моторке. Кстати, берег тот был вполне обжитой: километрах в трех располагался береговой маяк, а еще чуть дальше — зенитная батарея с батальоном солдат, еще с военных времен.

Переведя взгляд на свой остров, где в низине, в километре, маленькими отсюда смотрелись четыре однотипных домика, в том числе и его семейства, живописно в своей неправильности разбросанные по берегам озера, Василий мимоходом отметил, что уютный дымок идет из трубы только избы Зарубиных, а также из трубы его личного сарая, где предприимчивый елецкий мастеровой соорудил рыбокоптильню, чем вызывал неудовольствие политотдельца Шулейки, курировавшего маяки; на военизированных «точках» самодеятельность не приветствовалась. Однако, копчушки получались отменные. Василий облизнулся, вспомнив их вкус.

Коль скоро помянул о Зарубине и его копчушках, то и задумался: а сколько ему еще лет глотать здешние зимние туманы, прямо-таки выедающие легкие? И деньги уже прикапливаются, и жизнь на родине в норму вступила... Однако, все же следует подождать, пока старший окончит школу. Опять же и лишние «длинные рубли» не станут помехой в деревне, да и парня учить надо дальше, чай, не двадцатые, не тридцатые годы. Сейчас и из большей глухомани молодежь в техникумы и даже институты рвется.

Да и младший сын начальные классы проведет в хорошей, даже по-своему знаменитой школе Полярного, а не в деревенской четырехлетке, где все классы в одной комнате... Конечно, когда оба будут девять месяцев в году проживать в интернате, совсем сиротливо им будет, а родителям разве весело?

Правда, там, в городе, и уход за ними серьезный, не дай, бог, заболеют — больница и врачи отменные, госпиталь — главный флотский... А здесь, на острове? Даже связи на случай чего нет; сколько ни просили в гидрографическом отделе флота хоть простенькую рацию — не положено, говорят. Наверное, боятся, что прямо в Америку будем каждодневно сообщать о проходящих кораблях. И о здоровье подполковника Шулейки.

Тут, слушая, Николка вспомнил историю прошлого года на ихнем маяке, когда прободная язва образовалась у Седалина, а она времени не терпит. На моторке в Полярный не пробьешься: море штормит под шесть баллов. Хорошо, Николкин отец, по военной специальности бывший флотский сигнальщик, развернул в сторону военного поста на Большом Оленьем «дальнобойный» маячный прожектор и отморзянил о помощи. С поста позвонили — там связь есть — в Полярный, оттуда послали катер... словом, спасли косого Степана-мичуринца. Он, оклемавшись, поставил Андреяну две бутылки коньяка грузинского — в этих-то строго «сухих» краях?! Но — Николка снова вернул свой слух к женским рассказам.

...Василий докурил и пошел в вахтенную комнатку попить чаю из принесенного тер-

моса под нехитрые домашние пирожки с рыбой.

Доев пирожки с палтусом — один попался с грибами; очень он уважал грибы, запив почти горячим чаем крепкой китайской заварки, Василий наполнил стакан в подстаканнике вдругорядь и, держа его в правой руке, а в левой кусок пиленого сахара — пил по-деревенски, вприкуску, — вновь вышел на мостик, уселся на давешнюю табуретку. Между двумя глотками чая заприметил, как Зарубин вынес из коптильни на вытянутых руках, как поленья носят, охапку свежeproкопченных трещин — с то же полено длиной; зорок был Василий, даже мысленно на вес ношу прикинул: ого! Это сколько же он за лето заготовит и посылками через почту в Полярном на елецкую родину отошлет? Впрочем, уставь весь остров рыбаками впритык друг к другу, все одно на всех трески в море хватит. Чего ее жалеть-то?

Зарубин с поклажей скрылся за домом, но Василий хорошо знал хозяйство своего соседа: с той стороны избы были сгорожены полки-решета, на которых копченая треска или палтус на свежем воздухе доходили до нужной кондиции. Хоть и посмеивались маячники над Зарубиными, но и понимали: «длинные рубли» нужны елецким не для куркульства или баловства, а для строительства домика на тихой окраине города, куда их судьба — порознь — занесла в послевоенные годы.

Какая же тишина стояла в этот июльский полдень! Близкий материковый берег синел в дымке, а в низине острова тоже стлалась дымка, но уже от коптильни Зарубина, с коим их и

было сейчас всего двое на острове... Вот к осени все маячки соберутся, к первому сентября, все школьники еще здесь будут — почти многолюдно на острове станет. А следующее многолюдство повторится уже на школьные зимние каникулы. Новый год, а там до весны рукой подать. Глядишь, и год промелькнул, потом еще и еще... Но придет время, уедут Зарубины в свой орловский край. «Орел да Кромы — первые воры, а Елец — всем ворах отец», — нарочито плутовато порой посмеивался щепетильно-честный Зарубин. К этому времени в опустевшем было доме Трещевых уже заживет новая семья маячников. А там очередь собирать скорб и гидроотдельским катером идти до Мурманска, а далее железной дорогой с пересадкой — и его семейству подойдет. А ведь привыкли, жалко будет с суровой, но и уютной, вдали от начальства всевидящего, исключая въедливого, но вообще-то безвредного Шулейки, жизнью на забытом богом острове прощаться. Но ведь дожить еще надо до того времени!

Померещилось? Да, почудились частые, короткими очередями выстрелы, еле-еле слышные со стороны материкового берега, но не того, что напротив острова, а откуда-то издалека. Если со стороны берегового маяка, то по какой-такой причине? Если и стреляют по осени и зимой охотники тамошние, то не из автоматов, а из тульских или ижевских двустволок. С зенитной батареи, где, конечно, имелось стрельбище для воинских упражнений, если что и слышно на таком расстоянии бывает, то уха-нье зениток во время учений. Правда, громкое, уши закладывает.

Василий хлопнул себя по лбу и рассмеялся: вот что значит сам-двое на острове остаться, рас-судок страхом заражается. Это ведь дизели подводных лодок порой так чихают, когда стармех корабля на досуге, на тихом надводном ходу что-то начинает мудрить и проверять. Значит, где-то в милях трех-четырёх, невидимая за изломами берегов, лодка идет на дизелях из Полярного на боевое дежурство в открытое море.

Василий допил чай, вынул из кармана початую пачку «беломора», закурил с наслаждением. Полуденное марево и вселенская тишина неумолимо тянули в сон. Устав бороться, Василий прошел в дежурку и прилег на топчан. «Часок подремлю», — и провалился в крепкий дневной сон, после которого чувствуешь себя как ночь проспавшим, только в голове ненадолго зуд неприятный.

Однако сон редко спрашивает своего хозяина о продолжительности, запрошенный час обернулся целыми двумя, да и прервался только звонком местного телефона. Конечно, телефон — звучит громко, но тем не менее он связывал мостик маяка с верандой дома Василия. Веранда исполняла роль общей телефонной будки для звонивших из жилой зоны острова в маячное здание. Такая связь предусматривалась положением о маячной службе.

— Василий Никитич, — как к старшему по должности и слегка по возрасту обратился Зарубин, — ты что, прикемарил? Взглянь в бинокль на пролив, мне отсюда не разобрать: кажется, моторка тарахтит, а наши-то к вечеру только собирались. Отбой.

Аппараты были односторонней связи, полу-

дуплексные, как говорят техники, то есть говорить надо было поочередно, нажимая тангенту на трубке.

— Сейчас посмотрю. Слушай, Жора, я та-рахтенье тоже хорошо слышу. Перезвоню, будь на веранде. Отбой.

«Кого-то черт несет не по расписанию», — недовольно забормотал Василий, только-только намеревавшийся выкурить папиросу и допить чай из термоса.

Однако служба есть служба. Он взял со специальной полочки, расчехлив, двенадцатикратный морской бинокль и направил на хорошо видную с горушки маяка моторку, шедшую на полной скорости наискосок пролива к их острову. В бинокль же, как рядом в двух-трех десятках метров, увидел человека в военном, в пилотке — значит, солдат, не офицер или унтер, который не совсем ловко управлялся с рулем. Особенно это стало заметным на повороте моторки с середины пролива к островному берегу: неопытный в морском деле солдат слишком резко переложил руль, отчего моторка выпрыгнула носом из воды, дала опасный крен вправо, вывернутый руль подтабанил, и моторка пошла делать зигзаги, пока не выровнялась по новому курсу. Может старшина, дружок Жоры, послал бойца с какой-нибудь рухлядью, что в хозяйстве всегда пригодится, на предмет получения бутылки — универсальной и высоко ценимой в этом краю полного сухого закона обменной единицы? Однако смутил автомат на ремне за спиной солдата. Был еще вариант поиска дезертира, крайне редкий случай, но... дезертиров ищут командами, с офицерами.

Василий снял телефонную трубку, крутанул динамо вызова:

— Слушай, Жора, непонятно все это. Давай-ка запирай свой дом и коптильню, мой тоже закрой вместе с верандой, замок с ключом слева от аппарата на полочке. Так-так... у Ворожейкиных заперто (в этих краях запирают только при длительном отсутствии — и то для пресечения детских шалостей), загляни к Трещевым. Если замок на глаза попадется — замкни. Да, захвати мое ружье, оно хоть не стреляет, но все же... Отбой.

Повесив трубку, Василий, вспомнивший о своем ружье, раздосадовался: еще в начале лета решил пострелять куличков на маленькой отмели в дальней части острова из старенькой своей одностволки, но на втором выстреле раздуло лопнувшую латунную гильзу — то ли от многократного использования ее, а может и чуток новомодного бездымного, к которому еще толком не привык, переложил. Ножка или чего тонкого и плоского, чтобы подцепить доньшко гильзы под рукой не было, оглянувшись, нашел подходящий гранитный обломок с клиновидным выступом... словом, гильзу не вытащил, а сорвавшимся камнем скривил боек. Как ни пытался осторожно, уже дома, выправить боек, но каленный стальной шпенек сломался.

Отложил покупку нового ружья до осенней охоты. Больше на острове, исключая казенную ракетницу, ничего стреляющего не было; Ворожейкины охоту не вели, Трещев подарил свое бельгийское ружье, высоко ценимое в кругах охотников «Три кольца», неведомо как к нему попавшее, старшему сыну, а Жора Зарубин со-

бирался вооружиться тоже осенью, за компанию с начальником прокатившись в Мурманск.

Однако, надо было что-то делать: моторка уже зашла под береговую сопку, исчезла с виду, а мотор снижал обороты, потом и вовсе стих. Приехали!

Вскороости пришел Жора, поднялся на мостик, поставил в угол ружье без бойка.

— У Трещевых замок нашел. Закрыл.

Василий задумчиво рассматривал, держа в руках, ракетницу. На столике был выставлен запас ракет: восемь штук, трех цветов металлической крышки патронов. Положив ракетницу на этот же столик, взял бинокль, направил в сторону небольшой сопки, закрывавшей вид на островную половину пролива. Как раз в этот момент из-за сопки показался прибывший на остров. Молча и поочередно с Жорой они рассмотрели незваного гостя; в бинокле он был совсем рядышком: солдат, без единой лычки на погонах, воротничок расстегнут, пилотку снял и нес в правой руке. Автомат висел на плече наперевес, прижимаемый в ходьбе локтем той же руки с пилоткой. Левая же придерживала подсумок явно с тяжелым; рожками с патронами, как сообразили тотчас оба маячника.

Меж тем, пока его тщательно изучали в бинокль, солдат прямо шел к домам у озера. Подойдя к ним, взяв автомат наизготовку, держась безоконных стен, начал обход слева — от избы Трещевых. Обнаружив, что дверь заперта на замок, с минуту постоял, раздумывая, затем направился к следующему дому — Василия. Там он долго всматривался в окна веранды, даже поднимаясь на носках и тычась лбом в стекло.

— Давай вспугнем,— предложил Жора и, сняв трубку телефона, положил ладонь на ручку индуктора.

— А давай,— ответил Василий, не отнимая окуляров бинокля от глаз.

Жора из всей силы закрутил ручку, а Василий увидел в бинокль: солдат, без того настороженный полной тишиной острова и всего пляжного мира, вздрогнул всем телом, даже пилотка с головы слетела, отскочил на пару шагов и дал длинную, гулкую очередь по окнам веранды. В наступившей затем тишине было слышно, как падают и разбиваются звончатые осколки стекла.

— Ничего себе пошутил! — Василий не к месту вспомнил, сколько он положил трудов на веранду, особенно на переплет и остекление. Все вручную, из подсобного материала, одни стекла дармовые, казенные.

— Вот что,— обернулся он к несколько смущенному Зарубину,— шутки закончились, дело понятное. Давай дуё отсюда по западному берегу, садись на моторку этого раздолбая... да-а, в подсобке здесь возьми канистру, горючкой залей. Иди через пролив, где наша моторка причалена, там Трещев поблизости кемарит, во всяком случае где-то рядом. Пусть сюда не суются. А сам на любой из моторок — на батарею. Понял?

— А если этот долбанутый моторку притопил или движок испортил? Потом, до батареи километров десять пилить, миль пять-шесть,— поправился он,— и еще полчаса пехом. А ты как же? Пошли вместе?

— Если моторка не на ходу — на веслах

на ней или на двойке Ворожейкиных, сумеешь ее стащить, легкая, а дальше на нашей пойдешь. За пару часов до батарейцев доберешься. А что делать? На море ни одной посудины нет. Мне — нельзя по инструкции, не забывай, что в военной части служим. Под суд не собираюсь. Потом, хоть и в железнодорожных войсках служил в войну, но под обстрелами и бомбежками побывал, не сдрейфлю. Иди, только с оглядкой.

«Вот она судьба-злодейка, — вертелось в голове Василия, — рано или поздно, но в здешних краях обязательно с каждым что-то и случится. Да что на края-то валить? Все под бывшим, как Шулейка говорит, богом ходим...».

Одним глазом Василий смотрел, как Жора с канистрой вышел из подсобки с ГСМ* и скоро скрылся за углом маячного здания. Василий полностью переключился на солдата. А тот, отойдя от испуга, выбил прикладом часть переплета и влез на веранду. Как потом выяснилось, автоматная очередь разбила телефонный аппарат. Что-то несколько минут он там делал, может, оголодавший, ел. Затем снова появился.

Проверив наличие замка на двери дома Ворожейкиных, солдат подошел к последнему — Зарубиных. Видно, его привлек запах копченой рыбы, он зашел за дом, вышел оттуда, на ходу раздирая и жадно поедая увесистую, мясистую тресчину. Так же продолжая оглаживать рыбину, он направился вверх, к маячному зданию, впрочем, стараясь не оставаться в прямой видимости, так что в бинокле Василия то мелькала,

* Горюче-смазочные материалы. — Прим. авт.



Остров на озере Нотоярби

то вновь исчезала голова в надетой уже пилотке. Перед крутым подъемом и вовсе исчезла. Затарахтела со стороны пролива моторка, значит у Жоры все в порядке. Однако, надо что-то предпринимать, ракетницей супротив автомата не повоюешь.

Василий по-чапаевски повесил кожаный футляр с биноклем на грудь, рассовал сигнальные ракеты по карманам рабочего комбинезона и, держа ракетницу в руке, спустился с мостика, с досадой взглянув на бесполезное ружье. Запер подсобку с ГСМ на металлическую задвижку, навесил два замка. На задвижку и замок в проеме ее ушек запер и входную дверь на маяк, после чего отошел к стоящему поодаль складу, за которым прямо начинался спуск к берегу. Склад по уставу всегда заперт. Удостоверившись в этом, Василий спустился по едва заметной на сухом торфянике тропке к берегу, прошел вдоль него метров триста и поднялся на небольшую сопку, соседнюю с маячной. Нашел удобную позицию и наставил бинокль на маяк. К этому времени солдат уже поднялся и подошел к кубастому зданию с вынесенным перильчатым мостиком.

Узрев надежный запор, солдат направился к складу, осмотрел его амбарный замок, который, даже истратив пару рожков патронов, вскрыть было нельзя. В отличие от жилых домов, флотское имущество помещалось надежно. Так устав внутренней караульной службы велит.

Теперь в бинокль хорошо было видно и лицо солдата: скуластый, чем-то похожий на татарина или башкирца, с нехорошим, болезненным взглядом. Пилотка с эмалевой звездой сбилась

набок на голостриженной голове тыковкой с большими, оттопыренными ушами. На лице явно читалось недоумение: куда же все подевались? Звериным чутьем сумасшедшего он догадывался, что на острове кто-то есть, но где?

Солдат покрутился у склада, потом снова подошел к маячному зданию — оба были без окон, — присел на ступеньках, пригорюнился, поставив локти на колени, а ладонями обхватив голову. Что в ней сейчас творилось? Предсмертные крики тех семерых, которых он по приказу того, кто вчера *поселился* в его голове, два часа как застрелил в упор, входя в незапертые двери домов берегового маяка. Стрелял очередями, не жалея патронов, благо рожков с батареи забрал полный подсумок, что при ходьбе тяжело давил поясницу и бил по бедру левой ноги.

А может думал: сколько ему еще времени жить осталось — вообще жить или жить на свободе? Судя по солнцу, было уже часа четыре. Дальний пост, где он сегодня значился на дежурстве, проверяется через час. Но может уже хватились автоматных рожков, которые он утром как-то ловко сумел вынести из оружейной комнаты? В любом случае уже в ближайшее время спохватятся, еще через пару часов найдут на береговом маяке семь трупов или тяжело раненых — все тамошнее население, дальше пойдут проверять остров... А голос *поселившегося* в голове упрямо требовал: найди, кто здесь живой, и убей!

Солдат снова подошел к складу, обошел здание, увидел малозаметную тропку и пошел к спуску на берег. Василий обернулся на соседнюю сопку, оценивая: как ему незаметнее пе-

рейти на нее. Однако безумец дошел до берега, потоптался и пошел в противоположную сопке Василия сторону.

Гулко бившееся сердце поуспокоилось, Василий вновь обрел слух. Что это? Он явственно услышал характерный стукоток дизеля подлодки, а затем и она сама неспешно всплыла из-за той самой сопки, которую только что Василий присматривал для следующего пристанища. Лодка шла совсем рядом с берегом, очевидно, имея намерение обогнуть островок и далее следовать в губу, далеко вдававшуюся в материковый берег, миль на пять. Наверное, отрабатывала на учениях какой-то замысловатый маневр со сходом от преследования корабля противника. Пока условного в мирное время.

Лодка приближалась, солдат тоже не мог не слышать стук дизеля. Поэтому, долго не раздумывая, Василий, мало остерегаясь, сбегал на берег, поближе к соседней сопке, встал за камень, закрывавший его с той стороны, куда ушел солдат, вставил в ракетницу зеленый патрон и выстрелил горизонтально, целясь в рубку подлодки. Затем поднес к глазам бинокль и рассмотрел на мостике рубки головы моряков. Убедившись, что его заметили, уже хладнокровно, не торопясь, одну за другой выпустил три красные ракеты: сигнал высшей опасности. Ракеты опять же пускал горизонтально, хотя солдат все одно его выстрелы слышал.

Вполне может быть, что безумец поначалу двинулся в сторону выстрелов (*голос-то* будоражил: найди и убей!), но, увидев, подлодку, выключившую дизель и взявшую курс на остров, поспешил в обратную сторону.

Лодка с изменившимся курсом и выключенным двигателем еще некоторое время двигалась и остановилась метрах в двухстах от берега; место здесь было глубокое. Из открывшегося палубного люка полезли матросы, вынесли похожие на ватные одеяла резиновые плотики. Через несколько минут десятков моряков на двух надувных лодках-плотах направились к берегу. Первым соскочил на берег офицер с пистолетом в руке, за ним попрыгали матросы с карабинами.

— Ну, что тут у вас, — спросил, поздоровавшись с Василием за руку, офицер в звании капитан-лейтенанта.

Василий кратко объяснил каплею и обступившим матросам, указав возможное направление поиска. Офицер оставил у плотов караульного, посоветовав Василию составить тому компанию. Рассыпавшись цепью, матросы скоро исчезли за сопкой.

Василий, как курильщик со стажем, не забывший взять с маяка папиросы, присел на камень, предложил курево молодому матросу, явно первого года службы — только что из учебки. Моряк охотно закурил папиросу, рассказал: *кэл* связался со штабом; на батарее, откуда ушел солдат, уже подняли тревогу, а к острову идет из Полярного на всех парах политотдельский катер с военными судейскими.

Оказалось, что морячок вологодский, почти земляк. Разговорились, даже на время забыв о происходящем. Но через четверть часа послышались недалние выстрелы: одиночные карабинные и автоматные очереди.

— Сейчас наши годки* с каплеем захомут пехоту.

Действительно, еще раз вскинулась долгая автоматная очередь, на нее ответили залпами одиночных выстрелов карабины матросов. И все стихло. Выждав с пяток минут, Василий распрощался с матросом и пошел к маяку. Служба остается службой, да еще катер с начальством вот-вот причалит.

Солдата живым взять не удалось, тот занял очень удобную стрелковую позицию на сопке поодаль маяка. Отстреливаясь, он легко ранил в руку матроса. Моряки тоже залегли за камнями. Вскоре автомат солдата замолчал. Поднявшись на сопку, увидели, что пуля из карабина вошла в висок. Вскоре прибыл и политотдельский катер.

Лодка ушла по своим делам, убитого солдата отнесли на катер. Допросив Василия и заставив подписать протокол, судейские погрузились на свой катер, который взял курс на зенитную батарею. Василий же скоренько пошагал к проливу, сделал отмашку Жоре с Трещевым, напряженно ждавшими на другой стороне. Захватив Трещева, Жора примчался на моторке. Кратко поведав об окончании истории, Василий вновь отослал Трещева на другую сторону: поискать-покликать маячников и возвращаться домой. Сами же с Жорой пошли осматривать дома — что там успел натворить сумасшедший солдат.

...Прошли означенные года. Старший сын окончил в Полярном школу. Пришло время отъезда. Выделенный гидроотделом катер не-

* Служивец в военно-морском флоте, эквивалент «земляку» в сухопутных частях (флотск.).— Прим. авт.

спешно катил по опять же июльской глади Кольского залива, с каждой милей приближаясь к Мурманску, затем поезд с пересадкой — и архангельская родина. Жизнь готовится к новому витку. Василий сидел на корме, на бунте троса, курил. С каждой милей он удалялся от своего острова. А тот давно скрылся за бесконечными изгибами берегов залива. Василий докурил папиросу и бросил в бурун, вырывавшийся из-под винта катера, смахнул с ресницы слезинку. Прощай, Север!

...Вот так Николка, только в других словах, даже не в конкретных словах, исключая засевшие в голове фамилии маячников острова Великого, но как-то в общем, в образах, запомнил это страшное происшествие. Тем более в мирных этих местах, хотя и подзавязку набитых всевозможным сухопутным и морским оружием.

И, странное дело, ему несколько не было страшно, хотя у разговаривающих женщин лица даже бледнели. И к месту вспомнилось, когда еще на Палагубском — он уже начинал помнить некоторые события с его участием — он почти час сидел на самом краешке крутого, в два дома высотой, обрыва над водой, легким прибоем пенящейся глубоко внизу, под его спущенными с плоского выступа-сидения ногами. Причем он даже что-то неясное, в такт доносящейся из растворенного по летнему времени окна маячного дома музыки, напевал и болтал ногами, еле-еле удерживаясь «пятой точкой» на отшлифованном временем скальном граните.

...Незаметно, тихо, чтобы не спугнуть неслышленю, к нему сзади подкрался Юрка, крепко обхватил подмышки и с пробудившейся

руганью рывком поднял и отнес на пару метров от обрыва.

Мать хотела для острастки пару раз стегануть его вицей, но таковой поблизости не случилось, а вересковым веником слишком больно... но здесь появился отец, расспросил и расправу отменил до более зрелого возраста, ежели такое повторится: «Бить его сейчас без толку. Вообще детей можно, конечно, в целях благовоспитания раз-другой ремнем или вицей хлестнуть, но только в младшем и среднем школьном возрасте. Старше нельзя, озлобится или сдачи ненароком даст. А младшего просто запугаешь, но на пользу дела не пойдет. Так что, мать, проводи с Николкой что-то навроде политзанятия, как Шулейка; сама понимаешь, что в этом возрасте у них нет никакого понимания опасности, а значит и страха. Так природа распорядилась. Это еще Сократ сказал, что страх приходит с возрастом. Даже вроде как бесстрашные звери к старости становятся трусливыми...»

Далее отец сел на любимого философского конька, а мать слушала с покорностью из уважения к ученым познаниям Андреяна.

Но зато из страшных рассказов о стрельбе на острове Великом Николка почерпнул и нечто полезное для себя, а именно: оказывается, на всех маяках Кольского побережья и островов жизнь устроена одинаково. Везде стоит особняком маячное здание без окон, но с почти корабельным мостиком, а в подветренной части, обычно в торфянистой низине, несколько жилых домиков. Впрочем, не везде, как у них на Седловатом, есть большие, общие маячные дома. Вот как на Великом. Обязательно имеется на-

чальник, семьи, дети, что с семи лет находятся на учебе-воспитании в полярнинском интернате при тамошней школе. А главное — есть даже, как вот у них, телефон и приехавшие с Большой земли за «длинным рублем». На Седловатом — это Паша и Вера Гусаровы, на Великом — копильщик трески и палтуса Жора Зарубин со своей женой-инженершей. А может и весь огромный мир так устроен? На что уж деревня Дворцы на их маяк не похожа, но и там есть начальник, в день приезда, а потом весь отпуск и каждый день пьющий с отцом водку председатель колхоза. И свой Шулейка имеется — тоже иногда присоединяющийся к компании парторг. Про обязанности его отец рассказал, но Николка и сам не дурной: догадался по словам парторга о товарище Сталине, партии и укреплении дисциплины. Словом, как Шулейка говорит. Правда, до третьей стопки. Затем берет в руки балалайку (сын тети Насти, его, Николки, двоюродный брат, но постарше годами, тоже играет) и начинает петь нехорошими словами частушки, так что тетя Настя и мать сами из горницы уходят вроде по делам в сенцы или двор и ребят уводят: «Не мешайтесь у взрослых под ногами!»

Ничего, думает Николка, вот подрасту и во всем сам разберусь.

НИКОЛКА И ЕГО ТЕЗКА, МОРСКОЙ БОГ НИКОЛА

«Смотри, Николка, очень уж не задумывайся,— все же порой говорила мать,— а то голова

раздуется и лопнет!» — «Не-а, — отвечал он, — у меня Толькина старая шапка, она тесная, не дает лопнуть». Мать задумывалась: надо, как в Полярный поедет, новую шапку покупать, а отец посмеивался: философ, мол, из него выйдет, а в школе физику хорошо будет понимать. «Все дело в разумности формы и содержания, как говорил Аристотель, — наливая в стакан с кружком лимона дегтярной крепости заварки чай, рассуждал отец по поводу материных слов и ответа Николки, — вот, возьмем, ружье. При выстреле в стволе его развивается давление в сотни атмосфер, даже в тысячи, а ведь он не лопаётся, если, конечно, перед выстрелом его в снег незначай или по полной дурости, хм-м, не ткнуть. А почему, спрашивается? Потому что инженер, конструировавший ружье, все рассчитал в соответствии с законами физики: давление пороховых газов не должно превышать упругость стали ствола. Так и голова человека: много в ней мыслей может копиться, но — полезных. А дурь какая, вроде того солдатики с Великого, заведётся — и все, прощевайте, голова и лопнет, хотя с виду такой и останется. Значит, содержание уже не соответствует форме».

А Николка, уже научившийся хитрованству, про себя посмеивался — на отцовское «хм-м». Ибо прошедшей зимой, когда над заливом стал на неделю плотный, неподвижный туман, и их маяк-сирена круглые сутки тоскливо и громко ухал, как-то отец пришел с охоты на гаг*, кото-

* Птицы эти уже в те времена были внесены в «Красную книгу», но на маяках такой в глаза не видывали — не слышали, а все подушки и перины были набиты гагачьи пухом. — Прим. авт.

рых стреляют из шлюпки на пролет стаи, чуть отойдя от берега, злой-презлой. На вопрос матери — где подстреленные гаги, запустил матерком. Выбросил, мол, в воду, пусть выдры жрут их и вороны расклевывают. И — о ужас! — аккуратист до нелепости Андреян бросил ружье, двустольную ижевку-бескурковку шестнадцатого калибра в угол комнаты, слева от входной двери. Отказался от ужина, только молча, катая щеками желваки, выдул подряд полдюжины стаканов чая и так же не говоря ни слова ушел на маячную вахту.

Мать же после ухода Андреяна осторожно подняла опальное ружье и многозначительно показала Николке на шишку-вздутие в середине левого ствола, но ближе к патроннику. Через сутки отец отошел от досады и рассказал, что в Меловой бухте, где он вытаскивал свою двойку на берег, перед этим поохотившись вволю и подстрелив пяток гаг, к нему подошел Паша Гусаров: он шел с маяка с подвахты дизелиста — в сильные туманы над заливом, длившиеся по нескольку дней, кроме основного вахтенного по инструкции полагался подвахтенный дизелист — и завидел соседа Андреяна даже в ранние зимние сумерки: на какой-то миг налетел шальной местный ветерок и на самое короткое время сдул туман с низкого, пологого берега песчаной Меловой бухты.

Паша ружьем еще не обзавелся: и хотелось страстно, и денег жалко. Даже не то, чтобы жалко, а-а, как он сам, смеясь, пояснял: не жадные они с Верой вовсе, но ведь в этот медвежий угол, где даже и медведи только в названиях островов и губ, а сами жить брезгают,

они приехали, как в длительную командировку, деньги зарабатывать. А если ружье он купит, то нескладуха получается: денег еще как следует не заработал, а уже тратит. Хотя, признавался он, здесь ружье не баловство, но промысловый инвентарь, позволяющий разнообразить домашний стол, а не есть одну пайковую, раз в году по осени завозимую солонину. То есть прямая польза для здоровья, а оно-то как раз и потребно для дальнейшей долгой и счастливой жизни в солнечном Ташкенте в новопостроенном собственном доме. «Итак, куда ни кинь — всюду клин», — обычно итожил со смехом Андреян, когда Паша жаловался соседу на неразрешимость ружейной доуки. «Словом, — сам Гусаров уже смеялся, — и хочется, и колется, и, главное — Верка не против, но... как говорит Шулейка, призывая крепить трудовую дисциплину вольнонаемного маячника, гражданская совесть не позволяет».

Пока же Паша пытался превозмочь свою гражданскую совесть, не пропускал возможность поупражняться в доселе ему незнакомом охотничьем искусстве из ружей других маячников. Обычно по-соседски просил «дать на пару выстрелов» у Андреяна. Так и в этот раз. Слегка морщась в душе, как истовый потомок староверов и бывший старшина команды флотских сигнальщиков, не любивший давать в чужие руки личные вещи, Андреян — деваться некуда, маячный этикет все же — вручил Гусарову двустволку, зарядив ее двумя последними, неизрасходованными патронами.

Паше, как всякому малоопытному в любом деле, первоначально повезло: какой-то птичий

черт понес небольшую стаю с водной дороги к самому берегу, что они обычно не делают — должно быть, их сбил с дороги и с толку все тот же налетевший с моря ветерок, чуть сдувший с отмели Меловой бухты сплошной туман. Паша навскидку выстрелил из первого ствола, и от стаи отвалила и кубарем упала в воду залива всего в полутора метрах от берега крупная гага. Гусаров, не долго думая — и вообще не думая, — воткнул ружье стволом в смерзшийся настом снег, взял из двойки Андреяна весло и подтабанил птицу к берегу, поднял ее за лапы, горделиво показывая соседу. Другой же рукой, опять не задумываясь, взял ружье, выдернув ствол из снега.

Как назло, во время всех этих элоквенций с двустволкой и вылавливанием гаги Андреян стоял спиной к удачливому охотнику, раскуривая папиросу и загораживая ее от все того же ветерка; известно, что вдыхать дым с наветренной стороны мало удовольствия... И второй недобрый перст судьбы — если бы на поверхности ствола Андреян заметил снег, то сообразился и отобрал ружье у Паши. Но корочка наста как скребком счистила снег со стволов при выдергивании его Гусаровым в обрат.

И получилось, что и получилось: Паша прицелился в одиночную гагу, явно догонявшую ранее обстрелянную стаю, конечно, промазал. Но здесь уж Андреян сразу обратил внимание на странный, громко хлопающий звук выстрела, взял ружье из рук Гусарова, увидел вздутие на левом стволе, а главное — некоторую мокрость, все же чуть-чуть, но прилипло снежка к стволу, то и расплавился при выстреле, все понял и, ни

слова не говоря соседу, взял из шлюпки, уже вытащенной на берег, вязанку гаг на бечевке, размахнулся ею и на несколько метров забросил в воду. После чего так же молча пошел в сторону дома, несколько брезгливо держа ружье в руке наперевес, причем ремень ружья волочился своей серединой по снегу. Совсем не в характере аккуратиста Андреяна. Гусаров же в изумлении застыл на берегу, а начавшийся отлив резко относил связанных по лапам бечевой гаг подалее от берега, подалее от недобрых к безобидным летучим тварям людей.

...Отошел же отец от досады и все поведал семейству по той причине, что прямо перед его приходом с маячной вахты Вера Гусарова прибежала к Николкиной матери за прощением и принесла «заиграть обиду» подарки для всех: мешочек присланных с родины каких-то особых орешков, сваренных с соленой воде с уже надлущенной от той варки скорлупой — для матери, ходившей последний месяц на сносях с Сережкой («Ешь, Маня, для беременных очень полезно»); килограмм прессованной ореховой халвы для Николки и Славки, а главное — для обиженного Андреяна чуть ли не с самого приезда на Север сохраняемую бутылку узбекского вина «алеатико» с очень приятным запахом, а к ней впридачу поллитровку водки. Отошедший от хмурости отец очень хвалил вино, но особенно водку: «Настоящая ленинградская. Таковую в Мурманск нечасто завозят; обычно петрозаводскую, с каким-то известковым осадком на дне... если не сразу после покупки употребить, а пару-тройку недель постоит. Из древесины что ли в Кондопоге на целлюлозном комбинате гонят?» —



Ловля семги на Севере: семужий забор-рюрик

«Небось, у тебя и петрозаводская не застоится», — заметила с легкой усмешкой мать, уже тем довольная, что в доме прекратилось гнетущее общее молчание.

Паша же Гусаров раза три предлагал соседу купить у него попорченное ружье, но Андреян с личными вещами также не любил расставаться. Тем более, что ничего особо непоправимого с «ижевкой» не произошло. Поначалу он стрелял на охоте из исправного ствола, потом попробовал и из левого: дробь она и есть дробь, не пуля же. Так что оба ствола остались действующими. «Вздутие — это не кривизна, когда из-за угла можно стрелять, ха-ха-ха!» — Это уже Федоров смеялся, встретив Андреяна на охоте у Южного мыса острова.

...А как Николке не задумываться, если с каждым днем он узнавал-открывал для себя столько много ранее неведомого, неосознанного, что, действительно, впору и летом, в жару не снимать с головы уже тесную для него, доставшуюся по наследству от Тольки зимнюю шапку-ушанку. Причем эту шапку старший братеньник носил в свои дошкольные годы.

Все же с усилием, нарочито выйдя из всяких воспоминаний, Николка с час времени проболтался вокруг да около свежестроенного седалинского коровника, поставленного чуть обок его знаменитого «поля», урожаем с которого угощался сам подполковник Шулейка. Пока женщины охали и ахали, суетясь вокруг обиженно и кротко мычащей коровы, а Седалин с Федоровым оценивали добротность новостройки, Николка кучковался с Витькой и Васькой, причем на правах старшего одиннадца-

тилетний седалинский Васька снисходительно давал пояснения: «...До осени корова будет ходить по острову в охранении обеих наших собак (кстати, оба пса уже успели слегка попасться телке под ноги, потому осторожности ради уехали чуть поодаль коровника и толпы маячников, переглядывались друг с другом не хуже Глахи и Улиты, но уже смирясь с присутствием на доселе их острове третьего четвероногого, который, судя по размерам, станет вожакom их маленькой стаи), чтобы не забрести на береговую скалу и не сорваться в море. Шамать же ей — травы достаточно, да не совсем, поэтому мать будет каждый день варить ей ведро какой-нибудь каши и добавлять в нее все, что от наших обедов-ужинов останется», — Васька говорил явно со слов отца-матери, держался солидным хозяином: ну, точная, только уменьшенная копия своего отца, даже такая же косинка в глазах. И, невольно подражая Седалину-старшему, также вскидывал во время разговоров подбородком вверх.

— Сена-то довольно на зиму заготовили, — это и малолетний Витька, также подражая в начальственной интонации своему отцу, задумчиво наморщив лоб, вступил в хозяйственный разговор.

— А вот народ разойдется, так сам в дверь коровника загляни: половина его сеном набита, да весь чердак под завязку. Специально мы с отцом его высотой чуть не с сам сруб сгношили. И в сарае нашем на горке еще три тюка нераспотрошенных. Да-а, — совсем деловито соскучился лицом от хозяйственных забот Васька, — должно-от до следующего мая-июня хва-

тить, а дальше видно будет. А в мае, может, опять в шторма какую баржу с тюками потреплет, на наш берег выбросит. Опять с урожаем будем!

Ну, эту самую историю Николка с весны хорошо знал. В майские шторма, сильнее которых здесь только декабрьские (месяцы года он знал еще с Палагубского), которых — одним грех, другим смех — на маяке ждут как манку небесную, в эту весну особенно повезло острову Седловатому. Именно на его траверсе с широкой стороны Кольского залива разбило несамостоятельную баржу с фуражом и продовольствием.

Николка уже не первый год хорошо знал флотский регламент с завозом на маяки, военные «точки» и гражданские поселения навряде того же *ПИНРО* на Кильдине всего необходимого для тамошних прожигальщиков. Все это добро с запасом на целый год из расчета флотских береговых пайков на каждую живую душу развозят по утвержденному Управлением тыла Северного флота регламенту-очереди в сентябре-октябре, затем перерыв на долгое непогодье и полярную зиму, а потом сразу после окончания регулярных майских штормов и до середины июня месяца. Везут же этот полезный груз на несамостоятельных, пузатисто-кубастых баржах, что за трос тащит за собой буксир, по размеру не больше обычного торпедного катера, но очень ходкий, с дизелем помощнее ихнего, маячного. Даже обоих вместе взятых. Это отец Николке объяснил. На самой же барже во время хода только один матрос наличествует — рулевой, что держит за штурвалом курс на корму буксира, чтобы при волнении на море строго выдерживался кильва-

терный строй. Иначе же, особенно на поворотах, курсы буксиры и баржи разойдутся, буксир от натуги потеряет скорость, хорошо если трос при этом не лопнет, или, не дай морской бог Никола-чудотворец, и вовсе потерявшая управление баржа с подотчетным флоту имуществом налетит на береговую скалу или выступающий вблизи берега скалистый же утес.

Как правило же, в очень хорошую, штилевую погоду, как заведено, по устному, не письменному — чтобы не отвечать, разрешению интендантского старлея или капитана, подписывающего «отвальную» бумагу при выходе буксира с баржой от тылового причала в Мурманске, на баржу могут быть допущены и пассажиры, преимущественно из числа переезжающих со скарбом на новое местожительство, либо же что-то прикупивших в северной столице — не Ленинграде, конечно: здесь своя столица — для дома-семьи громоздкое. Старшина же буксира везет их либо по знакомству, либо за «уговоры». Денег на флоте не принято брать-давать, а вот за пару-тройку белоголовок ленинградского рóзлива и до шпицбергенского Баренцбурга — владения «Арктикутля» доставили бы. Но туда пассажиры-завербованные добираются намного более крупными «посудинами».

К ним, на Седловатый, баржу с пайковым продовольствием подтягивают в сентябре, но фураж не положен, ибо по росписи интендантского управления в гидроотделе флота здесь не числятся подсобных хозяйств с коровами, тем более верховых и гужевых лошадей. А вот на дальних, многолюдных «точках», рыболовецких совхозах и других военных и полумвоенных поселениях име-

ются и те, и другие, и третьи. То есть коровы, лошади, запрягаемые в телегу или сани, даже гарцующие на конях нарочные. Именно для них и везут прессованное в тюки сено.

...Видно что-то в метеослужбе флота недоучли, но буксир с той злополучной — но не для маячников Седловатого — баржей вышел в путь вроде бы по успокоившейся после недельного шторма погоде, всего-то под два балла волнение, но уже на траверсе Верхней Ваенги, которой уже скоро предстояло стать Североморском, старшина маленького каравана сообразил: это шторм только передышку на сутки взял, а сейчас вот начнется! Как быть? Тем более, что, во-первых, две трети пути пройдены; во-вторых, к счастью полулегальных пассажиров на барже нет; наконец, и оставалось-то пройти менее десятка миль, сразу за Седловатым переложить курс влево на норд-вест, еще пару миль пройти до губы, а сразу за ее мысом Медвежье входное и пункт назначения: военный городок зенитно-артиллерийского полка, куда и требовалось доставить баржу с продовольствием и полусотней тюков прессованного сена, что загроздили всю палубу баржи. Одно смущало: рулевой на барже совсем салага, только что из учебки. «Ну, авось пронесет,— решил старшина и переложил штурвал чуть вправо, миновав Ваенгу и огибая крутобокий островок Сальный с маяком,— бог не выдаст, свинья не съест!»

Однако флотский бог Никола был явно не в духе. Может, и потому, что старшина упомянул в какой-то связи с ним и богопротивное животное свинью, которую по библии и есть-то вовсе морякам не положено... Словом, на тра-

версе Седловатого шторм совсем разошелся, да еще пошел крупный и сильный, секущий глаза и щеки дождь, а старшина еще и сделал непростительную ошибку: стараясь поскорее обогнуть с севера остров и войти в боле тихую губу, переложил штурвал — явно из-за отвратительной видимости — на несколько кабельтовых раньше чем следовало. Салага-рулевой на барже также в сплошном дожде не углядел левую отмашку руки старшины, специально для этого выскочившего из застекленной рубки буксира, и курс не поменял. Словом... Николка даже и понять не пытался, но отец потом не раз пробовал, флотского учения ради, объяснить сыну: что произошло с раскурсовкой буксира и баржи, рисуя на листе бумаги мудреную схему.

Наверное, у отца на бумаге все верно было изображено, потому что буксировочный трос вмиг ослаб и ушел под воду, а баржу штормовым порывом ветра, благо сенные тюки действовали как паруса той же бригаантины, развернуло кормой к близкому Седловатому, и прокатившиеся подряд одна за другой три семибалльные волны с размаху насадили, как жука на иголку, баржу кормой на одинокий, острый скалистый выступ-утес, что торчал из воды в кабельтове от восточного берега Седловатого, почти напротив маячного здания.

Хорошо, рулевой, хоть и салага, заранее сообразил опоясаться пробковым спасательным жилетом оранжевой раскраски и по вновь натянувшемуся тросу, перехватывая его достаточно крепкими руками, перебрался на буксир. После этого старшина уже со спокойной совестью, строго по инструкции о чрезвычайных ситуациях

в штормовую погоду, поставив на штурвал своего подменного, самолично перерубил топором трос толщиной с взрослое запястье — из пеньки, продернутой стальными проволоками. Затем буксир, освобожденный от тормоза баржи, дал полный умеренный, обогнул Седловатый и взял недалекий уже курс на створы* Медвежьего входного.

Шторм по-серьезному бесился и завывал до следующего утра, но также, как и начался, очень скоро стих. Дождь еще раньше весь с неба пролился. И когда поздно проснувшийся Николка, узнав от матери о баржекрушении и наскоро проглотивший яичницу из порошка и жареную треску с вермишелью, забыв о какао на сгущенном молоке, прибежал к ущелью напротив севшей на скалистый выступ-утес, теперь уже полузатонувшей баржи, то там уже вовсю стар и млад собирали трофеи, выкинутые от щедрот баржи и морского бога Николы на берег. Вообще говоря, лучшего места посадить баржу на мель с восточной стороны острова и выбрать нельзя: весь этот берег, в отличие от западного, отделенного узким проливом от материка, скалистый, да еще и обрывистый. И только напротив одиноко торчащей из воды скалы, как раз напротив того места острова, где маячная горка полого переходит в срединную низину, скалы расступаются ущельем метров на двадцать, и в этом месте в залив течет единственный на Седловатом ручеек, что начинается

* Треугольная досчатая пирамида (навроде нефтяных вышек), покрашенная в черно-белый цвет, обычно с фонарем на острие верха.— Прим. авт.

от седалинского «поля» и огибает маячную горку. Впрочем, течет он только весной — от таяния снега на горке — и осенью от дождей, стекающих все с той же горки. Зимой до неглубокого дна промерзает, а летом высыхает. И вообще он такой крохотный и незавидный, что даже любящая нереститься в небольших речках и ручьях семга брезгует им.

А вторая «удача» — штормило с норд-оста, так что все добро, не успев как следует промокнуть и пойти на дно морское, и выбросило на пологий, как пляж, галечный бережок ущелья. Да еще и утренний отлив — а отливы-приливы здесь очень высокие — обсушил то, что волны не осилили выкинуть на сушу.

Понятно, что ни у кого из маячников даже мыслишка не пошевелилась: пригнать из Меловой бухты моторку, или обогнуть остров с севера на своих «двойках», и взять что приглянется с баржи. Ибо действует неписаный закон для таких случаев: взятое с плавсредства, пусть даже сидящего на мели и полузатопленного, — это мародерство и грабеж госимущества, тем более флотского, а все что море выбросило на берег, то бог Никола уже самолично списал со счетов флотского интендантства по графе «безвозвратные потери, вызванные кораблекрушениями, запротokolированными штормовой комиссией». Или что-то в этом роде. Формулировку и без того занятый своим обширным океанским хозяйством Никола великодушно предоставляет поставленным на то служивым людям. Исключением являются только выброшенные штормом на берег боевые и учебные мины и торпеды, коль скоро они не разорвались, любое другое

военное оружие или части его, вахтенные корабельно-судовые журналы, флаги и гюйсы кораблей, опознанные членами экипажей (если они не потонули сами) и судовых команд личные вещи. Все это подлежит возврату или уничтожению. Опять же с протоколом. Это Николке отец растолковал еще на Палагубском, когда тот нашел на берегу — тоже после шторма, впрочем здесь, на входе в губу Пала и Екатерининскую гавань Полярного, совсем несильного — маленький, даже ему под силу, еще даже не совсем пятилетнему, фибровый чемоданчик, обклеенный коричневой клеенчатой материей. Чемоданчик уже подсох, но был заперт на замочек-пряжку. Отец его открыл булавкой, вынул содержимое: новую мужскую рубашку из шелковистой ткани, пару тоже новых носков с комплектом резинок-подтяжек*, мужские же трусы и майку — все новое, ненадеванное, флакон одеколона «Шипр», несколько промокших пачек папирос «Казбек» с форсисто откидываемой при закуривании крышечкой... и кожаный бумажник с длинными сторублевыми бумажками. «Ого,— сказал отец весело,— прямо моя полуторамесячная получка!»

Как истовый потомок староверов, все носильные вещи он тут же сжег в печке, несмотря на робкие возражения матери, что, может, Юрке с Толькой по размеру подойдут, а бумажник из очень красивой, тисненой кожи вместе с деньгами спрятал в своем личном, флотском

* Кто помнит, тот знает, как закрепляли мужчины на икрах ног тогдашние фабричные носки без продернутых в них резинок.— Прим. авт.

рундуке. И лишь когда прошла неделя, мать и другие маячники побывали в Полярном и никаких слухов об утопленниках или еще о чем-то неприятном не привезли, отец достал бумажник, деньги отдал на хозяйство матери, Николке распорядился выдать банку сгущенки и пачку мягкого магазинного (на маяк в паек выдавали галеты и твердое, почти не сладкое печенье) печенья «Привет», а сам бумажник включил в реестр личных вещей, наряду с одеждой, ружьем, собственной обеденной тарелкой, ложкой, вилок и стаканом тонкого стекла в узорчатом подстаканнике. «Хорош папаша, лопатник-то прикарманил», — тихо завидовал Толька. А отец объяснил всему семейству, что, раз никаких происшествий на море не случилось, все живы и в недельный срок никто и нигде претензий в устной или письменной форме не заявлял, то право на владение бывшим личным имуществом переходит к нашедшему. Тут он, посмотрев на Николку, несколько смешался, но выправился: «... к нашедшему утерянную вещь, либо же, ввиду несовершеннолетия, к его родителям».

И еще отец, поразмышляв, сказал: «Судя по отсутствию в чемоданчике уставной нижней одежды и дурацкой привычке не носить бумажник во внутреннем кармане кителя или... как это, да, пиджака, а класть его куда ни попадя, бывший владелец человек не военный, а, скорее всего, командированный в Полярный на судоремонтный завод штатский инженер. Небось, когда катер, на котором он добирался до завода в Пала-губе, слегка потрянуло на трех-четырех баллах, так сдрейфил и выронил рундук свой за борт».

Сказав же, совсем успокоился и с чистой совестью распорядился деньгами и бумажником.

...Много чего трудолюбивые маячники насобирали в тот день из бывшего флотского имущества и разнесли по домам, усилив свои казенные пайки. Словом, Акуля скала, так иногда называли ту торчащую из воды каменюку, на которую села баржа, и ручеек с пологой галечной бухточкой, которые словно в насмешку над ними звали Семужьими (может и заплыла по весне в ручей явно свихнувшаяся семга-недомерок?), задала маячникам приятных хлопот.

На берег выбросило смывтое с палубы баржи и кое-что выбитое волнами из развороченной ее кормы. Что-то попортилось, но флотский продукт на всякий случай и опять же по регламенту всегда хорошо упакован. С сожалением хозяйственные Федоров и Седалин пинали картонные ящики с макаронами и пиленным сахаром. Но ведь еще больше навалило на берег в жестяной таре, упакованного в вощеную бумагу и проптаный чем-то водонепроницаемым брезент!

Если не в интернате, а дома находились Юрка с Толькой, то кладовка дома заполнилась бы основательно. Но — глава семьи был на вахте, на Славку рассчитывать рано, сам Николка мог нести по силам, а что покрупнее доставалось на долю матери. Хорошо, младенец Сережка крепко заснул после утренней кормежки.

Народ взялся дружно. Известно, что дармовое руки тяжестью не тянет, но и не любит неторопких. То есть уже через два неполных часа из съедобного на берегу Семужьей бухты остались только ящики с насквозь промокшими, испорченными морской водой макаронами, гале-

тами, сахаром и пара мешком со слипшейся мукой. Все это хотели было снова побросать в воду — для прикорма трески, которую можно будет в этом месте ловить даже не на червяка, а на поддев*, но Федоров остановил:

— Погодь, рыболовы! Седни к вечеру, а может завтрева к утру интендантская комиссия активировать прибудет, так что ящики и мешки пусть побудут на берегу, а то забубнят: растащили, мол, все маячники. А так — пожалте вам! А уедут, тогда и побросаем.

Пришедший к вечеру с вахты отец, любивший аккуратность и точность во всем, одобрил поживу и записал на листке бумаги реестр: «Ящик с печеньем (не промокло, поскольку внутренние стенки были выложены воощенкой) — 1; сгущенка в трехлитровых жестяных банках — 3; тушенка в жестяных банках разного веса *нетто* — 21; консервы рыбные разные — 44; консервированные колбаса и сыр с тмином — 29; колбаса сырокопченая в палках — 12; сухари ванильные в рогожном куле — 1; варенье (джем) в трехлитровых жестяных банках — 2; лук и чеснок (не сушеный, натуральный) россыпью — 11 килограмм...» Далее шло скрупулезное перечисление по мелочи, а список завершался ликующим, что почти явственно было видно из залихвастски-размашистой строки: «...икра красная, лососевая в пятилитровых банках — 1». Но цифра «1» получилась криво-

* Обычно на поддев ловят со шлюпки, отойдя от берега: это когда треска идет густым косяком, то есть ритмично дергают леску с тройным крючком, залитым в свинцовое грузило. Дерг-дерг, и поддепишь рыбину под брюхо... — Прим. авт.

той — отец видимо сожалел, что всего одна банка... Икру отец очень уважал, а Николке она не нравилась еще с Палагубского: ввиду близости Полярного маячники часто туда ездили в магазины, и мать по заказу отца привозила папиросы, китайский чай в жестяных коробках и красную икру в стеклянных баночках. Иногда и черную. Николке она тоже не нравилась.

...Николка, как только утром прибежал на заваленный дарами моря берег Семужьей бухточки, сразу отметил с десятков тюков прессованного сена; в сравнении с их огромностью и прямо-таки на глаз ощутимой тяжестью все остальное, съедобное казалось мелким мусором, усеявшим белесую гальку, в полный отлив на пять метров удлинившийся берег в сторону залива. И еще его заинтересовал взгляд, которым Федоров долго и пристально смотрел на Седалина. Как ни мало Николка еще умел читать по глазам, но уловил в федоровских прищуренных гляделках одновременно подозрение, недоумение и что-то очень похожее на страх и... уважение. Словно глаза говорили: ну, Косой, и дел ты натворил! И сам Колун, или Кабан — у Федорова было целых два прозвища за глаза, все же начальник — не выдержал:

— Ты... Степан, того, а?

— Чегой того, Михалыч?

— Не ты ли накаркал баржу посадить на Акулю? Вот коровник начал строить и уже полгода всем жалуешься: где сена взять? Чем корову кормить? А?

Седалин и сам перепугался было, но скоро пришел в себя:

— Как партиец партийцу говорю: ни сном,



Лопарская ставка и рыбная ловля

ни духом не помышлял я. И вот Шулейка на прошлом политзанятии про атеизму эту рассказывал...

При упоминании фамилии черномундирного политотдельца и Федоров пришел в себя, даже сплюнул досадливо в левую сторону:

— Шучу я, конечно. Так что, Степан, с сеном тебя! Если будущая твоя корова будет жевать подсоленое, то на год с гаком хватит! Поллитра с тебя за удачу!

— Две обществу поставлю с закуской, если помогнут сегодня, до прихода интендантского катера, переволочить тюки к коровнику, с лишнего глаза подальше, — Седалин уже хозяйски пару раз ткнул кулаком в ближний к нему тюк, — нет, только с самой наружности чуть подсолилось, а вглубь не протекло. Чтобы такой плотный тюк весь вымочить, нужно неделю в воде держать. Я знаю, на Абрам-мысе еще до войны Самопальников Егор два тюка выловил, так корова за милую душу всю зиму хрумкала.

— Да, это ты правильно про схорон сообщил; сено в тюках не макароны, интендантские и сами не дураки, могут описать и забрать. А как их таскать? Они ведь с кубометр, неподъемные... Вот что, идите с Гусаровым за тележкой ремонтной дизельной, а до коровника твоего тут как деревенский проселок. А пока будем возиться с тюками, пусть бабы с ребятами трофеи разбирают и по избам растаскивают. Думаю, не подерутся от своей жадности. Да, за тележкой пойдете — кликните сюда Трофима, он подвахтенный, Андреян один обойдется, а тот и на погрузке подмогнет — руки у него не как ноги, сильные. А заодно и за бабами при-

смотрит, если сцепятся из-за неподделенного. На всех хватит.

С тюками управились тоже быстро. Сложили их на седалинской новостройке под нависавшей скалой маячной горки, закрыли большим куском брезента от дождя и дурного глаза, завалили со стороны тропки от пирса Языковой бухты к лестнице на горку досками, горбылями, бревнами, из которых мичуринец городил коровник, целый год вылавливая их после штормов и подбирая выброшенные на берег.

...Впрочем, зря осторожничали. Неторопко прибывшая на следующий день интендантская комиссия с каким-то военным судейским в ничтожном чине не сходила с катера, который подошел к полузатопленной барже, а потом ткнулся пирсом в гальку Семужьей бухты. Старший велел Федорову забраться на борт, задал несколько вопросов о времени крушения, видел ли кто, как все было? Федоров приблизительно назвал время, а от свидетельства отказался: мол, ветер был штормовой, дождь хлестал, все по домам сидели, откуда Акуля скала не видна, а маячное здание вовсе без окон, а на его мостик необходимости выходить вахтенному не случилось. Все по рабочей инструкции.

Судейский в малом чине, углядев на незатопленной части палубы баржи несколько тюков сена, поинтересовался: есть ли на острове сельскохозяйственный скот, на что заухмылявшийся Федоров указал на Северко и Облайкина, по долгу своей службы прибежавших посмотреть на чужаков. «Тоже мне, юморист», — пробормотал судейский и потерял всякий интерес.

Федорову дали прочесть и подписать про-

токол, сказали «свободен», после чего катер отвалил от берега и взял курс на юг, на базу. Они тоже хорошо знали морские законы о разделе собственности...

— Не до баржи им сейчас, — сказал Федоров Седалину, пришедшему с ним встречать катер, — такая сейчас круговерть у начальства после смерти Иосифа Виссарионовича идет, что... Э-эх, — махнул рукой.

В тот же день Седалин на проверку солонности распаковал, то есть ножницами по металлу срезал проволочную оплетку, один тюк и распотрошил сено. Из тюка образовался целый стог в полтора взрослых роста. Седалин самолично жевал пробы сена и остался доволен: «Ни хрена не промокло!»

Через пару дней семейство Андреяна, захватив в Полярном из интерната Тольку, отбыло в двухмесячный отпуск на Большую землю.

НИКОЛКА И МЕЛОВОЙ ПЕРИОД

Солнце над миром и островом Седловатым высоко уже поднялось. Начиналось обычное в конце июля марево: на небе ни тучки, но потеплевшее в зените лета море при полном штилевом безветрии много воды испаряет. Николка сразу представлял морозный зимний день. Мать, перестирав и отжав на кухне белье, вынесла таз с ним на улицу и направляется в холодную, нетопленую баню, чтобы развесить его для просушки: можно, конечно, и на улице, как летом, на веревке, растянутой между стенками сарая и дома,

но вдруг налетит ураганный ветер? И вполне может переломать остекленевшие на улице простыни. А потом отец при его повышенном стремлении к чистоте вообще не одобряет вывешивание белья на открытом пространстве. «Такие они, из староверов которые, чистюли», — не жалуясь, но как-то обреченно говорила мать на Палагубском Катерине — жене брата Мишкó, а здесь сдружившейся с ней Вере Гусаровой.

Поэтому зимой все сушилось в предбаннике; белье также стеклянно замерзало, наутро мать его осторожно стаскивала с веревки и несла плоские полотнища в дом, где они скоро оттаивали.

Но Николка вспоминал в такой день с ма-ревом именно тот момент, когда мать, широко распростертой правой рукой прижав большой таз к боку, сама одетая в фуфайку, шла недолгий путь от домово́й двери до совсем близкой бани, а из таза с отжатым, но все равно мокрым бельем плотной и широкой, в размер таза, струей дымился белесый пар.

Вот такой-то пар, только во все бесконечное небо, поднимался невидимым от зеркальной глади залива, а уже на немыслимой высоте становился тонкой, светло-серой мгой, в которой даже доселе яркое, золотом слепящее, как отцова английская гинейя с профилем короля Георга, когда тот ее раз в год начищал влажной тряпочкой, посыпанной содой, солнце становилось ярко красным, немного тускнело и по краям размахивалось. На такое солнце уже можно смотреть, даже не очень сильно щурясь. И интересно становилось Николке: эти разлохмаченные края красного диска струились и как будто

постоянно отрывались и, тотчас потухая, становились невидимыми глазу.

Видно, марево утомило маячников, толпившихся вокруг коровы. Тем более, что Глаха завела ее в коровник, задала ворох сена, а сама поспешила домой за каким-то пойлом и чистой водой. Это она объясняла расхोдившимся бабам и мужикам. И ребятня потеряла интерес. Словом, Николка скоро остался один около коровника и седалинского поля.

Знаменитое это, прославленное *самим* Шулейкой, поле, теперь обок коровника, располагалось как раз на полпути от пирса к лестнице на маячную горку и упиралось в отвесную скалу этой горки. Сам Седалин охотно пояснял еще не соскучившимся собеседникам: «Лучшего места на острове для грядок не найти. — И дальше деловито перечислял, загибая заскорузлые, крючковатые пальцы. — Во первую статью, скала эта смотрит ровно на южную сторону, а потому с весны по осень быстро нагревается низким солнцем, что в упор в нее бьет. А потом теплом этим как бы сверху покрывает землю. Во вторую же статью, самая скала напрочь закрывает грядки от норда и, особенно, от норд-норд-оста, самого весной и в начале лета зловредного ветра. Особенно если он с дождем — так скала закашивает дождь и тот проливается уже за грядками; потому я их и устроил впритык к ней и вдоль. В третьей же и в главной, едрень ее фень, место здесь сухое, вода от таяния и дождей не застаивается, потому как подошва под землей — не гранит, а известняк рыхлый. Он воду-то и впитывает как мочалка банная».

На вопрос же Федорова или того же Гуса-

рова (Андреян же и Трофим Матронин, на все имевшие свое мнение, помалкивали): откуда потомственный, тундрово-оленный лопарь знает такие тонкости колхозного сельхоздела, Степан пояснял, что и в Монче-тундре, пока мужики олешек по ягелю гоняют, бабы и дети тоже ковыряются в земле.

...Когда Николкино семейство прибыло на Седловатый, Седалин уже окучивал свои грядки не первый год. Но по разговорам взрослых, от все знающих Юрки и Тольки, от Васьки и Таньки седалинских, он знал, что раньше на этом пятачке размером вширь в два Николкиных роста и вдоль скалы в полтора десятка его же шагов произрастал мелкий вереск на тонюсеньском слое слежалого торфа. И как-то Косой, Глаха и совсем еще малый Васька все лето лопатами счищали этот торф с вереском и выбрасывали за тропинку от пирса к лестнице на горку. А затем на тачке-самосвалке Степан возил более или менее легкую торфянистую землю, вырывая ее из давно высохшего болотца между озерами Гусиным и Торфяным, что на полпути от Николкиного дома до Южного мыса — окончной точки Седловатого.

Землю эту он сгружал и разравнивал на очищенной площадке будущего поля: белесой, известково крошащейся. До следующей весны земля эта, как важно говорил Седалин, «лежала под парами». А потом он начал первую пахоту, отформовав четыре просторные грядки, тянувшиеся вдоль отвесной скалы маячной горки.

Для пробы на двух грядках он посеял брюкву; по одной отвел на капусту и свеклу. Свеклка выросла к осени мелкая, но съедобная, а

капуста вся «ушла в трубу». Чуть лучше удалась, но уже на следующую осень, двухлетняя брюква. Кстати, когда на острове появились ташкентцы Гусаровы, то южанка Вера с интересом приглядывалась к брюкве: «А у нас такой же выращивают; но не корешки, а вершки: рапс называется».

Уже после приезда Андреянова семейства на Седловатый Седалин и вовсе крохотную тепличку соорудил на своем поле, а также с трех сторон, впритык к скале, но с калиткой для входа, сгородил оградку — от собак, ибо Северко и Облайкин полюбили было греться на солнышке, развалиясь на грядках, и обкусывать проросшие лепестки. Явно для здоровья и витаминизации своих организмов, как пояснил тогда Николке отец.

Николка, собравшись уходить с недавнего толковища, все же решился заглянуть в не затворенную Седалихой дверь. С солнечного света он поначалу ничего не мог разглядеть, но скоро глаза попривыкли. Телка успокоилась, прилегла в своем закутке и жевала сено. Увидев по тени любопытствующего в проеме двери, она на минуту перестала равномерно двигать друг относительно друга губами, задумчиво посмотрела на Николку и, вроде как уже знакомому, коротко мыкнула.

Николка созорничал и тоже промычал. Телка несколько неодобрительно покачала головой, дескать, нехорошо, мальчик, дразнить беззащитное животное, потеряла интерес к Николке и снова взялась за траву.

Почувствовавший некоторую неловкость Николка вышел из дверного проема, уступив

это место Северку и Облайкину, что на всякий случай поджав хвосты, уселись перед самым порошком, осторожно внюхиваясь, протянули морды в темноту хлева. Тоже прибежали познаться с новым членом смешанной стаи острова Седловатый, но, будучи поумнее Николки, дразнить корову не намеревались. А тут и Глаха с двумя ведрами поспешили, незлобиво шуганула собак и скрылась в коровнике.

Николка же поспешил, как еще вчера наметил в диспозиции на сегодня, на ближний, в двух минутах ходьбы, мыс, разгораживающий Языковую и Меловую бухты. По пути присоединились Северко с Облайкиным, обидевшиеся на Седалиху. Впрочем, без того постоянные спутники островной ребятни. Потом хитрецы прекрасно знали: у того же Николки в кармане всегда имеется что-то съедобное. Они редко ошибались. На то им природой нюх особенный дан, не как у людей... и коров тоже.

Впрочем, он настолько привык к постоянному сопутствованию Северка с Олайкиным, что особого внимания на них не обратил, ибо управляло им сейчас совсем другое: мыс Меловой бухты. Именно Меловой, а не Языковой, хотя вроде бы принадлежал обеим. Но Языковая — обычная, гранитная, как и все на острове, а Меловая с мысом совсем особенная. Во-первых, сама бухта пологая даже в самый большой отлив, что-то навроде песчаного берега на реке Упе в отцовой деревне Дворцы, где Николка совсем недавно с утра до вечера купался и загорал. Но только здесь не песок речной, а мелкие, этакие чешуйчатые, размером с трехкопеечную монету, кипенно-белые плоские

камешки — не гранитная галька, как в Семужей бухте. Кстати вспомнилось: баржу, севшую на острый выступ Акульей скалы и обеспечившую седалинскую корову сеном на год вперед, по возвращению из отпуска он уже не застал. Ее, как рассказали маячники, буквально через несколько дней, не дождавшись обещанного судейским чином прихода уже самоходной баржи для перегрузки содержимого трюма, стащило со скалы и надежно утопило на глубоководье в последний, короткий майский шторм.

Узнав это, отец хмыкнул: «Что принадлежит Посейдону, на то не может посягнуть даже флотское интендантство». Про Посейдона Николка не понял, но мысленно пожалел: сколько же там трехлитровых жестяных банок со сгущенкой пропало? Пожалел не от жадности, которой у него уже — или еще — не было, но скорее сочувствуя словам матери: «Ой, горюшко-то, сколько добра пропало зазря... Ребятам бы сгущенки и печенья вволю на год, а то и больше хватило».

...Во-вторых, хотя и общий, но мыс между бухтами тоже не из целикового гранита, иначе бы он так не оброс плотным курчавым вереском и вороничником; гранитные береговые скалы, на которых торф не держится, либо совсем голые, если на подветренной, штормовой стороне острова, или же покрыты серо-зелеными, ломкими чешуйками совсем не живыми. Хотя и знал со слов взрослых и старших братьев, что это такой особый, гранитный мох-лишайник. А в отлив боковины мыса, лишенные растительности, смотрятся тоже не отшлифованными волнами прибоя гранитом, в чем-то выщербленным, белесо-грязным.

До сей поры Николка, понятно дело, и не задумывался: из чего состоит этот мыс? Но позавчера он увязался за Толькой в Меловую бухту на утренний бой острой камбалы. Тот был в хорошем настроении. Сам подцепив пару крупных рыбин, великодушно передал острогу брательнику, затем присел на берегу на какой-то деревянный ящик, давно уже вынесенный в прилив водой, закурил папиросу из заторканной пачки «беломора», явно сэкономленной из отцовых запасов и уже пару дней носимой в кармане. С удовольствием пуская в свежий утренний воздух белесый дым, он поучал Николку в рыболовном деле: «...Ты не суетись, как солдат за битьем вшей. Отойди от берега на столько, чтобы сапоги на треть голенища над водой оставались; так не зальешь в них, когда наклоняешься, и дно как на ладони... Вот-вот, теперь замри, а пику-то держи, опустивши острие на ладонь в воду и осторожно, без всплесков води перед собой вправо-влево. А сам внимательно смотри на метр-полтора перед собой и вбок, опять же вправо-влево. Как заметишь плоскую тень — не раздумывай, бей пикой. Да ее-то не вынимай для размаха, а просто цель в середину и обеими руками надавливай. Ты, конечно, салага еще зеленый, но через год-другой приносишься. Учись, пока я флотским не стал!»

«Новичкам везет,— ухмыльнулся Толька, перебрасывая папиросу ухарски из одного угла рта в другой, умудряясь при этом сплевывать, когда Николка подцепил-таки средних размеров камбалину,— это как в карты. Ладно, побаловался и хватит. Дай-кось я делом займусь!»

А возвращаясь с рыбалки домой, Толька

сообщил, что когда они уже *убыли* в отпуск, в тот шторм, что баржу с харчами с Акульей смыло, видно сильной волной вдарило и по мысу у Меловой бухты. Да так вдарило, видно, не один раз, что сорвало на самой верхушке вороничник. «Ты сходи, посмотри, там интересно, что обнаружилось. Я уже лопаткой саперной поковырял».

...Вчера у Николки были другие заботы, а вот теперь самое время посмотреть это самое интересное.

Действительно, на самой вершине мыса, но ближе к крутому береговому спуску, волной как будто срезало тонкий слой слежалого торфа с вереском и вороничником, обнажив на площадке размером с обычную домовую дверь белесую каменистую основу мыса. А вот и Толька где ковырял своей знаменитой саперной лопаткой, обмененной, по его словам, в Полярном у солдата-чернопогонника, то есть стройбатовца из среднеазиатов или латышей, на бювар для дембельского альбома. Толька же и объяснил: что такое бювар, который он, в свою очередь, позаимствовал со шкафа в кабинете директорши интерната: «Нас с пацанами постарше завхозиха послала занести с улицы новый шкаф в кабинет, а прежний, старый перетащить в комнату для классных занятий. Когда его наклоняли для проноса в дверь, то бювар этот бархатный, весь в пыли мне на башку свалился. А завхозиха сначала обеспокоилась, потом посмеялась и отдала мне его: дескать, г... не жалко, бери!»

И действительно, было чему удивиться: при ближайшем рассмотрении эта площадка оказалась неровной, какой-то шербоатой, а белый ка-

мень легко крошился не только могучей Толькиной саперкой, но и его, Николки, перочинным ножиком. Но самое интересное: при ближайшем рассмотрении оказалось, что выковыриваемые камешки содержат в себе сохранившую свою форму и даже самые тонкие рисунки обычных, хорошо ему знакомых ракушек, винтовых улиток... И совсем Николка задумался, рассмотрев на поверхности мысовой скалы вполне четкие контуры морских звезд, ежей и даже что-то похожее на клешни краба. Но главное — эти выкорчеванные рисунчатые камешки оставляли на одежде, на черных штанах из чертовой кожи, даже на тыльной стороне ладони жирные белые линии: совсем как привозимые старшими братьями на каникулы школьными мелками.

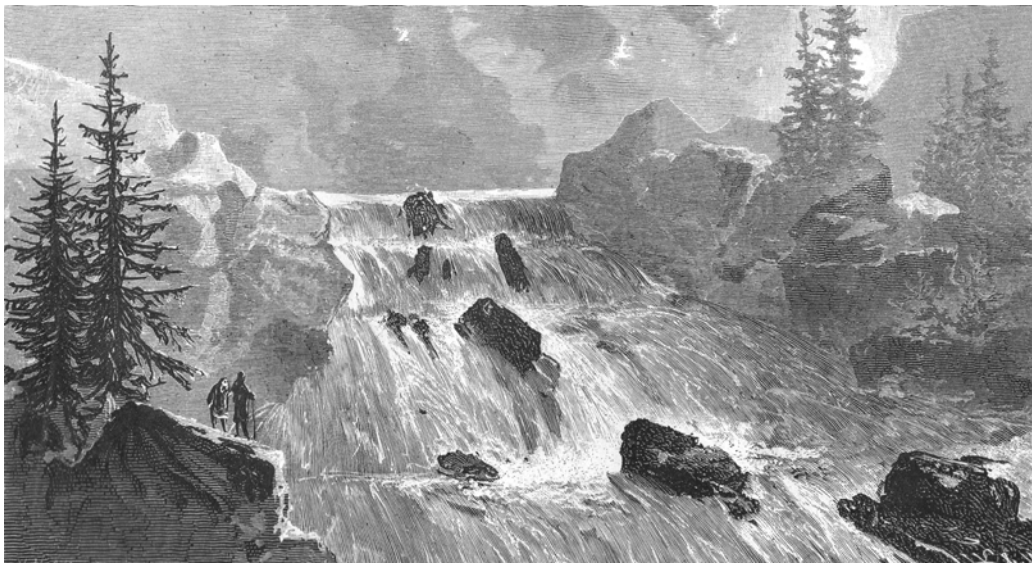
Только сейчас Николка явственно сообразил: почему бухту называют Меловой. Правда, камешки в самой бухте были обкатаны волнами, миллионы (Николка не представлял себе это число, только догадываясь о его неисчислимости) раз вымочены соленой водой и столько же раз высушены летним солнцем, а зимой проморожены, поэтому бело-серую черту, и то слабо видимую, они оставляли только на граните. А эти?

И вообще здесь, на верхушке мыса, представлялось Николке, что все эти ракушки, морские звезды и ежи, копошащиеся крабы и еще какие-то, неизвестные ему мелкие морские твари в незапамятные времена зачем-то собрались в одну большую кучу размером с нынешний Меловой мыс, в этой куче-мале передавили друг друга и задохнулись. За долгое полярное лето солнце высушило их останки, а затем что-то пролилось с первобытного неба, что-то гус-

тое, белое и вязкое — навроде овсяного киселя, что варит мать. И как этот кисель, разлитый матерью в миски и вынесенный для сохранности зимой в тамбур входной двери, где отец сгородил с левого торца полки, уже к утру следующего за варкой дня застывает до ледяной твердоты, так и это пролившееся с неба застыло, заполнив все свободные места между скорлупками и высохшими, окаменевшими щупальцами и клешнями...

Николка продолжал отколупывать своим перочинником все новые и новые меловые отпечатки совсем уж диковинных древних обитателей моря, но совсем не удивился, когда за его спиной послышалось хорошо узнаваемое покашливание Трофима Матрони́на, к появлению которого на мысу почтительно встали доселе прилегшие на солнышке Северко и Облайкин. Ибо Николка, копаясь в мягком известняке, боковым зрением видел, что Трофим после выгрузки коровы и препровождения ее в хлев поправлял прохудившуюся опору-треногу под телефонный провод, за который он сам взялся быть ответственным.

Эта опора, прямо после лестницы с маячной горки, напротив Мелового мыса, уже с позавчерашнего дня лежала на боку: одна из ее плашек оказалась бракованной, то есть с сучком во всю небольшую ширину-толщину, и, простояв положенное ей время, сама по себе, под тяжестью провода переломилась на этом сучковатом месте. Николка сам внимательно осматривал упавшую опору и понял в чем дело. И вот сегодня, пользуясь невахтенным днем, Трофим принес заранее подобранную деревяшку, скоренько при-



Водопад на реке Тулеме

ладил ее заместо сломавшейся, а затем от нечего делать и хорошей, теплой, ровной погоды заинтересовался группой на мысу: Андреяновым средним сыном и общественными собаками.

— Что, Николка, раскопками занялся, а? — Трофим поднялся на горку мыса. В это время Николка как раз, посапывая от натуги, выковырнул своим ножиком камень размером с ладонь с четким рисунком небольшого краба.

— А это, дядь Трофим, штормом весной размыло...

— Знаю, знаю, уже бывал здесь и даже парочку вот таких же «портретов» к себе домой забрал. На память о Седловатом и меловом периоде. Специально почитал о нем. Да ты, кажется, ее рассматривал у меня — которая с ящерами и динозаврами. Помнишь?

— Ага, помню. А что такое меловой период?

Трофим присел на корточки, поочередно брал в руки и с интересом рассматривал отобранные Николкой камешки.

— В школе, а если затем в каком-нибудь специальном историческом или что-то навряде институте будешь учиться, подробно все узнаешь. А вкратце, так сказать навскидку, дело здесь в следующем. Много-много миллионов лет назад климат по всей Земле был теплым, льдов на полюсах — в Арктике, что почти наши места, и в Антарктиде — не имелось, поэтому уровень мирового океана был намного выше. Настолько выше, что почти вся нынешняя земля-суша планеты находилась под водой. И наш остров также. А раз климат теплый, вода тоже теплая, то и всякие организмы морские, особенно такие простые, как улитки, устрицы

разные, ежи и звезды, очень быстро размножались, существовали огромными колониями, а когда умирали, то панцири, скорлупы, клешни — все скапливалось, слой за слоем, на дне, образуя многометровые захоронения, а нижние слои под тяжестью более верхних спрессовывались, окаменевали.

— Как же все это над водой поднялось?

— А ничего и не поднималось. Просто то ли Земля начала остывать, а может и солнце не так ярко светить — сами ученые еще не разобрались, — но только в те же далекие времена температура воздуха и воды очень упала, а на полюсах и вовсе сплошные морозы пошли. Как бы тебе, Николка-дошкольник, объяснить... Вот ты обратил внимание, как в самом начале зимы озера наши замерзают, тем более Гранитное и Гусиное в двух десятках метров от твоего дома?

— Ну-у, сначала у берегов лед появляется, а потом лед от них в середину озера бежит.

— Вот-вот, а вода-то из центра навстречу льду и под ним бежит к берегам. Хотя это на глаз неприметно. Берега гранитные, они в первую очередь на минусах охлаждаются, а от них и вода начинает замерзать и немного над уровнем воды лед поднимается — он по объему больше, чем такое же количество воды. Поэтому озеро как бы вверх по центру выгибается, вода подтекает к берегам, там замерзает. И так до тех пор, пока лед все озеро не покроет.

Также и с Землей было при том великом охлаждении: самые морозы на полюсах, северном и южном, они и оттянули много воды из Мирового океана и заморозили ее, особенно в Антарктиде, где суша есть: там лед в несколько кило-

метров толщиной! А раз вода туда ушла, то мелководья, навроде нашего острова, из-под воды и вышли. Всякие же ракушки за миллионы лет, оказавшись на суше, спрессовались и — вот они перед тобой, мной и Северко с Облайкиным.

Услышав свои имена, собаки приветливо помахали хвостами и даже вроде как кивнули мордами в сторону Трофима.

— Дядь Трофим, а до полюса от нас далеко?

— Да знаешь, не очень-то. Вы вот своим семейством в отпуск куда, в Калугу ездите? Ну да, в те места. А они чуть подальше, чем от Седловатого до Северного полюса. Знаешь, Николка, а ведь вот от нашего острова, если стать на самом кончике Носового мыса, до самого этого полюса только вода и не единого сухого места! А? Прямо дух захватывает, как подумаешь об этом. Вот сидишь, к примеру, ты на Носе, на самом острие, на том камне, с которого треску ловишь, а чеботы твои аккурат в двух десятках сантиметров от водицы. И если мысленно, как говорят учителя математики в школе, провести вдоль поверхности моря прямую линию от носков твоих обуви, то она побежит по воде, если погода, как сегодня, штилевая, то есть волны ее не искривят, на выход из Кольского залива, оставит слева остров Торос, где батя твой в войну служил, а справа и вовсе залив уже закончился, а берег резко отвернул в сторону Кильдина и мимо него вдоль Кильдинского пролива. А слева от той мысленной линии все еще на десяток миль без малого берег тянется: Лодейная губа, маяк Сеть-наволок... Затем и он влево отворачивает к полуост-

рову Рыбачьему. И дальше эта линия со скоростью пассажирского «Мурманск — Ленинград», когда он мчится по прямой восемьсот верст по карельской тайге, минует Баренцево море, незаметно для нее самой втекает в Ледовитый океан... Вот уже одиночные льдины появились — они! На пару метров вверх подпрыгнула линия, и вот уже она несется наперегонки с морозным ветром над сплошными льдами, на ходу молча приветствует полярников плавучей станции «Северный полюс» и тотчас упирается в условную ось вращения Земли; это и есть полюс.

— А дальше, дядь Трофим, куда линия тянется?

— Дальше, Николка, ей политотдельский подполковник Шулейка запрещает: так и до границы враждебной добежать можно, до Канады и, аж страшно вымолвить, до империалистической Америки, до Нью-Йорка и Вашингтона, где генерал Эйзенхауэр ядерной дубинкой размахивает. Так Борис Никифорович на политзанятиях говорит.

Заслушавшись слов Трофима, необычно мягких, неторопливых — обычно же Матронин, особенно со взрослыми, разговаривал кратко, скоро, даже с какой-то обидой на весь мир, — Николка и сам присел, но не на корточки, как Трофим, а на курчавый вереск, что шторм не содрал с верхушки мыса. Даже чуть прикрыл глаза. И тотчас, в мыслях своих вторя словам собеседника, явственно представил, нет — слышал тихий-претихий шумок штилевого моря, что с мягким плеском, безволновым, а как кисель в стронутой с места миске качающийся, набегает на ровно уходящий в воду принизок

Носового мыса. И Николка, так же сидящий на «четвертой точке» на самой узости мыска, вытянув ноги в обуви так, что резиновые пятки ее чуть-чуть, но омываются качающейся водой. И уже явно с недавних слов Трофима чудится: вдоль невидимой нити, протянутой от его ног ровно и прямо до самого таинственного Северного полюса, на него порой налетает ощутимый холодный ветерок — оттуда, от вечных льдов и белых медведей, которых он видел только этим летом в Калуге, в разъездном зоопарке. Но тепло северного лета тотчас съедает этот мимолетный ветерок. И Николка почувствовал слегка знобящий между лопаток, но такой сладкий в груди восторг, что чуть не захлебнулся накопившейся во рту слюной. Он широко раскрыл глаза; уши тоже вернулись к слушанию все говорящего и говорящего Трофима:

— ...А знаешь, мал мой друг, неласково здесь жить вообще-то говоря. Это для тебя, родившегося здесь и еще даже не школьника, здесь все привычно и даже хорошо. Даже в сплошную зимнюю темень, даже в двухнедельные шторма. И небось, когда с отпуска сюда возвращаешься, так и где-то радуешься? Да?

— Ага, здесь комаров нет, мух мало, а жуки всякие страшные только в воде, в Торфяном озере плавают, не лезут на человека. Мне вот как-то ночью в деревне, а мы, ребята, там на полу, на матрасах спим, шубами всякими старыми закрываемся, так вот, дядь Трофим, мне в ладонь червяк большой, гусеницей капустной называется, забрался. Так я так страшно закричал, проснувшись, что всех в избе разбудил, даже петух во дворе, в хлеву закукарекал!

— Ха-ха-ха,— добро рассмеялся, аж слезинка смешливая из уголка глаз выкатилась, Трофим,— кто о чем, а вшивый, как говорится, о бане. Да-а, вот подрастешь и поймешь: на Большой земле приятностей намного больше, чем неприятностей ползающих и летающих. Того же ветра нет, что комаров и мух с берега сдувает, а жукам здесь и вовсе делать нечего: деревьев нет и вообще пригодной для их житья и пищи зелени. А вот взрослым людям, не родившимся и выросшим в этих местах, вовсе неуютно. Исключая пару летних месяцев. Как сейчас.

С другой стороны — сурово здесь, но по своему красиво. И как-то привыкаешь, год-другой прожив. Все же не одни «длинные рубли» здесь держат. Мне вот, например, недолго осталось маячничать и в новые места с охотой собираюсь перебираться; вряд ли сюда и вернусь когда-либо, но знаешь... уже порой и жалко становится покидать эти места насовсем. Главное, всю жизнь наш Седловатый, сегодняшняя седалинская корова, вот эти друзья, Северко и Облайкин, ты, Николка, конечно... даже подполковник Шулейка, хохол хитрющий и себе на уме,— будут как живые в памяти храниться.

И вдругорядь (или показалось Николке?) слезинка набухла в уголке глаза Матронины.

— Ладно, проехали. Везде хорошо где нас нет. И ты подрастешь, в школе поучишься, а придет время — и переедет Андреяново семейство в ту же калужскую деревню. Перестанешь жуков и гусениц пугаться. Привыкнешь и к мухам-комарам. Ну, ладно, помечтали и баста. Пойду домой; у меня по расписанию сегодня главу по физике проштудировать следует. Да и

чай пора пить. Ты как-нибудь заходи, когда свободен буду, почаевничаем сам-друг.

И уже поднявшись с корточек, чуть вспугнув движением прикорнувших под негромкую речь Северко и Облайкина, и намереваясь спускаться по подгорку мыска, Трофим, что-то вспомнив, вновь обернулся к недавнему собеседнику:

— Слышь, Николка, утром по радио, по мурманским известиям говорили: сегодня «Ермак» в открытое море выходит; дескать, с весны на профилактике под Мурманском стоял, а теперь пора и службу служить: льды в Карском море ломать. Так что ты посматривай на залив. Сразу узнаешь по...

— Так я его весной-то уже видел!

— Ну да. Еще раз посмотри, все-таки дедушка ледокольного флота. Прощевай пока, брат!

ДЕДУШКА ЛЕДОКОЛЬНОГО ФЛОТА, ТЮЛЕНИ, КАСАТКИ И КИТ

«Ермака» Николка не только видел перед самым отъездом семьи в отпуск в мае месяце, правда, в ветреную, дождливую непогоду, но много слышал о нем из рассказов отца, который, как он говаривал, ежегодно по два раза наблюдал ледокол с тридцать седьмого года: один раз в год на пути из океана в Мурманск, порт приписки, другой — оттуда на ледовую работу.

— ...И не только наблюдал, — благодушествовал отец, напившись чая свежайшей заварки, остывший и подогретый он не признавал, но

когда служил на Торосе, то впускал-выпускал его в Кольский залив и из него: с «Ермака» мне сигнальщик флажками отмахнет — и я ему «добро» даю на проход. А затем в вахтенном журнале запись делаю: во столько-то с минутами на траверсе СНИС'а* острова Торос курсом норд-норд-ост через район повышенной осторожности плавания прошел ледакольный корабль «Ермак».

— А что такое повышенная осторожность?

— Это как с траверса Тороса на норд-норд-ост выходишь и между Лодейной губой слева и отворотом с норда на ост, в сторону Кильдина, правого материкового берега и далее с пятюк миль есть такой треугольник. Острием на вход в Кольский залив упирается и противоположной стороной на траверсе Кильдина справа и отворота левого берега в сторону Рыбачьего заканчивается. Так в лоции, в разделе прибрежного плавания обозначено. А по сути глубина дна там резко перепадает: от трехсот метров до мелей. Две банки в полный отлив вообще из воды выступают. Опять же туманы самые густые, как всегда бывает при выходе из залива в открытое море. Главное же — там пересекаются все курсы кораблей... и этих судов тоже: входных от оста до веста на полный зюйд — и обратно на выход из залива. Пятачок же маленький, а корабль, особенно если крейсер или подлодка на дизельном ходу, не велосипед или машина легковая, ему для маневра-поворота, огибания на встречном галсе, не кабельтовы — мили требуются!

* Служба наблюдения и связи (воен-морск.).

Недаром опытные мореманы говорят: как вступишь в Кольский залив, так смотри: правильная ли обувь на ногах!

— Это как, правильная? — Николка хитрил, уже знал ответ, но подначивал на рассказы отца, обычно молчуна, но тут разохотившегося под второй заварной чайник, да еще со свежим лимоном, что намерен матери из Полярного привезла.

— Э-э, брат, морское дело дотошности во всем требует, иначе чуть что и камбалу кормить на дно пойдешь. Уже, небось приметил по рассказам, что матросы и старшины на берегу в ботинках шнурованных щеголяют, а на борту, в походе, в шторм тем более переобуваются в яловые сапоги с толстыми подошвами. Флотские же офицеры ходят в ботинках «на резинках» в отличие от пехоты, сухопутных — те в шнуровках только. А отчего так, спроси? — Оттого, что пудовые яловые сапоги удерживают матроса на палубе во время сильной качки или перекачивающих палубу волн в шторм. Это как у водолазов с их свинцовыми подошвами, чтобы от дна не отрываться и не всплывать когда не надо.

Если же, паче чаяния, смочит служивого с палубы, то яловые сапоги сразу намокают, еще тяжелее становятся, к тому же в голенищах просторные. Так что сбросить их, чтобы дальше ногами работать, плыть к брошенному спасательному кругу, дело нехитрое. Командиры же на корабле, офицеры, под тем же богом ходят, и их смыть может. А скинуть ботинки «на резинке» и того проще; этот как ты порой неаккуратно галоши срываешь: носком правой ноги за задник левой... — отец назидательно помор-

щился при воспоминании о такой неаккуратности, — в море это оправдано, а на суше только у нерях!

И возвращаясь к «Ермаку», отец заводил уж совсем пространный рассказ: как построил первый в мире ледокол в конце прошлого века адмирал Макаров, который также очень помог изобретателю Попову ввести радиосвязь на Балтфлоте, а сам погиб в русско-японскую войну вместе с броненосцем «Петропавловск». Кстати, и вместе со знаменитым художником Вережагиным. И уже шестьдесят лет «Ермак» в строю и еще поработает, давая жару новым дизельэлектродным ледоколам.

При упоминании о японской войне Николка мигом вспомнил, как совсем недавно по радио много говорили об этой войне, о геройском крейсере «Варяг». Что это за война? Что за крейсер? Николка тогда было спросил у отца, но тот явно не в духе был: закончился китайский чай, только грузинский в доме оставался. И лимоны закончились. А ждать, пока мать с оказией в Полярном побывает — не терпится. На всякий случай у Тольки поинтересовался. Тот, наоборот, в хорошем настроении находился: случайно нашел куда-то им год назад заныканную десятирублевую бумажку, которую полагал безнадежно потерянной.

— Хм-м, чегой-то заинтересовался? А-а, по радио говорят. Да-да, был такой геройский крейсер. А сейчас исполнилось пятьдесят лет со дня его боя с японской эскадрой. Я тоже эту передачу слушал: этим летом в Москву, в Кремль собрали всех двенадцать еще живых матросов и старшин, участников того боя. Все

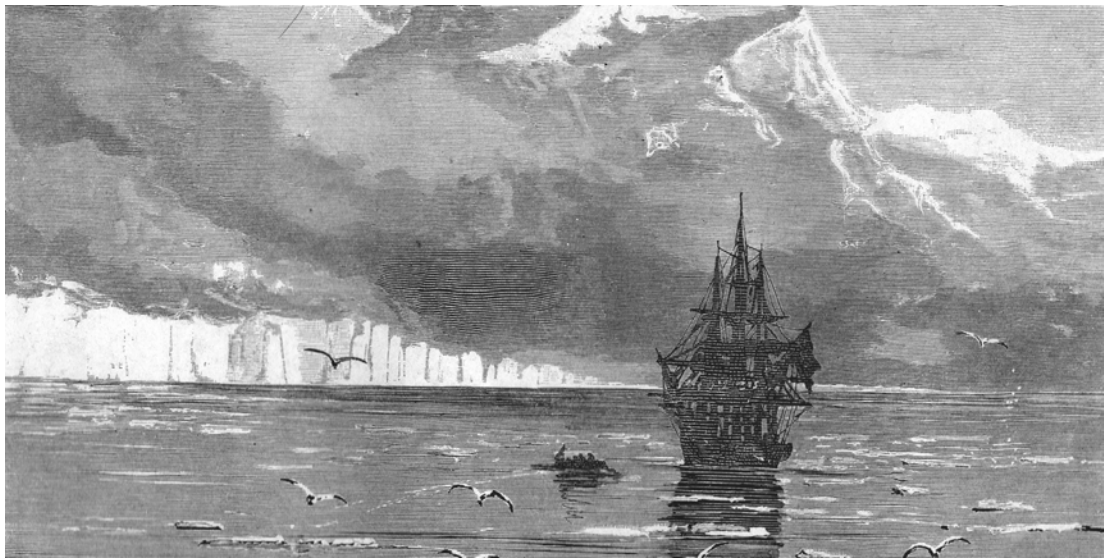
члены правительства и партийные руководители с ними поручкались. И каждому дали по медали «За отвагу»...

— Это как у отца?

— Нет, у него «За боевые заслуги», где пашка с винтовкой перекрещенные, а на «Отваге» танк вытиснен. Так вот, по медали всем дали, а которые партийными потом, после революции стали — еще и орден Красной Звезды. По радио, правда, про партийность не говорили, но Колун-Федоров так считает. Он партейный, ему лучше знать.

А через несколько дней бабы упростили Федорова: мол, в Полярном давно не бывали, кому что купить надо. Словом, сел Седалин за руль моторки и свозил туда и обратно островных женщин за покупками. На радостях отец выдул подряд три заварных чайника китайского цветочного с лимоном, рассказал Николке про «Варяг» намного подробнее. В том числе и о том, что лично знал трех бывших участников героического боя на рейде корейского Чемульпо. Как он сказал: двух доподлинных, а одного сомнительного. Один доподлинный жил в Ленинграде в том же дворе, что и дядька Лазарь, у которого отец с полгода жил, уехав из Калуги, работал электриком, а потом уехал на Волховстрой работать подручным кузнеца. Варяговец же, еще не старый, чуть за пятьдесят, работал каким-то не очень большим инженерно-техническим начальником на Кировском заводе.

Другой доподлинный, но уже в бостоновом костюме, в галстук и шляпе, с портфелем, приезжал выступать в Матросском клубе в Кронштадте, где после призыва на флот отец прохо-



Новая земля

дил учебку. «Бойко, тренированно говорил, все как по написанному в учебнике истории,— по-смеивался, рассказывая, отец,— а потом нам в каптерке наш старшина, сам провоевавший всю Империалистическую на Балтфлоте, дважды тонувший на миноносцах, смеялся: я, мол, этого говоруна уже раз десять слышал. А один раз довелось и в компанию с ним попасть, человек-то он не гордый, так рассказывал навеселе, что как только из японского плена в Россию воротили, так до самой войны они всей командой по стране разъезжали с выступлениями. Везде их как почетных гостей принимали: в дворянских собраниях, в земствах, даже в институтах благородных девиц. От царя всю грудь каждого крестами и медалями увешали. Потом перерыв на Империалистическую, Гражданскую и НЭП, а затем помалу начали снова возить».

...А сомнительный и вовсе в деревне Ново-скаково, что в двух верстах от Дворцов, куда они в отпуск ездят, до недавних совсем пор проживал. С ним уже и сам отец водку пивал. По словам же сомнительного выходило: служил он не собственно на «Варяге», а на канонерской лодке «Кореец», что в паре с крейсером от японцев отбивалась. Но сам он в бою не участвовал, ибо накануне битвы находился на берегу в увольнении, опился тамошней чумизовой и не поспел к отвалу баркаса, что доставлял увольнительных на корабли. В плен он тоже попал, но на берегу, поэтому крестов-медалей не получил, в поездах с зеркальными окнами не разъезжал.

«Вроде не врал,— несколько сомневался отец,— как-то принес в чайную и показывал мне старую фотографию, где вроде как он самый в

морской форменке, а внизу фотографии вытиснено: «Фотографическое заведение Г. Майзура, г. Владивосток» — по старой азбуке написано».

И еще разохотившийся до рассказов отец совсем огорошил Николку, сообщив, что этот самый «Варяг», который японцы подняли со дна в бухте Чемульпо, отремонтировали, включили в состав своего флота, но в начале Мировой войны продали России, проходил мимо их Седловатого и вообще полгода неподалеку, в Екатерининской гавани Полярного, тогда Александровска, на швартовых у пирса стоял. «А пришел он сюда летом шестнадцатого года в качестве флагмана вновь создаваемой флотилии Северного ледовитого океана, — рассказывал отец, — к этому времени железную дорогу через Карелию до Мурманска дотянули, английские суда с грузом и корабли охраны стали туда приходить, значит, и германский флот тоже к северу потянулся. Вот и возникла нужда в северной флотилии — предшественнике нынешнего Северного флота. Впрочем, англичане не пустили германские рейдеры в Норвежское и Баренцево моря, а потому особой нужды во флотилии не оказалось, а «Варяг» отправили в Англию на капремонт и перевооружение. В Петроград нельзя — немцы через Северное море не пропустят».

...Сегодня же погода замечательная, равно как и видимость на море — штилевая; даже легкое марево улетучилось, потому солнце грело ощутимо, ярко, высвечивая на воде залива даже малейшую, случайную рябь: то ли крупная рыба чем-то на поверхности заинтересовалась, а может случайный, заблудившийся ветерок залетел, тро-

нул чуть зеркальную гладь и, нахулиганив, также резко исчез. Значит, и «Ермак» он рассмотрит как следует: от смешного, тупого носа до осанистой кормы, не говоря уже о рубке и трубах.

Николка размышлял: от утренних радиоизвестий, которые слушал Матронин и выслушал про ледокол, прошло уже часов пять — он недавно, в деревне Дворцы, научился понимать длительность времени и выражать ее в часах. Значит и неторопкий «Ермак», ведь не эсминец и не торпедный катер же, вот-вот должен появиться на *траверсе* Седловатого... Николка мысленно поправился: на *траверзе*, ибо отец не раз и не два назидательно поправлял его: «Флотские слова требуют правильности произношения — не траверса какая-то, а траверза, «зэ» четко надо выговаривать, зубы-то у тебя все целы! Флот — не пехота, если только пушки не стреляют, на свежем воздухе разговоры разговаривают. А здесь — ветер штормовой, видимость нулевая, матросы в яловых сапогах по стальной палубе грохочут; неправильно расслышишь слово — и на дно можно пойти!

Траверса или траверза, но пора перебирать-ся на восточный берег острова, а то пропустишь редкостный корабль! Задумался: как быть с отобранными рисунчатыми камешками? Кармана два, причем один уже заполнен «сухим пайком», а если загрузить второй, то ходить малоудобно, а домой не хотелось; мать оставит обедать, чего-либо придумает поручить: воды из близкого озера Гранитного наносить, а если Сережку понянчить? — Это и вовсе доука на час-другой, весь день насмарку, а «Ермак» ждать не будет; только его широкую корму вдо-

гонку и увидишь на траверс... тьфу! Словом, на этом самом уже проходящим Торос.

И придумал: собрал камни в горсть двух ладоней, отнес чуть поодаль от раскопок, сгрузил в небольшую, пологую ямку, надергал обок ее вереска, которым прикрыл белизну меловых камней. «Сегодня вечером, может завтра с утра заберу», — пошабашил Николка и, уже не оглядываясь, напрямик мимо коровника и поля Седалина, лестницы на маячную горку вышел на исток Семужьего ручья, от него отвернул резко на юг и пошагал вдоль длинной, узко вытянутой вдоль восточного берега сопки-гряды, оставил справа дом Гусаровых и свой, Гусиное озеро и, чуть не доходя до озера Торфяного, легко взобрался на сопку, вернее ее южную оконечность, где поверху в рядок располагались поросшие зеленым мхом бетонные зенитные землянки, оставшиеся от батареи времен войны.

Отсюда, с достаточной, чуть только ниже маячной горки, высоты вся ширина Кольского залива, как бы лежавшего своей двухкилометровой зеркальной гладью, вплоть до угрюмо-скалистого, высокого противолежащего берега, под ногами Николки. То есть, если чуть поднять глаза и так, чтобы не видеть берег своего острова, то и получится: ты стоишь на воздусях, а под ногами — вода зеркального залива. Даже немного страшновато становится. Значит, и «Ермак», и все другие корабли и суда будут видны как бы чуть сверху, даже что на палубе можно рассмотреть.

Второе же удобство наблюдения отсюда: можно как в кино — в маячном доме или в клубе во Дворцах — усесться на заросший мяг-

ким мхом бруствер зенитной землянки, вытащить из правого кармана съестной припас и смотреть со всеми удобствами уже настоящее, живое кино наяву.

Еще только взобравшись на сопку и видя только противоположный берег и прилегающую к нему, но и самую глубоководную полосу залива, Николка по-детски зорким взглядом отметил: с юга, чуть пониже острова Большой Олений, уже стелется густой, темный дым, и видны различимо черные, с оранжевыми кольцами трубы, которые могут принадлежать только одному «Ермаку», пароходному ледоколу. Но Николка уже вошел в роль неторопкого кинозрителя, выбрал бруствер со слоем зеленого мха погуще, уселся — и очень удачно, так что и ноги не болтались, и упирались подошвами обуви в мягкую же торфяную поросль обок бруствера землянки; поправился: капонира зенитного орудия, как объяснял отец.

Здесь Николка почувствовал первый со времени завтрака приступ голода. «Война войной, а обед вовремя», — вспомнил он любимую притказку Федорова. И Толька ее часто употреблял. Отец же считал поговорку пехотной, упирая на то, что война войной, но компот в обед матросу все одно положен. И пояснял: компот — привилегия флотская, «а пехота пусть кисель свой хлебает от пуза!»

Оставив ягодные шаньги на потом, как основное едово, достал гусаровский персик и свой перочинный ножик. Почему-то забыл о Северко и Облайкине, но когда рассматривал красивый, крупный персик, крутя его перед глазами, то что-то мокрое и щекочущее коснулось его

стриженого затылка. Он ойкнул — не от страха, от неожиданности, скосил глаза влево и увидел Облайкина, тихонько вспрыгнувшего на широкий бруствер с другой стороны капонира и по мягкому мху бесшумно подошедшего к Николке. А тут и Северко подбежал и выжидательно-настойчиво присел у ног.

Николка хотел было шугануть хвостатых; не по злобе, которой у него вовсе не было и быть по хорошей погоде не могло, а просто потому, что прекрасно знал: и у них сейчас время обеда, пора им бежать по утвержденному ими самими вахтенному графику по домам острова для дневного харчевания. Потом неизвестно: едят ли они персики? Но и свой интерес соблюсти надо: персик-то ведь один единственный. А это не жадность, но рассудительность, как говорит отец. Но ведь все он же постоянно учит-поучает: если человек приучил этих зверей, вырвал их из естественной, как у волков, жизни, то и должен с ними едой и теплом в холод делиться. Насчет котов и кошек он промалчивал, ибо, как порой в раздражении говорила мать: «Что в голову *тот* себе вобьет, так хоть кол об нее теши! А все от того, что из калуцких староверов, вреднее народа нет, да взрослой полжизни во флоте прослужил. Оттого и чистоплюй... вишь, кошки его не устраивают — мол, на стол кухонный запрыгивают. Ну и что? — Кошка животная негрязная, всегда себя в порядке облизанием держит».

Вспомнив все это, Николка вздохнул и вырезал из персика две тонкие продольные дольки, которые и бросил поочередно старшему Облайкину и чуть более молодому Северку. Те

только хлопнули пастями, распробовали, обиженно посмотрели сначала на Николку, потом друг на друга, как солдаты в строю одновременно сделали «кругом через левое плечо» и побежали легкой рысцой в сторону более обжитых мест острова. Действительно, соловья баснями, а кобеля персиками не накормишь.

Самое чудное, что в разгар летнего дня, включая далеко еще пыхающий дымом «Ермак» на юге и задумчиво входящий с севера в залив непонятной принадлежности сухогруз — он уже умел различать флаги основных стран, чьи торговые суда ходили курсом на Мурманск — залив пуст. Сухогруз еще далеко, флага не видеть, но чувствовалось: не наше судно. Понятно, не корабль. Обычно же даже в намного худшую погоду в такое время залив прямо-таки кишит кораблями от торпедных катеров до эсминцев; порой и крейсер проходит с учений — в море на свою базу в Ваенге, лишь недавно ставшей Североморском. А еще больше числом и разнообразием тоннажа снует, торопится или важно шествует торговых судов и рыболовных сейнеров.

Нимало подивившись водной пустыне, Николка съел персик, смакуя поочередно нарезаемые длинные, тонкие ломтики. Доев, позавидовал Славке, вот тот этих персиков налопался у Гусаровых! И не только персиков ...

Пока от нечего делать — шаньги пусть подождают — решил посмотреть: что там на скалистом берегу, под круто спускающейся к воде сопкой. Поднялся с бруствера, подошел сколько можно без опасения сорваться вниз и еще вытянул голову, наклонив глаза долу. И не зря: прямо под

ним на пятидесятиметровой глубине, где крутая скала резко переходит в скалистую площадку, в полный прилив уходящую под воду, и к которой подобраться можно только на шлюпке со стороны залива, на этой самой площадке-приступке нежился на дневном солнце матерый тюлень. Видно, он только что вскарабкался: вода еще не вся стекла, шкура с короткой, жесткой на вид шерстью-щетиной влажно лоснилась, а лапы, только что трудившиеся, тюлень устало распротер. Боясь спугнуть чуткого морского зверя, Николка замер, всматриваясь. Но видно из-под подошвы выкатился мелкий камешек из тех, что усеивают верхушку сопки — что-то стукотно прошуршало по почти отвесной скале и звонко цокнуло о гранит площадки, отрикошетило и, видимо, шлепнулось о правую, распротертую лапу. Тюлень повернул, впрочем не спешно, голову, посмотрел на лапу, чуть задумался и поднял свою песью морду вверх. Сразу сообразил: откуда камнепад. Матерый, знать, зверь. И по размеру, и по догадливости. А главное — вовсе не испугался стоящего в верхотуре над ним человека.

ТЕ ЖЕ САМЫЕ И КЛАДЫ ЗЕНИТНЫХ ЗЕМЛЯНОК

Какое-то время Николка и тюлень внимательно смотрели друга на друга, причем последний даже явственно пошевелил своими черными, жесткими усами, а затем и вовсе, наклонив вбок голову, так что жирный загривок пошел гармон-

ными складками, лениво почесал той же левой ластой подбородок задранный вверх морды. Ну, прямо Облайкин с Северко! Только и отличия, что те стоя или присев чешутся задней лапой.

Летом тюленя только и можно хорошо рассмотреть на берегу, на лежке. А так в воде он только вынырнет, вдохнет и снова нырнет; не поплаваешь, вода не держит. Но к осени нагуляет жир и может часами стоямя, над водой только морда, неторопливо плыть вдоль острова: с юга на север при отливе, наоборот — в прилив. И вот эту-то неторопливо сплавляющуюся по течению морду новый в этих местах человек не сразу отличит от собачьей — только уши коротковаты. Впрочем, в Калуге Николка видел и с почти такими ушами-недомерками собак, но поразили его поначалу не эти уши, а ошейники с поводками. Зачем же их на привязи мучат? Очень он жалел городских собак. Подумав же, решил: это чтобы собак не крали.

Стреляют тюленей редко, хотя дело это очень нехлопотное: летом подкрасться к тюленю-лежаку метров на десять и из двустволки дуплетом дробью-самокаткой. А осенью и зимой любопытный зверь на такое же расстояние подпускает тихо идущую шлюпку, и застреленный не тонет; петлю под ласты, веревку к корме прикрепить — и сплавляй до пологого берега, чтобы сподручнее на сушу вытащить.

А почему редко стреляют? — Так Николка хорошо уже понимает: для промысла совсем никудышный зверь: «Ни мяса, ни шкуры», — говорят маячники. Оно и понятно: мясо тюленя ни на какое другое не похоже, черное и вязкое, как смола; и на вид, и на вкус совершенно несъе-

добное. А шкура толстая и мездровая; мех хотя и красив на вид своей серебристостью, но короткий, жестковат и редок. Как объяснил как-то Николке отец, такую шкуру только специалист-кожевник может обработать, а на маяках таких не водится, да и других забот хватает. Поэтому-то в лучшем случае из шкуры добытого тюленя вырезают прямоугольные коврики, что лежат на улице перед входной дверью дома — ноги отрясать от пыли и грязи. Даже в дом брезгают заносить.

Единственно полезная вещь — это тюленья печенка, очень большая и вкусная. Опять же отец, до призыва на флот учившийся в сельхозтехникуме в Калуге, потому знавший толк в съедобном, объяснял матери, которая с неодобрением поначалу отнеслась к тюленьей печенке: «...А то, что щеки, лбы и подушки рук у малых ребят, да и Тольки тоже краснеют, когда жаркого из тюленьей печенки поедят, так это никакая не отравка. Наоборот, в меру для пользы. Потому как у всех животных, которые в холоде живут, в морях в особенности, в печени много витаминов, особенно «А» и «Е». А от их избытка и на коже аллергия. Главное — не объедаться.

Мне вот еще в войну, когда в последний ее год в Мурманске на посту служил, кок наш историю одну рассказал. Он в мирное еще время тож коком на рыболовном сейнере обретался. Тогда они, большие, новейшей постройки, что в Атлантику, на Ньюфаундлендскую банку ходят, только появились. И вот Кирилл-кок как-то мне рассказывал — под четвертинку дармовую — разные истории из своей рыбацкой жизни. Однажды с тралом вместе с треской и

всякой случайной рыбешкой вытащили здоровенную, полутораметровую. Засомневались, но старпом, сбежавший в мореходку со второго курса пединститута, где на учителя химии и биологии учился, успокоил: дескать, деликатес, из породы тресковых. А паштет из ее печени в столичных ресторанах наперед черной и красной икры подают!

Печенка у рыбыны, действительно, была здоровенной, что у твоей коровы, главное — цвет ярко-красный. Навертел я паштету из нее под два кило, но для команды пожадничал, на ужин всем по куску хлеба с двумя ложками его выдал. А сэкономленное полкило вместе с другом механиком и тралмейстером, тож приятелем и земляком, на ночь слопали и чаем крепким запили. Утром спозаранку — для завтрака кашеварить — проснулся: все тело чешется, а тыльные стороны запястий, щеки и уши в волдырях красных, и кожа там местами шелушится. Прибегают механик и тралмейстер — и с кулаками на меня: чем, кастрюльная душа твоя в перемать, накормил вчера? И команда вся румяная, как с опохмелки сранья, тоже почесывается. Правда, без волдырей и шелушенья.

Кэп, как узнал, тоже заорал: заразу какую-то на борт занесли! Понятно, врача, даже фельдшера, на сейнере по штату нет, только радист по совместительству какие-то ускоренные санитарные курсы закончил, но толку от его курсов-то? Разбудили знатока — старпома, завалившегося с ночной вахты. Тот поначалу матерком запустил со сна, потом очухался, посмотрел на меня, на матросов из команды, спросил, кто сколько слоपाल паштета, вовсе рас-

хохотался: жадность фраера губит; в печени этой рыбины, мол, витаминов побольше, чем во всей аптеке районной больнички!

Хорошо уже взяли накануне курс на Мурманск. Но все одно несколько дней перехода пришлось кухарничать в перчатках...»

Так получалось по рассказу отца, что еда тюленьей печенки, но в меру, только на пользу. Но даже Николка понимал: убивать из-за нескольких килограммов печенки, пусть даже такой полезной, большого и красивого зверя как-то не хорошо. Это все одно, что того же Северко с Облайкиным застрелить, чтобы из их шкур сделать коврики для вытирания ног.

По всей видимости так же думали и мужики-маячники.

...Но в одной из старых книг Трофима Матронины Николка увидел картинку, где промысловые люди в шубах и меховых малахаях безжалостно били острогами тюленей на ледовом лежбище. Трофим же пояснил: тюлень — промысловое животное, но не здесь, а в Белом море. Добывают же их ради шкур и жира — ворвани. Вроде как из шкур мастерят голенища сапог, он сам точно не знал, а в книге про то не написано, а вот из ворвани делают всякие смазки технические. А в каждой солдатской казарме, в каптерке стоит посудина с такой смазкой — для кирзовых сапог служивых. Гуталин химический — это для городских штатских щеголей, а для сапог потребна именно тюленья ворвань: не промокает, грязь не прилипает.

...Меж тем тюлень внизу заметно к чему-то прислушивался, поворачивая морду в сторону залива. Николка понял беспокойство его: со

стороны Южного мыса, огибая его с западной стороны, объявилась стая касаток, быстрыми нырками-выпрыгиваниями шедших вдоль береговой островной линии, приближаясь к траверсе сопки с Николкой и тюленем на нижней площадке. Касатка — главный враг и убийца тюленей. И «Николкин тюлень» внизу замер, даже втянул голову, сделав без того короткую шею еще толще, хотя на его лежбище гранитом ничто ему не угрожало. С плескучим шумом, выпрыгивая из воды, маслянисто отсвечивая на солнце поочередно синей спиной и белесым брюхом, пять касаток проплыли мимо и ушли на север, явно на выход из залива. И тюлень успокоился, снова расслабил свою собачью голову. Он уже совсем обсох и теперь блаженствовал, разомлевши под жарким солнцем на нагретом граните лежбища. Николка потерял к нему интерес и снова вернулся к капониру, присел на мох давешнего бруствера.

Влево вдоль берега, уже миновав Акулью скалу, где разбилась баржа с тюками сена и разным съестным, все так же одновременно выныривая и вновь уходя под воду косяком уходили на север касатки. Вспомнился Николке молодой кит, которого прошлой осенью такие же касатки загнали с моря в Кольский залив.

Его уже запоздало позвал федоровский Витька: кит тот проплывал Южный мыс и вообще шел вглубь залива по корабельному фарватеру, то есть ближе к противоположному берегу. Да еще накрапывал противный октябрьский дождик, но Николка все же хорошо рассмотрел кита. Доселе виденного только на картинке в учебниках старших братьев; Трофим

Матронин тогда еще не зазывал смотреть свои интересные книги, в которых, как недавно убедился Николка, имелось много красиво нарисованных китов.

Явно кит был молодой, неопытный, раз позволил касаткам загнать себя в залив, и вот теперь торопливо плыл, пуская вверх фонтаны, в глубину, все дальше и дальше от спасительного для него открытого моря. Видны были и касатки, шедшие за китом, как волки, разбившись на две кильватерные колонны. Даже страшные костяные пилы на их спинах вроде просматривались у ныряющих-вынырывающих касаток-охотников.

Потом дождь усилился, видимость нулевая. Николка пошел от сопки все с теми же зенитными капонирами, почти не слушая рассуждения Витьки о судьбе обреченного кита. Не любил он эти его нарочитую степенность и основательность, явно отцу подражательные.

А тогда в душе Николки боролись два чувства: с одной стороны, он почти возненавидел касаток, безжалостно преследующих ни в чем не повинного кита; а с другой ... он тут же вспоминал обычную картину, когда в ясную, спокойную погоду отец или Юрка с Толькой брали его с собой в шлюпку-двойку, выходили в залив, впрочем, не отдаляясь от острова более чем на пару-тройку кабельтовых; не потому что чего-то опасались, а просто лень грести. Выходили же ловить треску на поддев.

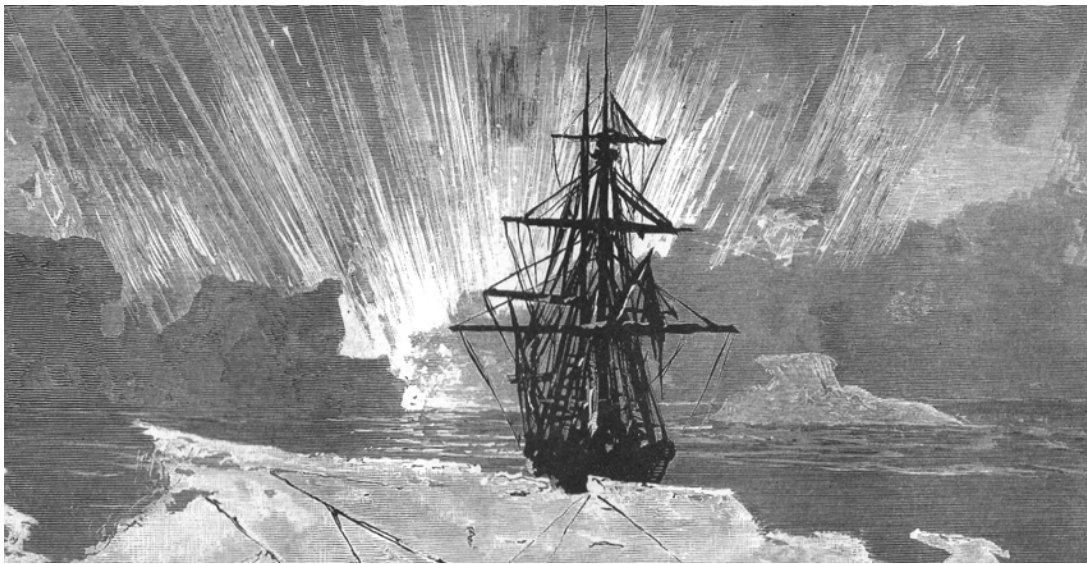
Не проходило и полчаса, как обязательно появлялись касатки. Не потому что их чем-то шлюпка заинтересовала, а просто в штилевую погоду их стаи в три-четыре, но не более пяти

штук можно встретить в любом месте Кольского залива. Свой у них промысел. И проплывали они — рукой подать — совсем рядом, а если шлюпка оказывалась по их курсу, то вежливо брали немного вправо или влево. Самое же интересное — ни у кого в шлюпке не то что страха, а и самого легкого опасения эти звери не вызывали, хотя каждая поболее самой шлюпки, а если поднырнет под нее, то запросто своим костяным хребтом-пилой ее перережет.

И когда проплывающая обок шлюпки касатка, сделав кульбит в воздухе, готовилась вновь нырнуть, то Николке казалось, что та весело смотрит на него и даже вроде как подмигивает глазом, что в его сторону: дескать, ребята, рыбак рыбака видит издалека; одним делом, мужики, мы с вами заняты: одну и ту же треску ловим. Только вы крючками-тройниками со свинцовыми грузилами, а мы их, родимых, сразу глотаем; понимаешь, некогда нам их прожевывать. Вот идем косяком за тресковой стаей и знай себе обедаем-закусываем...

А Толька еще и матерком в сторону касаток припусти: «Чтоб вас, разэтаких-растаких, черти хвостатые, кто-нибудь покрупнее из залива шуганул. Всю треску нам разогнали!»

В тот день с китовой бедой Николка заснул с нехорошим чувством; почти возненавидел касаток. Но наутро пришел с вахты отец и почему-то довольный сообщил: «Жив кит! Видать поумнел; судя по времени, доплыл до Сального и повернул, да догадался поглубже в воде плыть, всплывать только воздуху глотнуть. Я и увидел-то его случайно ночью, в прожекторном свете».



Северное сияние

А когда Николка спросил, почему киту нужно глубже плыть, то отец пояснил: «Киты на бóльшей глубине могут дольше держаться, чем касатки. А им, чтобы вспороть своей пилой киту брюхо, требуется под него поднырнуть. Ан здесь и не получается!»

За воспоминаниями о ките то ли время быстро пролетело, а может и обычное, уже замеченное Николкой, случилось; это когда корабль или судно где-то далеко на горизонте появиться — если со стороны Мурманска, то где-то между Старым Полярным и Тюва-губой по противоположным берегам Кольского залива, — то можно и час, и другой, если делать больше нечего, ждать его приближения, а потом, в какой-то момент, почти что на глазах между двумя морганиями, корабль этот, или судно, словно по воздуху перелетит — и вот он, прямо перед твоим берегом красуется! Даже Толька с Юркой не могут объяснить Николке его недоумение, а отец что-то очень уж заумное про относительность времени начинает говорить. Хитрец Николка делает вид, что слушает, а сам уже знает: если отец непонятными словами сыпет, значит сам точно не знает того, о чем его спрашивают. Так и сейчас случилось: только Николка, вспомнив о ките, еще раз порадовался за него, дескать, уплыл в свою Гренландию, как «Ермак» уже миновал Большой Олений, где начальником маяка брат Седалина, и вот уже своим старинчатым двигателем по-паровозному пыхтит в полумиле от восточного берега Седловатого. И зря Толька называет его презрительно большим угольным буксиром. Наоборот, осанистый, трубастый, весь в черно-оранжевой

(чтобы среди белых льдов издалека виднеться) раскраске «Ермак» непонятно почему напомнил Николке его строителя, адмирала Макарова: тоже осанистого, широкоплечего, с окладистой — поболее чем у отца — бородой, даже не бородкой, а бородищей, в черном мундире с золотыми погонями, по-хозяйски, полуоткинувшись, сидевшем в оранжево-желтом кресле. А перед ним, стоял худощавый военный, явно небольшого чина, с бородкой клинышком, что-то рассказывал адмиралу, указывая рукой на стол с каким-то механизмом, очень похожим на телефонный аппарат, что установил Матронин в их доме.

А цветная эта картинка из журнала, привезенного из Полярного Толькой, называлась «А. С. Попов показывает адмиралу Макарову первый радиотелеграф».*

«Ермак» ушел ломать многометровые, громождающиеся друг на друга льды в Карском море, по-домашнему попыхивая черным дымом из своих труб, а Николка, дружелюбно помахав дедушке ледокольного флота в дорогу, перед тем

* Картина И. М. Кондрашева-Иванова. В конце 80-х — начале 90-х гг. я регулярно лицезрел это огромное полотно размером где-то два на три метра в зале Научно-технического общества радиотехники и связи им. А. С. Попова (Москва, Кузнецкий мост, 20/6). Но потом она куда-то исчезла. Впрочем, это была авторская копия, а оригинал находится в Институте радиотехники и электроники Российской академии наук. Рисовал же ее Кондрашев-Иванов в первые послевоенные годы, будучи эком в Марфинской «шарашке» под Москвой. Там же находился на отсидке и А. И. Солженицын, который в «Круте первом» и описал процесс рисования. — Прим авт.

как спуститься с сопки решил проверить сохранность своегоклада во второй зенитной землянке.

Как рассказывал старейший маячник Седловатого Степан Седалин, зенитная батарея на острове была «скороспелкой», то есть размещать ее на Седловатом до самого начала войны вроде как и не собирались, но когда в начале сорок второго немцы очень уж допекли бомбежками Мурманск, то спешно начали развешивать и здесь — но даже не часть отдельную, а всего четыре зенитки: вырыли капониры, отлили из бетона их днища и брустверы, сами зенитки на одной большой барже завезли, с матом и ломами затащили на сопку. Завезли и бревна, другой стройматериал для казармы, но не до строительства и серьезного обустройства было. Люфтваффовцы совсем осатанели, а наши истребители и другая авиация, не имея пополнения, к этому времени совсем подобрались. Вот и Сафонова сбили. Поэтому два неполных взвода бойцов с двумя лейтенантами и командиром-старлеем, правда, почему-то в возрасте, за тридцать, не отходили от капониров, зенитки раскалялись даже на морозе от бешеной пальбы. На посменную ночевку бойцы уходили в уже тогда стоявший большой маячный дом — вообще тогда на острове единственный; постоянные жильцы потеснились. Там же и харчевались.

А к лету отрыли под сопкой, у Торфяного озера пару жилых блиндажей, полевую кухню тыловики привезли. Разгрузили от тесноты и хлопот маячников; только офицеры и старшина команды занимали свободную комнату в маячном доме; это где сейчас Трофим Матронин

квартирует. И зиму вторую в блиндажах с печурками прокантовались не в холоде. Начатую было осенью стройку казармы снова свернули: вместо обещанного пополнения, наоборот, команду на пять бойцов уменьшили: по всему Северному флоту собирали добровольцев на Сталинградский фронт.

К лету же, а особенно к осени сорок третьего, в небе над Кольским заливом наконец-то появились новенькие «яки» и «илы», английские и американские лендлизовские истребители, пролетали на норд-вест торпедоносцы и фронтовые бомбардировщики. Люфтваффовцы изменили маршруты полетов и над Седловатым не летали больше. А ненужные уже здесь зенитки и команду перевезли на Большой Олений, прикрывавший от налетов Полярный — главную базу Северного флота. Там разместили целый батальон, построили здоровенную казарму и отдельный офицерский дом. И посейчас эта зенитная часть стоит на острове.

Оставшийся же стройматериал — от досок и бревен до мешков с цементом и кровельной оцинковки — передали маячникам. Из него, уже после окончания войны, построили дома, где сейчас проживают Гусаровы и Николкино семейство, сделали пристройку к большому маячному дому, возвели склад и различные хозяйственные постройки на горке. Бревна с блиндажей под сопкой сняли — все в дело пошло, а сами они очень скоро осыпались; здесь, рядом с Торфяным озером, потому и отрыли их, что в низине скопился полутораметровый слой торфа. Теперь же это были просто пологие ямы. Ничего интересного. Бетонным же капонирам ничего не

сделается. А поскольку во внутренних стенах капониров имелись выемки, куда упрятывался боезапас для стрельбы зениток, то в них ребята острова и хранили свои клады. Николкин значился во второй землянке-капони́ре.

Да, все вроде в порядке, решил Николка, вытащив из нужной выемки, закрываемой фанеркой, свой клад: жестяную пятилитровую банку из-под яичного порошка. Все на месте: поломанная немецкая губная гармошка, пара винтовочных патронов, целых, готовых к бою; еще один, тоже боевой, но сильно проржавевший патрон-снаряд от авиационной пушки, толщиной с гильзу охотничьего двенадцатого калибра, но длиннее в полтора раза. Еще в банке хранился помятый ствол от «ТТ», ершик от револьвера, старый школьный пенал с цветными мелками — все от щедрот Юрки и Тольки, а также несколько серебряных и медных монет с двуглавыми гербами и портретами императоров — это уже от летней поездки в деревню: самое свежее пополнение клада. ...И всякая, Николке непонятная по назначению металлическая мелочь, сломанный же квадратный немецкий карманный фонарик «даймлер», увеличительное стекло для выжигания и роговая оправа от очков, которых дома никто не носил отродясь.

Сложив все сокровища обратно в банку, прикрыв ее фанерной же круглой крышкой, поставил обратно в нишу. Закрыв ее. Понятно, что каждый пацан знал про клады других, но случаев покушения Николка не припоминал.

ЖИВОЙ МИР ТОРФЯНОГО ОЗЕРА И ОСУШЕНИЕ ОЗЕРА ГРАНИТНОГО

Николка сбежал с сопки зенитных землянок, прошел мимо двух ям — остатков блиндажей — и шагов через десять уже стоял на низком берегу Торфяного озера. Озеро это необычное. Если Гранитное, что впритык к торцевой стене склада, а другим берегом тоже недалеко от их дома, попросту большая лужа от растаявшего снега, глубиной с Николкин рост, с гранитным дном и берегами, а Гусиное, что по другую сторону их же дома, также в каменном ложе, но берег присыпан тонким слоем торфа, то Торфяное полностью оправдывает свое название. Потому зенитчики в войну и вырыли рядом свои блиндажи, что низина между Зенитной и Вороничной сопками — единственное место на острове, где за неисчислимые тысячелетия, как объяснял отец, образовался слой торфа с рост взрослого человека. И еще говорил отец: «...Сюда торф с сопки ветром сдувало, вода при таянии веснами тоже все сюда, в низину, сносила. А все потому, что это самое низкое место на острове, почти на уровне моря. Места здесь, весь Кольский полуостров и Скандинавия, одни из самых древних на Земле — гранит и базальт, поэтому рельеф не менялся с тех пор, как уровень океана упал и суша образовалась. Поэтому и вся живность в Торфяном озере древняя, образовавшаяся десятки, сотни миллионов лет назад... Все эти плавающие жучки-паучки».

Николка еще прошлым летом часто прихо-

дил на Торфяное озеро, все присматриваясь к его крохотным обитателям. «И че тебя носит все на небаско-то озеро,— порой выговаривала мать,— отишье, вишь, себе розыскал. А оно глыбко, нито соскользнешься с берега да потопнешь!» ... Когда отца поблизости не было, то мать забывалась и говорила по-своему, по-архангельски. Отец же на эту речь сердился: «Даром я тебя сколько лет учил говорить по-человечески! Не в деревне своей ведь; кто тебя здесь поймет?»

Однако Николка, с самого малолетства слыша слова матери к нему, а также к Славке, понимал ее: неважно, на каком наречии она говорит. А потом к осторожности он давно пообык; на острове без нее ни шагу ступить нельзя. Хотя торфяные берега намного коварнее каменных: торф и «поехать» под ногами может, и осыпаться. Так что и сейчас он заученно остановился в полушаге от края берега; а сам-то берег возвышался над зеркалом воды даже меньше чем на ладонь. Поэтому когда смотришь на озеро с Зенитной сопки при полном солнце, то кажется оно ярко-синим зеркалом огромного размера, вправленным своим овалом в торфяной пласт и несколько наклоненным в сторону смотрящего на него с сопки Николки.

Но вблизи на зеркало не очень-то похоже; и берега не такие уж овально ровные, и сами берега неодинаковы: со стороны Зенитной сопки торф его только мелким прилегающим вереском порос, а противоположный — вороничник, над которым поднимаются лазоревые цветы-колокольчики, желтые одуванчики и даже несколько кустиков такой же высоты. В левой, южной

стороне озера и вовсе из воды на тамошнем мелководье густо вырастает жесткая, стеблистая трава. Опять же вблизи солнце не отсвечивало от глади воды в глаза, как на сопке, потому и вода смотрелась темной, почти черной, хотя и прозрачной — хорошо виделись проплывающие его обитатели.

Николка присел на корточки и замер: жители озера и приозерья робкие, не переносят никаких движений вблизи берега и шума. Через несколько минут озеро ожило, видно решив, что это вовсе не Николка, а какой-то странный предмет, оказавшийся на берегу.

Первыми осмелели две стрекозы, летающие парой. И какими бы кругаями-вертулями не рыскали они по высоте и вправо-влево над самой водой, все одно сохраняли между собой одно и то же расстояние, примерно с длину Николкиной руки от кончика среднего пальца до локтя. Точно так же летали три истребителя, раз им виденные. Истребители были новенькие и оставляли в ясно-синем небе без единого облачка три белесых реактивных следа. Это как зажать в кулаке три карандаша, лучше различных цветных, и сделать ими на альбомном листе эти самые кругая-вертуля... «Ишь ты,— сказал проходящий по своим делам мимо Николки, стоящего у веранды маячного дома и завороченно смотрящего на изрисованное истребителями небо, Федоров,— теперь не только парадом над Красной площади самолетами фигурируют, а повсюду — по флотам и военным округам! Вождя нет, так керосин не экономят».

...Стрекозы явно ловили мелкую мошкару, вдруг тоже невесть откуда взявшуюся и заро-

ившуюся над водой озера. На Гранитном и Гу-
сином такая появляется только в самые жаркие
и полностью безветренные дни.

И стайка воробьев зигзагом промчалась,
напугав стрекоз, и исчезла: куда-то серенькие
птички-хлопотуны торопились. Тоже, наверное,
как давеча Северко с Облайкиным, летели на
обед поближе к жилью. А один раз видел он и
редких здесь гостей — стаю крупных куликов,
что обычно в полный отлив выковыривали из
ила Меловой бухты морских червей, неосторож-
но высовывающихся из своих норок. Кулики, не
обратив внимания на замершего Николку, что-
то побродили по берегу, даже вроде как недо-
вольно переглянулись и со свистом улетели в
сторону Меловой.

Вспомнив про морских червей, Николка
пригнул и вытянул голову, едва не касаясь во-
ды: тут как тут и озерные червячки размером со
спичку, что извиваясь плавали на самой малой
глубине, не отдаваясь от берега со своими нор-
ками. Николка снисходительно усмехнулся: не
черви, а козявки какие-то; вот в море — червь
так червь! И добыть его для наживки на ры-
балку с удочкой с берега не так просто. Чтобы
вырыть его, нужно на полный штык вогнать
лопату несколько поодаль горки вырытого чер-
вем ила и вывернуть с полпуда все того же
плотного, тяжелого и вязкого ила. Николка это-
го еще не мог пока осилить, только наблюдал,
как копают старшие братья. А ему же доставалось
самое малоприятное: из вывороченной кучи
ила выхватывать поочередно оказавшихся там
червей за голову или хвост и вытаскивать ос-
тальное тулово из разломленной норки. Самый

крупняк — толщиной с Николкин большой палец и длиной с его же руку по локоть: любимая Николкина мера длины.

Этим летом в отцовской деревне на Угре ребятню напугал выводок безобидных маленьких еще ужат; так когда Николка рассказал, хвастаясь, деревенским, что он червей и поболее с братьями на отмели Меловой бухты все лето выкапывает, его подняли на едкий смех: ну и заврался ты, флотский!

...И копка продолжается до тех пор, пока литровая жестяная банка из-под томатной пасты доверху не наполнится этим кишашим месивом. Зато треска хватает кусок такого червя вместе с крючком, едва заброшена леска удочки. Особенно, если перед забросом хорошо поплевать на червя.

Самыми загадочными для него существами в Торфяном озере являлись живые трубочки, что вроде бы безжизненно плавали — и тоже на самой небольшой глубине: тоже чуть толще спички, но в половину ее длины, черные, прямые, а с обеих сторон трубка как трубка! Из похожих, медных или алюминиевых, они с ребятами плюются друг в друга комочками жеваной бумаги или мелкими, недозревшими брусничными ягодками.

А вот и самые веселые обитатели: водяные кузнечики, что быстро-быстро, зигзагами перебегают озеро вдоль и поперек. Николке они даже не живыми представлялись, а какими-то мелкими механизмами, например, из настенных часов, когда отец снимает их со стены, делает недельный завод и иногда открывает заднюю крышку и дует с натугой вовнутрь: пыль выдувает.

И страшный в своей черноте и молчаливой сосредоточенности проплыл в метре от Николки подводный большой жук. Ни за что бы он такого в руку не взял! Но этот-то хоть в воде, а вот которые летают? Бр-р-р! Сразу вспомнил деревенских жуков: этим летом во всем их изобилии застали в деревне и майских, и июньских жуков, летящими вслепую целыми роями. Ну и натерпелся же Николка с непривычки страху! Убегал от жуков, а деревенские, тот же сын тетки Насти, его двоюродный брат, тоже Слава по кличке Едакин, отцом данным, над его страхами хохотали, уперши руки в боки.

Все в озере было другим, чужым, не морским привычным. Осталось дожждаться — если на этот раз повезет — тех маленьких то ли рыбок, то ли какую похожую на них живность темно-коричневого цвета, но это дело долгое; они не любят себя казать Николке и всем другим любопытствующим. Что же, заодно и перекусить пора. Уже почти два часа пополудни — Николка уже хорошо понимал время по солнцу. Даже никто не учил, как-то само собой научилось.

Вынув из кармана и развернув сверток с двумя слепленными ягодно-варенистыми сторонами шаньгами, чуть задумался, достал из другого кармана свой складной ножик и разрезал слоеные шаньги на две половинки. Одну вдругорядь завернул в бумагу и отправил назад в карман, а вторую быстро схрумкал, не забыв подставить под крошки левую ладонь. А крошки бросил в воду: вдруг эти рыбки, или кто там под них маскируется, приплывут на наживку?

Но на сей раз так и не дождался, ибо увидел идущего явно в его сторону с траверза Гу-

синого федоровского Витьку. Через несколько минут он подошел и присел на корточки рядом с Николкой:

— Чегой-то ты? Рыбу ловишь?

С недавних пор Витька, собиравшийся через месяц с небольшим стать школьником в Полярном, начал снисходительно подшучивать над недавним другом закадычным Николкой. Да еще с унаследованной от Федорова напористостью. «Яблоко от яблони, а от Колуна — Колуенок», — говорил отец Николке, сам заметив выпендривание Витьки. А Николка уже хорошо знал: когда отец обзывает за глаза начальника маяка Колуном, то имеет в виду глупость того, а если Кабаном — значит Федоров за что-то распекал маячных мужиков: матом и выпучивая на круглом раскрасневшемся лице белесые глаза.

— Рыба в озере не живет, — нарочито безразлично ответил Николка. — А ты куда чешешь? К школе готовишься, да?

Витька язвительности *младшего* не то что бы не понял, но не снизошел до нее.

— В зенитную землянку свою иду.

— Клад проверить? Я там уже был; твоя нора прикрыта, видать, никто не рылся.

— А чего ее проверять? Ребячество все это; все-таки с сентября в школу, в интернат: там не до игрушек. А иду магнит забрать.

Николка хорошо знал знаменитый Витькин магнит: во-первых, необычной формы, чем-то напоминающий раза в три уменьшенную физкультурную гантелю у них в доме, которой Юрка, как он говорил, «мускулы качает». Теперь, после отъезда Юрки на вольные хлеба, гантеля перешла по старшинству Тольке. Тот

мускулы качать ленился, но уже вслух обсуждал сам с собой: кому и на что ее поменять на острове или в Полярном.

Причем один шар Витькиного магнита покрашен лаковой краской в ярко-синий цвет, а второй — в красный.

Во-вторых, он был самый сильный из всех, имеющихся у маячных ребят; не иметь же своего магнита, перочинного ножика, фонарика и увеличительного стекла для выжигания от солнца считалось верхом ничтожества и полной не-самостоятельности.

А вот самое интересное, что отчасти повышало его хлипковатый авторитет, — это устройство оси, на которой по концам крепились магниты: в середине ее просверлено отверстие, в которое накрепко вставлен подшипник, а в его, подшипника, отверстие впрессована другая ось, тонкая, заканчивающаяся кольцом. Витька завязывал на кольце тонкую бельевую бечевку, показывал ребятам фокус: держа на бечевке на весу свой замечательный магнит, он его закручивал и подносил вращающийся на бечевке магнит к чему-нибудь железному, например, к дровяному топору, воткнутому в чурбан для колки чурбанов на поленья. И магнит начинал черт-те что вытворять. Все продолжая вращаться, он поочередно то красным, то синим шаром рыскал в сторону топора, тут же другим шаром отталкивался и вскоре начинал, кроме верчения вокруг оси бечевки, одновременно дергаться вверх-вниз своими шарами; это как ведра на коромысле при торопливой ходьбе водоноса.

Да-а, что ни говори про Витьку, но магнит у него замечательный!



Забывтое становище

— А-ам,— поперхнулся слюной невольной зависти Николка,— зачем он тебе понадобился?

— Там ваш Толька собирается осушать Гранитное озеро, чтобы Славкину потерю на дне искать. И я со своим магнитом по илу похожу, может что интересное из металлического найду, а там...

— Как осушать! — Николка вскочил, тотчас забыв обо всем на свете,— Он же говорил: завтра этим займется?

— Ну-у, не знаю как там у вас договариваются. Посмотри сам: вишь, Толька с Васькой трубу из-за склада к озеру волокут.

Действительно, слева от их дома, на берегу Гранитного отчетливо виднелись на не очень большом-то расстояниидвигающиеся фигуры ребят, узнаваемые по росту: Толька, седалинский Васька. Вроде как и Славка, виновник всего этого, карапузится там. И еще из девчонок кто-то: Настена или Танька? Нет, скорее Настена: и ростом чуть выше Славки, а потом Танька не хуже Витьки воображает из себя; как же, во второй класс собирается!

Ну, Толька, ну, гад! Ведь утром видел — ни слова не сказал. Даже не взглянув на Витьку, он опрометью побежал в сторону толковища, где уже и Северко с Облайкиным хвостами крутили, радуясь потехе.

ТОЛЬКА-МЕЛИОРАТОР И РАКЕТНАЯ ПАЛЬБА

Толька еще до поездки в отпуск все грозил-ся осушить озеро между их домом и складом.

«Мелиоратор хренов,— ворчал, слыша это, отец,— заняться тебе нечем!»

А дело в том, что в самом конце апреля, еще не весь лед на Гранитном растаял, Николка пускал на озере кораблики: кусок высушенной сосновой коры, оструганной ножиком, в него воткнута заостренная палочка, а на нее надет наколот квадратик паруса из плотной воощенной бумаги, в которую на складе Седалин заворачивал пайковую селедку. День был по-апрельски холодный, ветреный, поэтому кораблики шли ходко, а чтобы не уплыли в сторону нерастаившего льда Николка придерживал их на нитках, которые разматывал с катушки.

Рядом стоял увязавшийся за ним Славка, одетый в зимний тулупчик, когда-то пошитый матерью из старой, расплзшейся отцовской шубы еще на Николку. Видно Славка, любопытствуя корабликами, близко подошел к самому краю берега, а тут еще порыв ветра налетел... словом, Славка как-то ловко, солдатиком упал в озеро и не хуже кораблика поплыл, гонимый ветром, отдаляясь от берега. Именно поплыл, поскольку широкая в полах шубейка, к тому же застегнутая на все пуговицы, а под ворот завязанная шарфом, раздулась, как шар, и воздух под этим шаром держал Славку стоймя в воде чуть выше пояса.

Николка поначалу засмеялся, потом остолбенел. Молчал и Славка, не понимая: где это он, почему все холоднее становится ногам, на которых двое штанов плотной материи и валенки с галошами. А потом Николка закричал: «Мам! Славка в воду упал!»

Но из дома выскочил отец, к счастью не на

вахте бывший, подбежал к берегу и прыгнул в воду, подняв подошвами сапог веер брызг, окативших Николку. Отцу глубина озера оказалась чуть выше колен, а через пару минут он поставил Славку на берег, сам, беззлобно матерясь, отжался на руках и впрыгнул туда же. Подхватив пловуна подмышку, скоро пошагал в сторону дома.

Славка не то что не простудился, даже как следует промокнуть не успел. Но когда мать, называя того растяпой и еретиком, по которому соленая вища плачет, а еще более ругая не уследившего за братом Николку, отжала воду с меха полы шубы и прилаживала ее для сушки на загнетку печи, Славка почему-то разревелся. Как он сказал, закончив рев от тычка матери, из кармана шубы выпал и утонул в воде его кошелек с накопленными монетами.

...Кошелек, а лучше бумажник-лопатник на острове, где от мала до велика о существовании в мире денег (кроме Гусаровых) вспоминают с некоторым недоумением только при поездке в Полярный — ближе магазинов нет — или убывая в отпуск на Большую землю, тем не менее для пацанов такая же необходимая вещь, как той же магнит, ножик... словом, весь известный набор.

Прошлым летом, когда в Полярном еще разрешалась продажа пива, что прошедшей осенью по приказу командования флота напрочь прикрыли, мать, как обычно, привезла оттуда отцу пятилитровый бидон: была оказия туда и обратно, вот маячные женщины и сходили за покупками.

С удовольствием выпив за начало вечера

литра два, отец пришел в добрейшее расположение духа и отдал Тольке свой бумажник: потертый временем, но из настоящей кожи, со многими отделениями и карманчиками. Дескать, бери, а мне все одно пора новый заводить. «В отпуск поедem, так в Ленинграде или в Москве на пересадке куплю из крокодиловой кожи», — благодушествовал отец, вне маяка всегда ходивший щеголем: бостоновый костюм в широкую полоску, при галстукe и шелковой рубашке с золотыми запонками, лакированный плащ-реган и шляпа. На руке золотые же часы.

«Должны понимать, что с Севера человек приехал», — объяснял отец и еще добавлял, что добротная, красивая одежда — это признак личной аккуратности и выправки. «А меня к ней еще Лазарь приучил, человек военной косточки, когда я у него в Калуге, а потом в Ленинграде, перед призывом на флот жил. А все закрепили двенадцать лет этой флотской жизни. В войну пришлось на Торосе вместе с английскими мореманами вахты нести — вот уж те аккуратисты и щеголи даже в форменках и кителях!»

Толька принял отцов лопатник, а свой же бумажник, тоже кожаный, но очень уж потрепанный и размером меньше отцова, вручил Николке. А тот с легкостью отдал по меньшинству Славке свой маленький кошелек, которого стыдился: был он явно женский, даже следы-пятна от шитого бисера сохранились. Откуда он взялся — как-то Николка этим не интересовался; видно, валялся где-то в кладовке никому не нужный и в один прекрасный момент обрел владельца, уже обзаведшегося плохоньким перо-

чинным ножиком и щербатым увеличительным стеклом. До кучи.

Конечно, никто бы не подумал искать утопленный Славкой кошелек, но Тольке и Николке было доподлинно известно, что в нем, кроме нескольких медяков, гривенников и пятиалтынных, на которые в городе и пачку печенья «Привет» не купишь, имелись две очень ценные монеты, на которые Толька положил свой зоркий глаз, а именно два серебряных полтинника с портретами бородатого царя Александра Третьего. Как и Николкин рубль, монеты эти родом из деревни, из давешней поездки в отпуск. Самое обидное для старших братьев, полтинники попали к Славке дуриком: подарила соседка тети Насти, древняя старушонка, которой тот показался очень походит («ну, прямо как близняшка») на младшего ее внука, которого она видела только на фотографии, ибо дочь с мужем и внуком жили во Владивостоке и уже четвертый год только грозились приехать в отпуск...

Славка же в присутствии свидетелей — Николки и Витьки — клятвенно обещал отдать Тольке один полтинник, если тот сумеет вызволить кошелек.

После приезда из отпуска, когда вода в Гранитном за лето хорошо прогрелась, Толька, раздеваясь до трусов, да и те подворачивая, обув ноги в галоши, чтобы не порезаться о какую-нибудь железную дрянь на дне, трижды за последнюю неделю по четверти-получасу бродил в районе Славкиного весеннего плавания, часто-часто тыча в заиленное от всякой грязи при таянии зимнего льда и снега и наносимого ветром торфа дно озера той самой пикой-острогой,

которой добывал в Меловой бухте камбалу. Еще он притаптывал — на ощупь ногами. Но все неудачно. «Наверное, сам же я и затоптал,— пробурчал Толька, вылезая на берег,— нет, здесь надо по-другому действовать, но как?» Он сбросил с ног измазанные донной грязью старые, рваные галоши, надел тельняшку, но штаны не торопился: пусть ноги высохнут. А пока же задумчиво рассматривал торцевую стену склада — прямо в паре метров от берега. Потом все же облачился в штаны и форсистые белые матерчатые туфли-тапки на литой резиновой подошве, которые регулярно начищал зубным порошком, и в сопровождении Николки и Славки, что-то вспомнив, обогнул озерную стену склада, зашел за тыльную, где под открытым небом лежал всякий хлам, что не требовал сохранности в помещении ввиду его никому ненужности: в основном, громоздкие, покрытые многолетней ржавчиной железяки и выносимые из склада по мере высвобождения дощатые и фанерные ящики.

Особенно интересовала Николку длинная, длиннее складской стены, нержавеющей чугуновая рельса с рельефными вытисненными словами с чудными буквами, не похожими на те, что в книгах. Толька говорил, что написано по-английски, что рельса сделана в Америке. А уже от старожил острова Седалина узнали и об истории появления рельсы на Седловатом, от которого до ближайшей железной дороги в Мурманске под сорок миль. С десятков таких рельсин, еще дореволюционных, привезенных в Мурманск союзниками по Империалистической для строительства Мурманской железной доро-

ги, доставили на остров во время войны, но уже Отечественной, для нужд зенитчиков. Половину их распилили и забетонировали в брустверы капониров, а четыре целиковые рельсины использовали для несущих перекрытия блиндажей-землянок.

После разборки их три рельсы пошли уже в маячное дело: две стали основами для лестницы на маячную горку, а еще одна пошла в фундамент пристройки к большому дому. А вот эта так и лежит за складом.

...Но сейчас Тольку заинтересовала длинная, не короче рельса, изрядно помятая и погнутая водопроводная труба. Опять же, как пояснял Седалин, она осталась после перестройки здания маяка: в таких трубах протягивали силовые кабели в машинном помещении. Стало быть, эта ненужной оказалась.

«Все понятно,— сказал Толька и некоторое время высвистывал «мурку», что-то сравнивая на взгляд, поочередно глядя на трубу и на берег озера, где в паре метров от воды начинался крутой спуск до самой южной оконечности Меловой бухты,— так-а-к, завтра у меня дела другие, а вот послезавтра буду осушать озеро!» И, ничего не поясняя более удивленным братьям, ушел домой, все так же насвистывая «мурку».

— Т-ы-ы, чего, Толян? Ведь завтрава хотел осушать?

Толька отрешенно посмотрел на запыхавшегося Николку, хмыкнул:

— Где завтра, там и сегодня! Пятилетку за три года — наш пролетарский девиз. Ладно, хватит болтать, пошли всей шайкой-лейкой трубу сюда волочить,— но снизошел и на ходу пояс-

нил Николке, — сегодня самый фартовый на это дело день. Так бы Косой разорался: мол, я за склад отвечаю, а вдруг запыляется? Чем тушить-то, ведь воды в озере тю-тю! Того не поймет, лопь мончетундровая*, что склад никогда не загорится, даже если его бензином облить; ведь построен по уставу флотской интендантской службы из пропитанных креозотом — это смазка такая — бревен, а через полтора месяца дожди пойдут — и снова чаша полная! Сегодня же Косой коровой своей занят, сюда не сунется.

Все же Николка чувствовал: зачем-то Толька оправдывается в затеянном, раз ему подробно все объясняет, да еще зачем-то добавил:

— А потом доброе дело сделаем: вода в озере стоячая, на дне всякой дряни накопилось. Тухнет вода-то, а мы и Гусаровы ее для домашних дел и для бани пользуем. Вот и помениаем тухлую на чистую дождевую.

Наконец-то Толька повеселел и даже рассмеялся: все-таки нашел чем в случае чего отбрезнуться от Седалина и Федорова! Ведь недавно заглядывал на остров катер из санитарной инспекции, и врач-майор все талдычил: за водой питьевой следите, кипятите обязательно!

Все дальнейшие дела с трубой Николка с прочей малышней, руководимые Толькой, выполняли в полном непонимании, но и вопросов не задавали. Еще вчера он пробовал расспросить брательника: а как это вода пойдет из озера по трубе вверх без всякой механической помпы, которой мужики выкачивают по весне

* Монче-тундра — саамское название тундры в центре Кольского полуострова, там же Хибинские и Ловозерские тундры.

воду из подвалов маяка и маячного дома и заливают ее же в пожарную скальную яму около качелей? Толька отмахнулся досадливо:

— Бесполезно объяснять. Сам со временем поймешь — где-то доучившись до седьмого класса. И то если не тупой от рождения.

Пока же Николка, Васька, подоспевший со своим знаменитым магнитом Витька, мелюзга Славка и Настена по командам бугра, расставившего их в шеренгу по длине трубы, прижимали ее подошвами обуви к земле, Толька отгибал края трубы, стараясь, чтобы на сгибе она не смялась, перекрыв просвет внутренности. Один конец он с легким матерком и покрикиванием на ни в чем не повинных ребят отогнул вверх где-то на метр, а второй, чуть поболее, но и полого, растянув сгиб чуть ли не на треть длины. Закончив гибку, он с помощью Васьки, как уже почти взрослого пацана, всего на пару лет его моложе, сделал примерку: короткий сгиб опустил в озеро, а пологий вдоль ската скалы в сторону Меловой бухты. Снова поставил ребятню на трубу шеренгой и сам прошелся подошвами сапог, приминая ее, как важно объяснил, «к рельефу местности».

А затем и вовсе началось загадочное: снова развернул трубу загнутыми концами вверх, велел держать ее в таком положении, а сам вставил в ближний к берегу конец загодя принесенную из дома жестяную воронку и стал лить в нее также припасенным ведром воду, черпая из озера. Когда вода в трубе дошла доверху короткого загиба, Толька велел Ваське зажать трубу ладонью, а сам долил тоже до верху и в пологий загиб, который заткнул тоже загодя

вырезанной пробкой. После чего перехватил у Васьки короткий конец, зажал своей ладонью и велел всем остальным медленно и осторожно разворачивать трубу. Ладонь он убрал уже со дна озера, вымочив по плечо рубаху.

А дальше Николка и вовсе вытаращил глаза: Толька резко вытащил пробку с другого конца трубы, тотчас прильнул ртом к нему и с усилием стал всасываться, так что щеки и шея его побагровели, а глаза выпучились. Наконец он оторвался от трубы, из которой тугой струей полилась вода, растекаясь и сверкая на солнце по гранитному обрыву в сторону Меловой бухты.

— Ур-ра! Пошла! — Это в полном восторге закричали ребята, исключая снисходительно усмехающегося подростка Ваську. Но видно было, что он-таки до конца не верил в затеянное. «Куда ему, — подумал Николка, — он ведь только четыре класса окончил...»

Герой же Толька с минуту отплевывался и шумно дышал, приходя в себя.

— Да-а, — деловито сказал, сплюнув в последний раз, — ну и тухлятина! Во рту одна горечь. Эй, ребята, чем-нибудь зажевать ее не найдется? — И прозрачными светло-синими глазами, но еще с краснотой от натуги, посмотрел на Николку с явным намеком.

Тот вздохнул, достал из кармана сверток с оставшейся половинкой слепленных вареньем шанег и обреченно отдал Тольке. Но сожаления не было: заслужил, так заслужил!

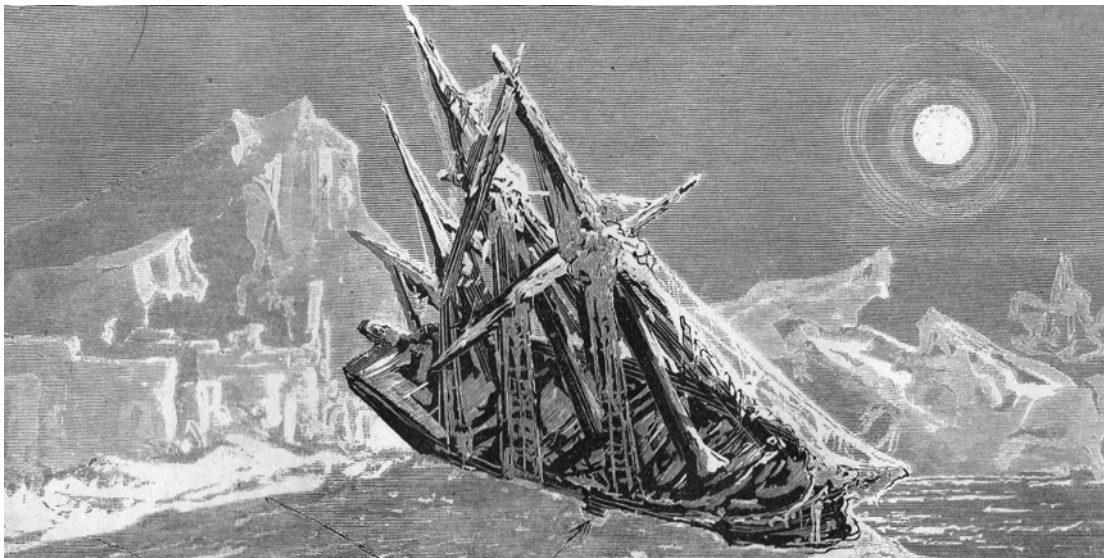
Толька еще не успел дожевать шаньгу, усевшись на вересковую кочку, как из-за угла склада вышел, прихрамывая, Трофим Матронин, явно заинтересовавшийся хорошо видимыми

с маячной горки скучковавшимися пацанами. Он внимательно осмотрел трубу, даже подошел к сливному концу, присел, что-то сравнивая на взгляд: зырк в сторону озера, зырк на конец трубы с льющейся водой:

— Да, Толь-Андреяныч,— снисходительно-уважительно обратился он к герою дня,— не зря в школе штаны за партой просиживаешь и койку в интернате занимаешь. Хорошо практическую гидромеханику знаешь. Молодец! Небось разницу уровней трубы на аршин сделал?

— Стараемся, Трофим Игнатьич,— в тон ему ответил Толька, но лишь после того, как степенно и со вкусом дожевал последний кусок шаньги,— точно так, на аршин без малого получилось. Думаю, что и илом тот конец не забьется; я руками там дно проверил, мути нет. Ладно, пойду домой отсыпаться от рыбалки и этой возни. А вы, пацаны, тоже шли бы куда, вода до ночи течь будет без вашей помощи, а то Седалин с Федоровым, увидев вас с горки, сюда припрутся и ор устро...

Толька, польщенный похвалой Трофима, самого ученого человека на маяке после отца, настроившийся было на технический разговор об откачке воды из озера, замолк на полуслове, ибо над маячной горкой после хлопка выстрела взлетела зеленая ракета. И пацаны вмиг обернулись в ее сторону — не хуже тех же Северко с Облайкиным, чинно сидевших у самой воды и одновременно направивших морды и насторожившиеся уши в направлении выстрела. Только Васька, несколько гордясь своим знанием дел маячного начальства, сделав лицо нарочито равнодушным, как бы вскользь заметил:



Китоловный корабль, затертый льдами и покинутый экипажем

— А это Федоров списанные по сроку ракеты расстреливает. А еще сегодня огнетушители будут перезаряжать. Айда со мной туда!

ПЕРЕЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ И МАЯК-СИРЕНА ОСТРОВА СЕДЛОВАТОГО

Трофим и Толька снисходительно посмотрели на пацанву, помчавшуюся наперегонки с собаками на маячную горку, еще с пяток минут деловито поговорили на тему гидромеханики и разошлись: Толька — домой обедать, а Матронин вслед за ребятами на горку; похоже, Федоров решил за сегодня переделать все накопившиеся за время летних отпусков маячников дела-докуки. И его сейчас хватятся. Совсем недавно Колун кричал на маячников: «Лета с гулькин хрен осталось, а у нас к осенне-зимнему сезону ничего не готово. Вот нагрянет проверка из гидроотдела, да еще с Шулейкой, и всыпет нам по первое число! А то все по отпускам разъездились, никого на острове и с фонарем в светлый день не сыщешь, когда понадобятся!»

Ну-у, усмехнулся Матронин, неспешно взбираясь по лестнице на маячную горку, хватил лишку Федоров с отпускниками-то. Всего-то Андреяново семейство по-настоящему, на два месяца без малого уезжало на Большую землю. Да им и надо, ребята малые — их на юг не возить каждый год, так рахитиками мигом станут... не лучше меня, хромого. Э-эх, жисть! Пора, пора отсюда манатки сматывать. Ну, еще сама Улита федоровская с Витькой и Настеной

на июнь месяц ездила к дальним родичам в городок Рамонь Воронежской области. Так ведь Улита — единственная из баб на маяке не работает, все на какие-то хворости в груди жалуется. Да им и Федоровой зарплаты начальничьей хватает.

Степану-косому и Глахе некуда ездить, не в Монче же тундре рыбу тщедушную удочкой на берегу Умбозера ловить? Ваську с Танькой на две смены в пионерлагерь куда-то под Орел отправили; сам Косой на неделю смотался к брательнику на соседний маяк острова Большой Олений, что на прямой видимости отсюда, флажками по сигнальной азбуке в ясную погоду можно перемахиваться... И Глаха чуть подолее погостевала у сестры в Мурмахах — тоже не намного дальше, последняя станция перед Мурманском, если железкой ехать из настоящего отпуска на Большой земле.

Гусаровы, понятно дело, не затем сюда забрались, чтобы по отпускам разъезжать. И он сам второй год ни шагу с острова: надо же подкопить хоть что-то на новую жизнь! Вот и получается, что все лето и почти вся рабсила на местах. Чего это Колун разорался? Кто виноват, что сам с острова ни ногой? Боятся что ли должность свою малозавидную упустить?

Поднявшись на маячную горку, Трофим застал всех в сборе: от Северко с Облайкиным и ребят до самого Федорова, что, чередуясь с Седалиным и Андреем, одну за другой расстреливали в ясное небо ракеты трех цветов из табельной маячной ракетницы. Слава богу, за всю прошедшую годовщину — от прошлой осени до сего дня — ничего такого, чтобы давать

ракетами знак опасности или еще чего, не случилось. А ракеты надо списывать: по регламенту и чтобы отчитаться под новый комплект.

Николка и другие пацаны давно и с нетерпением ждали этой стрельбы ради высоко ценимых у них, наряду с магнитами и увеличилками, толстыми картонными гильзами от выстреленных ракет. Но гильзы доселе были большой редкостью, поскольку их полагалось сдавать для отчетности комиссии гидроотдела; те же их с собой увозили. «На спичках экономят, — даже Федоров, осторожный насчет высокой начальственной политики, ворчал, пересчитывал в прошлом году отстрелянные гильзы, — в обрат их нельзя употреблять, латуни в поддонцах с гилькин хрен; все равно у себя на базе на помойку выбросят!»

...А вот в самом конце зимы Федоров, зачитывая на политзанятии очередные служебные инструкции и разъяснения, поступившие из политуправления и хозотдела гидрографической службы флота, сказал: «Наконец-то, дурь эта с ракетными гильзами и стекляшками от огнетушителей закончилась; велено теперь дрянь эту не собирать, а просто по акту списывать. За моей и Седалина, как завхоза, подписями. И еще третья — вроде как недолжностной член списочной комиссии».

Новость эта мигом разнеслась среди ребятни, не задействованной еще к школьной учебе в Полярном. А те узнали по приезду на весенние каникулы в марте месяце.

И вот настал день торжества для ребят. Восторгу их не было конца при каждом выстреле, когда шипящая ракета уходила высоко в не-

бо, на несколько секунд как бы зависала в выси, а потом, угасая, падала и вовсе исчезала, вся сгорев в разбрызгиваемых цветных искрах. Даже собаки, поначалу прижимавшие уши и приседавшие на задних лапах при выстреле, попривыкли и, радуясь за ребят, весело забегали округ людей, широко размахивая хвостами и, задирая морды, лая на светящиеся, описывающие круги ракеты.

Больше всех повезло Ваське, которому, как старшему, расщедрившийся Федоров, дал выстрелить. Удостоился бы и Толька, но он уже считал ниже своего достоинства являться на толковище ради таких пустяков. И вообще он как-то, то ли шутя, а может и взаправду, сказал по секрету Николке, что у него надежно припрятан найденный им где-то в окрестностях Полярного вполне исправный револьвер. Правда, с обломленным курком...

Не считал себя обделенным и Николка: ему достались целых три гильзы, да еще пара упавших после выстрелов металлических цветных закрывашек, что в заряженном ракетном патроне вделаны в верх гильзы: они цветом соответствуют выстреливаемой горючке, и еще на них, в зависимости от цвета, выдавлены вовне один, два или три пупырышка; чтобы в темноте на ощупь определять цвет выстреливаемой ракеты.

Все хорошее скоро заканчивается. Закончились и списанные ракеты. Ушел домой Федоров — чистить от нагара ствол ракетницы. Но, уходя, предупредил Седалина: «Через полчаса будем огнетушители перезаряжать, так что за коровой баба твоя посмотрит, а ты сам далеко не уходи. И ты тоже, Трофим. Андреян с Гу-

саровым на маяке с дизелем возятся; пусть шабашат и тоже присоединяются. А вообще-то пока ракетницу почищу и смажу, вы с Трофимом стаскивайте сюда, но поближе к обрыву все огнетушители, а на маяке только дежурный не трогать. А затем из маячной кладовки — все одно ключи у тебя, Степан — сюда же несите оба ящика с причиндалами для зарядки. Да-а, я заодно дома подхарчусь, поэтому не дожидайтесь, начинайте огнетушители опорожнять».

Николка ликовал: надо же! В один день и друг за другом, пожалуй, два самых интересных события на маяке. И хотя от перезарядки огнетушителей никакой добычи не ожидалось, зато сама разрядка их почище всякого кино!

Седалин с Матрониным пошли за огнетушителями, что имелись на маяке и в большом доме, а выкликанных из дизельной Андреяна и Гусарова Седалин на правах завхоза отправил за огнетушителями по своим домам и на складе. Ключ от него Седалин вручил со значительным лицом, мол, высокое доверие тебе оказываю, Андреяну. Тот усмехнулся, но промолчал.

В этот момент командования Седалина его Васька громко сказал, указывая пальцем левее здания маяка на залив:

— Смотрите! Крейсер подбитый идет! Где это его так?

Все, взрослые и пацаны, обернулись в сторону залива. Действительно, со стороны входа в залив с моря медленно двигался крейсер, относящийся к классу — это Николка со слов отца уже знал — тяжелых, сильно наклонившись на правый борт.

— Это «Октябрьская Революция», — ска-

зал отец, — подбить его сложно, да вроде сейчас и некому. А на бок дифферент под пятнадцать градусов дал потому, что команда отрабатывает борьбу за живучесть: специально заполнили балластные емкости по правому борту водой. Закончат учения — откачают на рейде в Североморске. Пошли, Паша, огнетушители волочить!

Все мужики разошлись по делам, а ребята забежали за маяк к обрыву в залив и все рассматривали «Октябрьскую Революцию». А Николке стало жалко крейсер, хотя это и было учение, то есть понарошку. Раньше он несколько раз видел его, проходящий то в море из Североморска, то возвращающимся на свою базу после похода. В любую погоду зимой и летом, в майские шторма и раннеосеннюю непогоду этот красавец, как будто на каждый выход в плавание заново окрашенный в шаровый* цвет, подчеркнуто горделиво рассекал своим фигурно выгнутым форштевнем воду залива, как бы и во все не обращая внимание на волнение моря: даже пятибалльный шторм не колебал его мощный корпус. На рубочной мачте, облепленной антеннами радиолокаторов и еще какими-то замысловатыми устройствами, назначение которых сам отец объяснял несколько неуверенно, даже в штиль развеивался по ходу корабля флаг; как и кормовой вымпел. Орудия главного калибра грозили невидимым врагам по курсу и по кильватеру, а боковые башенки ошметинились стволами, казалось, прямо на Николку — никакого не врага крейсеру. И вообще никому не врага.

* Различные оттенки серого цвета: от светлого с синевой до темно-сталистого; обычная окраска кораблей, базирующихся в северных водах.

И проносился флагман Северного флота лишь для приличия и почитания указаний лодки, сбросив обычную крейсерскую скорость до двенадцати миль, уверенно по самому глубокому фарватеру в трех кабельтовых у восточного, высокоскалистого, обрывистого берега залива, всего-то шириной на траверзе Седловатого в полторы мили, и так шел до Североморска, хотя бы эта ширина там спадала до мили с небольшим. Несся, не уступая никому курсовую линию, и робко сторонились стального чудища не только свои и иностранные сухогрузы, но и эсминцы и идущие на дизелях в подвсплытии подлодки, не говоря уже о торпедных катерах. Впрочем, торпедники с лихостью и некоторым щегольством огибали крейсер, закладывая крутые виражи, нарочито поднимая за кормой двух-трехметровый веер вспененной волны. Мол, и мы не лыком шиты! А будь у тебя на флагах и гюйсе та же свастика или полосы со звездами, так одним торпедным залпом пустим на дно, а вражеский экипаж живо приоденем в деревянные бушлаты...

Но «Октябрьская Революция» снисходительно посматривала с высоты своих палуб с огромными пушками, казалось, даже добродушно посмеивается в треньканье и подвывании обычных сигналов встречным по курсу кораблям: резвитесь, мол, ребята, фордыбачьте, военно-морские каботажники! И вы, годки экипажные, конечно, мореманы brave и отчаянные, даром, что в военное время катерники почти что смертники, но очень уж перья свои водяные за кормой, словно павлины, не распускайте!

А вот сейчас крейсер, дико и страшно для смотрящих с берега ушедший правым бортом едва не до выступающих башенок боковых орудий, совсем потерянно тащился на пяти-шести милях. По наклоненной в сторону Седловатого палубе между орудийными башнями в два этажа стволов и корабельными надстройками высотой с городской дом тоже как-то неуверенно, а не лихо с каблучным пристуком, бродили матросы: как бы им и заняться нечем.

И борта вроде как потеряли свой щегольской сине-серый оттенок, смотрелись даже на высоком и ярком солнце какими-то комковато-грязными, неухоженными. Очень даже похож на Облайкина, в прошлом году, хорошо летом, в штиль на море, сорвавшегося с отвесной скалы — той самой, к которой сейчас маячники сносили огнетушители, да еще и упавшему на торчащий из воды камень-утес. Хорошо — умный пес, сообразил взять влево, оплыл выступ со скалой-пирсом и выбрался на пологий галечно-ракушечный берег Меловой бухты. Малец тогда, Николка даже всплакнул, увидев уставшего, понуро бредущего — подскакивающего на трех лапах, промокшего и взъерошенного, держащего на весу покалеченную лапу. Показалось Николке, что редкими крупными каплями вытекают из глаз несчастного пса слезинки.

К счастью, лапа скоро зажила; уже через неделю Облайкин носился наперегонки с Северком. «Правильно говорят: заживет как на собаке», — сказал тогда Трофим Матронин, сам колченогий от рождения, потому и сочувствовавший островной собаке.

Меж тем крейсер зашел за траверс Большого Оленьего и скрылся из виду, а на скале у противоположного маяку берега началась разрядка отслуживших срок, слава богу, не понадобившихся, огнетушителей. Мигом забыв о крейсере, ребята выскочили из-за маяка и помчались на очередное толковище.

Набралось шесть огнетушителей: ярко-красных, каждый по плечо Николке, но маячники легко («Как стопку водки», — шутовал чем-то, очевидно, обедом, довольный Федоров) хватали их за ручку и под донце, опрокидывали и верхним шпеньком с размаху хлопали о камень. Затем направляли сильно бьющую, размахренную шипящую струю в сторону обрыва. Уже после двух опорожненных Федоровым и Пашей Гусаровым огнетушителей обрыв побелел, как обсыпанный снегом — явно не по сезону.

— Ничего, до первых дождей. И все смочет, — ответил Федоров на молчаливый вопрос Андреяна, не переносящего какого-либо беспорядка. Все об этом на маяке хорошо знали, и за глаза иначе как чистоплюем его Федоров не именовал.

Старшему годами Ваське и здесь повезло: конечно, врубать огнетушители ему не доверили, но уже приведенный в действие Седалин решил поддержать, поставив донцем на землю.

— Смотри, не опрокинь, — поучал Ваську его отец, — а то потом не отмоемся.

...Вот и последний лихо, раскачивая струю вправо-влево, Трофим опорожнил. Маячники начали не столь интересную для ребятни перезарядку: развинчивали крышки баллонов, вытряхивали на подстилку для мусора разбитые

стеклянные колбы, в которых хранилась кислота, скребками отчищали внутренние стенки баллонов от грязноватых, прилипших комков застывшей в кислоте щелочи, промывали их водой, которую зачерпывали конусным пожарным ведром из пожарного же озера по соседству. Все это Николка хорошо помнил по прошлому году: когда баллоны просохнут на солнце, в них начнут засыпать через жестяную воронку желтоватый щелочной порошок, вставлять запаянные стеклянные колбы с кислотой, закручивать на баллоны крышки с подпружиненными шпёнками...

Все это не слишком интересно. К тому же из открытой форточки седалинской квартиры маячного дома, несомый легким налетевшим с залива ветерком, вытекал густой запах поджариваемой трески — видно, Глаха ожидала скорости к позднему обеду хозяина и Ваську. Танька, по всей видимости, находилась дома при матери, училась кухарить. Желудок у Николки тотчас свело, слишком давно не ел с утра, а персик и половина слоеной шаньги только на время успокоили его.

Видно и отец, только что завинтивший крышку огнетушителя, учуял запах и заметил, как Николка непроизвольно сглатывает слюну. Обернулся к сыну

— Слышь, Кольк! Все одно до ночи ты до дома не дойдешь. А я уже чаю в каптерке напился. Так что топай на маяк, возьми в моей тумбочке... там в бумагу завернуто, и чай еще в термосе остался. Поешь. Только не сори, все аккуратно снова в тумбочку и положи, а бумагу

в урну выброси. Иди и ничего там не трогай из железок и проводов.

Вот это уже не просто повезло! Одному за хозяина на маяке. Да еще и поесть можно. Дважды повторять не надо — Николка, мигом забыв об огнетушителях, побежал к раскрытым настежь железным дверям-воротам маячного дома. Ибо раньше ему просто разрешалось зайти, посмотреть на работающий дизель, но даже близко ни к каким механизмам не подходить, а на маячную прожекторную вышку и вовсе нельзя подниматься, когда прожектор в работе. Но голод не тетка. Даже не таинственный дядька Лазарь, о котором мать говорит тихо, опасливо оглядываясь, а отец многозначительно хмыкает: дескать, на своих же нарвался, полковник НКВД! Достал из отцовой тумбочки сверток, термос и стакан в подстаканнике. С голодным урчанием, не хуже Северка с Облайкиным, съел два куса вяленого палтуса, отрезал от полбуханки два ломтя, наложил на них уже мелко порезанного сала с мясной прослойкой и несколько кружков копченой колбасы, что купили еще в Мурманске, возвращаясь из отпуска. Все это запил стаканом чая, почувствовал: так наелся с голодухи, что даже в сон потянуло. Но и отцу оставил почти всю любимую им копченку и половину имевшегося в свертке палтуса и сала. А чай тот все равно по три раза за вахту заваривает, благо голландка на маяке летом топится круглосуточно на малом огне — по инструкции, чтобы сырость и плесень на электропроводах и кабелях не заводилась.



Семья белых медведей на плавучей льдине

Перешел с табуретки на протертый топчан, накрытый выцветшей от времени, пахнувшей машинным маслом домотканой дерюжкой, явно кем-то из маячников давно вывезенной из родной архангельской или вологодской деревни и много лет служившей уже здесь, на севере, домашним половиком... Это Николка хорошо знал и по своему дому, где все накидки, кружевные занавески и те же груботканые половики еще до появления Николки на свет мать привезла с собой, когда ее дом, а заодно и вся деревня на берегу Онеги сгорела в знойный июльский день. И горько шутила: «Как знала, что погорим, с вечера большую стирку затеяла и все-то вывесила на дворе; вот и огонь не тронул, оставил вдовице с двумя детьми на северное приданое...»

Снял обувь и вытянулся, чуть поерзал на жестковатом топчане, нашел покойную позу. В низенькой каптерке, значащейся в инструкции, что висит на стене в рамке под стеклом, как «дежурное помещение», не холодно, как в огромном машинном зале, полутемном, со множеством железных механизмов, с метровыми бетонными («На случай бомбежки строили», — то ли в шутку, а может всерьез, говорит отец) стенами, но приятно тепло от умеренно топящейся голландки. И запах, если попривыкнуть к нему, совсем как домашний летом, когда мать не разжигает печь, а готовит на керосинке. Словом, самое обжитое место в маячном здании.

В каптерке светло, хотя окошко под самым потолком и размером чуть поболее обычной форточки, но все одно в раскрытую дверь хорошо виден основной дизель-работяга, а за ним угадывается и дежурный, запасной: оба огром-

ные, высотой с Николку, шириной со взрослого человека, а по длине не уместились бы в большой комнате их дома.

Из полутьмы машинного зала выступают они своими блестящими, лоснящимися от летней консервации тонким слоем тавота... Здесь Николка мгновенно уснул.

ГУСАРОВЫ, ДЛИННЫЕ РУБЛИ И ПОЕЗДКА ЗА ТРИ МОРЯ

— Эх тебя сегодня разморило! Наверное, и сиреной, если бы маяк работал, не разбудишь.

Легкий, всего-то с полчаса как удержавший Николку в своих покойных объятиях сон мигом отлетел; как и прилетел давеча.

Вошедший отец, оттирая проклеросиненной ветошью руки, испачканные на зарядке огнетушителей, похвалил вскочившего на ноги сына за аккуратность: ни объедков, ни газетных обрывков — все в мусорном ведре, а остатки обеда в тумбочке. Главное же, что понравилось отцу, — спал разувшись.

— А теперь я вздремну с полчаса, так что освобождай койку, — отец коротко рассмеялся, что-то вспомнив, — это как в учебке, когда нас из Кронштадта срочно перебросили на Соловки. Там полный бардак еще с двадцатых годов был, как лагерников на материк перегнали Беломорканал строить, поэтому для начала заставили в бывшем монастыре самим себе казармы оборудовать: мусор выносить, стены с нарисованными иконами скребками скоблить и известкой забеливать... А красиво стены-то распи-

саны были; по молодости не понимали, а комсорг наш ротный все Маяковского и Демьяна Бедного, мужика вредного, нам зачитывал из журнальчика «Блокнот агитатора»: мол, и до неба допрыгнем, всех чертей с богами разгоним оттуда... Один годок, Гришка Вертьянов, откуда-то из-под Ярославля призывался, парень здоровенный, из дьячковой семьи, психанул на него и ведро известки, как был на стремянке, покачнувшись, на башку тому вылил. Вместе с журнальчиком.

Хорошо старшина был матерым, еще в Империалистическую на Балтфлоте начал лямку тянуть, так утихомирил комсорга с его «вражеской диверсией матроса Вертьянова», пообещав три наряда за отлынивание от общих работ. Впрочем, война потом всех уравнила. И Гришка, и комсорг, как вся наша рота, в эти края попали. Определили обоих в катерники... ну, из них мало кто выжил. Они — тоже. Так к чему это я? — А-а, пока казарму себе городили, так спали в кельях монашеских, куда понапихали, сколько можно, коек железных, но все равно только на половину братвы хватило: больше не уместилось, кельи-то крохотные. А бравый наш старшина и отдал команду: спать по очереди, а работали круглые сутки; все одно лето северное, ночью светло.

Отец скинул сапоги, лег на топчан, махнул отпускающе рукой: иди, мол, по своим делам. Но вдогонку добавил:

— ...Не как здесь, конечно, но светло. Солнце не катится по горизонту, все же заходит, но шапка остается.

Николка вышел в прохладную дизельную и

со всегдашним изумлением и невольным страхом посмотрел на сирену: огромную, бóльшую, чем железнодорожные цистерны с нефтью или бензином, круглую трубу-махину, что поднималась от пола и уходила в потолок маячного здания. И настолько округло-толстую, что только половина этого цилиндра находилась внутри, а вторая высовывалась за наружную стену маяка.

Даже при виде ее, летом молчащей, ему стало очень неудобно и страшно. Ознобом продернуло по спине, и ноги вроде как перестал чувствовать: словно от колен и ниже не ноги вовсе, но какой-то пружинящий войлок или вата. И сразу потянуло по малой нужде, но Николка все продолжал зачарованно, чувствуя частые удары сердца, смотреть на тускло блестящую в полутьме помещения гигантскую трубу.

Еще на Палагубском, далеко отсюда, Николка также тосковал, слыша отдаленный рев сирены на Седловатом острове. А когда переехали сюда, в конце самого лета, то в первое же опробование работы маяка, услышав этот страшный, одновременно хрипящий и протяжно стонущий рев совсем рядом, Николка так перепугался, что позорно налил в штаны и до самого вечера как ни открывал свой рот, пытаясь что-то сказать, но так и не получалось. И мать перепугалась, тем более — совсем еще малый Славка полдня кричал, захлебываясь в слезах. Посерьезнел и отец: «Ничего, отойдут. Это с непривычки. Когда нас на Торосе немцы в первый раз бомбили, так Жора Асатурьян затем двое суток молчал, потом заговорил. Спрашиваем: испугался что ли? А он в ответ на русском и армянском мате: пугался только когда отец в

первый раз порол, а я просто что-то вспомнил, когда бомбы рваться начали: вот дурак же я! После той порки, а было мне всего четыре года, убежал за село и на пригорке под валуном нашел кем-то заначенные в ветошке золотое кольцо и — сколько пальцев на руке — золотых же червонцев. Взял и перепрятал. А вечером, когда домой поздно явился, отец вдругорядь выпорол, потому, наверное, и забыл куда перепрятал. Сколько потом не искал — фига! А вот сейчас вспомнил!»

Но Николка, скрепя сердцем и душой, вскоре попривык к сирене. Отец же объяснил: такие звуки — самые слышимые и пугающие в туман или в сплошной заряд*, поэтому их на корабле, идущем вслепую, по лоции и маякам, никак нельзя не услышать и спутать с другими звуками.

Затем Николку заинтересовало: а как в трубе, хотя бы и в такой огромной, такой рев получается? Отец объяснил: в трубе сирены вверх-вниз движется поршень — это как войлочный пыж, который вот я загоняю в гильзу патрона, готовясь к охоте. А движется он под давлением воздуха, который нагнетается вовнутрь от компрессора, мотор которого запитывается от дизеля. Когда же поршень быстро движется вверх, или медленно опускается вниз, то он и издает этот звук: вверх — ревущий, вниз — стонущий.

...Выходя с маяка, Николка столкнулся с Пашей Гусаровым:

* Плотный, густо идущий не один час подряд снег (флотск).

— Что, Андреяныч, подежурил за нас с отцом? — И подмигнул ему:

— Будешь внизу, так зайди к нам. Верка тебе что-нибудь из посылки еще даст; Славка не все осилил.

Здороваться и благодарить на острове не принято, телячьи нежности, поэтому Николка сказал короткое «угу» и вышел на яркий свет улицы.

Как ни странно, после короткого сна снова захотелось есть. Поначалу даже мысли не возникло воспользоваться приглашением Паши Гусарова; слишком часто мать, а особенно отец, учили его уму-разуму: живи по флотским правилам: не угодничай, не проси, не бойся, но опасайся только идиотов и не выслуживайся. Все одно не того ты рода-племени, чтобы в чинодралах ходить!

Однако ноги его как-то сами, хотя и в нерешительности, зашагали в сторону лестницы с маячной горки. А на языке, перебивая устойчивый доселе вкус вяленого палтуса и копченой колбасы, все ошутимее нарастал запах и сладость с утра съеденного винограда и позже — персика.

Николка по отдельности понимал все слова привычного обихода, но еще не научился применять их на себя, выискивая наиболее удобное в данный момент их толкование. Вот и сейчас: это *не проси* мелким чертиком вертелось в голове. Но додумался: ведь он и *не просил*? Это же сам Паша Гусаров позвал его. Конечно, узнав от него же или от Веры, мать поворчит насчет халявников: «Дома что ли есть нечего? Экая невидаль — виноград в посылке запредельный и

персики эти водянистые, как морошка. Только что в деревне два месяца жил, так нечто ягод не наелся? Вишня и крыжовник у Настасьи тоже к отъезду созрели!» И что-то еще мало-одобрительное, даже обидное. А отец нахмурится, цыкнет ртом да еще скажет, как досадливо сплюнет: «Что, Колька, может совсем на чужой харч перейдешь?»

С раскрасневшимся лицом, то стыдясь, то оправдываясь перед собой, Николка совсем было подошел к двери дома Гусаровых, в то же время искоса поглядывая на свой дом: а вдруг мать увидит, выйдя на улицу? Хорошо хоть торцом дом стоит безоконным. И снова засмурнело на душе, развернулся спиной к двери, но здесь хлопнула дверь, голос Веры Гусаровой мигом прекратил все его сомнения:

— Вот хорошо-то, Николка, что ты как раз *мимо нас проходишь!*? А разве Паша не говорил, чтобы зашел? Ну, пошли в дом, а то вечер уже скоро, а я сегодня одна кукую. Вот и кавалер компанию составит чаю попить. Пошли, пошли!

Ему и раньше доводилось бывать у Гусаровых. В доме все было так же чисто и аккуратно, как и у них самих, но как-то по-иному, главное — привезенных из Ташкента ковров много. А мать — со слов Веры — говорила: «Вот Гусаровы, даром что молодые, все наперед знают. Спрашиваю Веру — вот докука вам была тяжесть-то такую, ковры сюда везти, а потом обратно? А она смеется, дескать, зачем обратно? В Ташкенте их завались по-дешевке, новые и лучше купим за длинные рубли. Эти же нарочно везли с умыслом: сами ими здесь попользуемся — тепло в доме и на душе, как посмотришь по

стенам-то, а уезжать будем — в Полярном офицерши с руками оторвут, не считаясь заплатят!»

А между тем и мать, и отец, особенно он, — со своей староверческо-калужской вьедливостью, как мать это называла, плохого слова про соседей не позволяли себе говорить. «Это все не от жадности, — соглашался отец, — малолетками в своем Ташкенте в войну насмотрелись на беженцев... не из тех, что с мешками золота-бриллиантов краденых в глубоком тылу отсиживались, а на настоящих, без кола и двора оставшихся, вот и научились сызмальства ценить рабочую копейку. Не для нее самой, а чтобы жизнь не портить мелочной тягомотиной. Я и сам безотцовщиной и без матери помыкался беспризорным, пока Лазарь мной не занялся, по себе эту неустроенность знаю...»

И чай у Гусаровых другой и по-другому его пьют; на что уж отец чаевник знатный и придирчивый («Ты, мать, как соберешься в следующий раз в Полярный, так запиши номера, по которым китайский цветочный брать!»), но здесь Вера заварила и вовсе какой-то необычный, сразу наполнивший комнату, завешанную бухарскими коврами, таким сладко-пряным, цветниковым запахом, что у Николки рот немедленно наполнился слюной.

— Это особый чай, тоже в посылках прислали; такой только на базаре в Ташкенте или в Самарканде продают. Сушеные цветочки и даже ягодки перемешивают с высушенным кирпичным* китайским. И сушат его, распотрошив кирпичи,

* То есть чай-сырец: собранный, высушенный не до конца и спрессованный в «кирпичи» — для удобства перевозки.

по-особому, в саду между персиковыми деревьями на специальных циновках, из травы сплетенных. Я вот как в педучилище-то занималась, так у нас ботанику преподавал по пенсионному возрасту бывший заведующий лабораторией из научного сельскохозяйственного института. Он все о чае знал и нам много чего рассказывал. Сам же еще у Тимирязева учился. Знаком был с Мичуриным, Лысенко-академиком и Вильямсом. Вот будешь, Николка, в школе сам учиться — узнаешь, кто это такие.

Чай же у Гусаровых заваривали в большом, расписанном розами фарфоровом чайнике, на который хозяйка надевала куклу — мохнатую, ворсистую снаружи, тоже как ковер. А наливала она не в стаканы или чашки, а в фарфоровые же высокие мисочки, которые называла пиалами. Как и дома — пили только вприкуску с мелко колотым синеватым сахаром. Еще Вера придвинула ближе к гостю ранее им никогда не виданную вазу на фигурной ножке, тоже узорчатую, а если по ней случайно задеть ложкой или чем другим металлическим, то ваза отзывалась ясным звуком: дзи-и-нь! В вазе же насыпаны горкой разные шоколадные конфеты в обертках: «Кара-Кум», «Ласточка» и «Озеро Рица».

После второй пиалы чая Вера принесла и поставила перед Николкой большую плоскую тарелку с красным и иссиня-черным виноградом, несколькими персиками и огромным красным яблоком.

— Яблоко можешь с собой взять, съешь когда захочешь. Это знаменитый мичуринский ранет бергамотник. Еще на дорожку — небось до ночи будешь по острову бегать — дам тебе

кулечек орешков ташкентских. Ешь, не стесняйся! А я пока свежего заварю, другого сорта — с горными травками.

Николка, отказавшись от попутно предложенной жареной трески с настоящей жареной картошкой, уже не торопился и по одной штучке ел крупный красный виноград без косточек. А Вера, разогревая жестяной чайник с водой на кухоньке — чай пили в большой комнате — чуть погромче — на расстоянии — рассказывала о житье-бытье.

— У нас в Средней Азии все чай с утра до вечера пьют: узбеки и русские, киргизцы и бухарские евреи; корейцы, что рис выращивают, тоже. Как сюда ехали, так думали: закончилось наше чаевничество; небось, тут в медвежьих шубах круглый год ходят и спиртом греются. Ан приехали летом — самую малость похолоднее, за Мурманском полный почти сухой закон, а чай пьют и днем, и ночью... Зимой, конечно, тоска разбирает, особенно когда сирена ухает-воет. И домой тянет. Если бы не эти длинные рубли... Из-за них и круглый год сидим на острое. А вы как съездили этим летом? Что интересного видел, слышал? Ведь хорошо там, да?

Однако ответа дожидаться не стала, учитывая малый возраст гостя и маячную стеснительность до немоты здешних ребят, потому продолжала вроде как и для Николки говорить, и сама с собой рассуждать, как то свойственно женщинам, проводящим много времени либо одной в четырех стенах, когда муж на полусуточной вахте, или же самой на маяке — здесь Вера переучилась из преподавательницы начальных классов на аккумуляторщицу с допол-

нительными обязанностями кладовщицы склада ГСМ, что в пригороженной к северной степе маяка подсобке из железного профиля. А все потому, что до педучилища год провела в химическом техникуме, откуда по непонятной причине ушла.

...Эту женскую особенность сама с собой разговаривать, причем даже в лицах и интонациях, Николка хорошо знал по матери. Словами-то выразить еще не умел, но смысл понимал. Только одно для него было загадкой: почему женщинам надо так много говорить? Вот он, Николка, весь день может промолчать. Отец тоже неразговорчив. Даже мать на него порой сердится, за глаза, конечно: «Идол калуцкий какой! Молчит как еловый пень, да все чай свой хлебает и книжки читает. Словом за день перемолвиться не с кем».

И Вера, понимая, что до Николки, в лучшем случае, доходит только интонация ее голоса, все говорила и говорила, даром что учительница, о своем Ташкенте, о здешних местах, о возвращении домой и будущей их там жизни: снова она в школу пойдет учительствовать, в заочный пединститут поступит, только сначала родит, а второго можно и позже... Паше тоже образование следует повысить, а не на аэродроме метеотехником всю жизнь сводки погоды в журнал записывать.

Николка же, разморенный теплом коврового дома, четвертой пиалой чая, съеденным виноградом и персиком, конфетами аж в трех обертках, в том числе серебряной, все так и застрял на вводном вопросе хозяйки о проведенном отпуске.



Хабей-Хунгар

Отец поездки в отпуск называл «за три моря сходить»: «Это как у Афанасия Никитина, тверского купца, что при царе Горохе дошел-доехал до Индии; вернувшись же через несколько лет домой, книжку с таким названием сочинил. Так и мы за три моря едем; считай: отселева до Кислой губы в Полярном на маячной моторке и от Кислой до Мурманска на рейсовом катере идем по заливу Баренцева моря — это раз. Затем на поезде едем и у Кандалакши с левого борта видим Белое море, материну родину — это два. А в Ленинграде справа по курсу Финский залив, то есть Балтика. Вот тебе и все три моря!»

...Из Мурманска поезд вышел и поначалу извивался змеей между заснеженных еще в середине мая сопок, но в Ловозерских, Хибинских и Монче-тундрах снег виднелся из вагонных окон только отдельными проплешинами. Также и на озерах, особенно больших, плавали лишь отдельные льдины. За Кандалакшей же и вовсе в вагоне пооткрывали сверху окна, куда щедро залетал совсем теплый, ничем не похожий даже на самый летний северный, ветерок, густо пахнувший чем-то вроде как давно-давно знакомым, но основательно подзабытым: только уже в деревне Николка сообразил, что это смолистый запах разогретых на весеннем солнце сосен, оттаявшей и высыхающей прошлогодней травы и пресной, не морской, пахнувшей аптечным йодом, воды озер, ручьев и рек.

Ближе к вечеру, но солнце и не думало пока заходить. Отец посмотрел за окно: «Ого, уже Лоухи, скоро Кемь, дальше Белое море увидим, а потом и Беломорканал». И мать, завидев вда-

ли, над лесом поблекшую церковную маковку повторила уже известное Николке: «Сказывали у нас в деревне старухи-богомольницы, что-де от Холмогор до Колы тридцать три Николы».

А когда солнце все же медно затускнело густым красно-кирпичным цветом, поезд пошел вдоль Беломорканала. «И так до самой Медвежьегорской будем идти, — пояснил отец, — а дальше к Онеге выйдем». И еще добавил, что только пятая часть собственно прорытый канал, а все остальное в нем — озера и реки.

Особенно поражало Николку, привыкшего у себя почти всегда смотреть на воду и корабли залива сверху, со скалистых берегов, с сопок, что поезд идет вровень с озерными и речными участками канала, а где тот прорыт, то и вовсе его насыпанные берега выше окон вагона, а баржа, идущая по каналу, как бы над поездом возвышается...

В самом же вагоне народ ехал веселый, явно ошалелый, вырвавшись с военной дисциплины и скучной размеренности заполярной жизни, не забыв еще недавнюю полярную ночь со всполохами северных сияний, позднюю затяжную весну, да и не весну даже, а окончание бесконечной зимы... Больше всего Николку восхищали военлеты, с утра до вечера группками по три-четыре человека курсировавшие через из плацкартный вагон из соседний купейных в ресторанный и обратным галсом оттуда: здоровенные, в сверкающих хромачах и светло-синей форме, перепоясанные поскрипывающими ремнями портупей. А главное — в полный восторг его приводили висевшие на их ремнях большие пистолеты в лаковых коричневых деревянных

кобурах почти до колен. «Это Стечкина пистолеты, советский маузер; положены летунам и танкистам», — снисходительно пояснял отец. На пути в вагон-ресторан от летчиков приятно пахло одеколоном «Шипр» — не каким-то там «Тройным», что в прошлом году в их доме малячники пили, поминая умершего Вождя. А на обратном уже не женщины, а мужики в вагоне с интересом принимались к несколько нестройно идущим офицерам: явственно ощущался коньячный запашок и аромат папирос «Герцеговина флор».

...Здесь Вера налила ему очередную пиалу чая.

СТАЛИН, ОДЕКОЛОН, БОЧОНОК ПИВА И КИНО НА ОСТРОВЕ

...И хотя в отцовской деревне Дворцах Николке в общем-то понравилось, особенно купаться в большой реке Угре и загорать на ее пологом песчаном берегу, уже в двух-трех метрах переходившем в обрыв высотой с два дома, который весь был высверлен отверстиями, из которых то и дело вылетали-влетали кормящие птенцов ласточки, но досаждали мухи, жуки и вечерние комары. Всей этой летающей нечисти дома не водилось.

Сдружился и с ребятами-соседями. Естественно же ехали в жаркую середину июля, и Николка по часу-другому стоял в тамбуре с открытыми взрослыми дверями. Если Николка оставался один, то приходила проводница и дверь закрывала.

У Гусаровых тоже хорошо пахло, но не «Шипром» или «Тройным», а чем-то напоминающим Николке деревню Дворцы, а именно небольшую поляну между домом тети Насти, крайним в деревне, и сосновым бором, всю заросшую многоцветьем, в середине солнечного, безветренного дня. Он заходил в середину поляны и ложился, приминая цветы и травы на мягкую, горячую землю, минут пять лежал, вдыхая этот теплый, сладковатый, щекочущий ноздри запах. Но скоро над мирно лежащим, никого не трогающим Николкой начинали с жужжанием виться мухи и какие-то жесткокрылые букашки. Порой и сердитый шмель или выюркая оса пролетали, любопытствуя незнакомым мальчиком. Это Николке не нравилось, он поднимался и уходил с поляны.

...Наверное, это духи Веры, все же догадался Николка. И видно их не пьют, как «Тройной».

До прошлого года, благо умом тогда еще очень скуден был, он знал: мужики, а иногда даже и женщины, но похихикивая при этом, пьют не только чай, компот или кисель, но наливают из бутылок что-то прозрачное, а женщинам — красное, и выпивают зараз, а затем морщатся и быстро-быстро едят колбасу, селедку и соленые огурцы. Пацанам из бутылок не наливали. Но все это он в деревне видел, на маяках таких бутылок не водилось. Обычно, когда бутылки, уже пустые, уносили со стола (а если пили одни мужики, то под стол прятали от кого-то), то начинали петь песни про Стеньку Разина с утопленницей-княжной и Хазбулат-удалого. Если бутылки покупал отец, а в де-

ревне только он и покупал, причем ящиком сразу, на весь край улицы, значит и сидел во главе стола, то он через раз запевал про тройку почтовую и низенькую светелку.

В пятилетнем возрасте он уже знал: светлая — это водка для мужиков, а красная — портвейн для женщин. На вопрос же, когда он будет пить из бутылок, отец усмехался и говорил про древних греков, где пить разрешалось только после тридцати пяти лет. «А разве я грек?» — На этот вопрос Николки все покатывались со смеху.

Но, оказывается, еще пьют и одеколон, но очень редко и только на маяках. В первый раз он это увидел прошлогодней зимой в мартовскую оттепель. Утром отец пришел с ночной вахты какой-то задумчивый. Не то что расстроенный или злой, когда у него по осени и весне, особенно когда туманы по месяцу стоят, болит живот («В войну язву прихватил», — оправдывался он), но не такой как всегда.

— Сталин умер. По радио сказали, — ответил он на молчаливый вопрос матери, — да к этому оно и шло; все намеренно по маячному приемнику про дыханье какого-то «Ченостоха» говорили. Я в госпиталях в войну лежал, уже знаю: раз доктора начинают вместо чего дельного фамилии называть — значит, дело швах. Да-а, помер наш генералиссимус. Ну-у, все смертны. Как бы бардак в верхах не затеяли, или американцы не поперли внаглую.

— Как же мы без Осипа Виссарионовича.. — начала было, сплассив лицо, мать, но отец махнул рукой:

— Как жили, так и будем жить. А ты не на толковище, не на митинге, чего же нарочито голову-то пеплом посыпать? В конце концов не родственник твой умер. Хотя и жалко, да и сколько для страны сделал? Ладно, пойду отсыпаться, встану — тогда и поем.

Николка этот разговор слышал вполуха: он уже проснулся, ибо накануне лег рано, сморила после студенкой раннемартовской погоды духмяное тепло дома: мать вчера весь день выпекала хлеба, и печь весь же день полыхала полным жаром. Но особого внимания не обратил. Про вождя Сталина так он часто слышал из динамиков на Палагубском и в избе Настасьи в Дворцах — в седловатовском доме радио тогда еще не имелось — а особенно от подполковника Шулейки, когда тот прибывал на остров и приказывал Федорову сгонять всех маячников на собрание. И полагал, что Сталин, или Вождь, как его обычно называл Шулейка, он же Генералиссимус у отца, есть что-то большое, постоянно находящееся на одном и том же месте. Как тот же остров Седловатый. Только последний вот он, под его Николки ногами, а Сталин в центре Большой земли, в Москве, через которую они ездят в отпуск в Дворцы и по которой едут в такси с вокзала на другой, из которого поезд идет на Калугу. И хотя Николка бывал в Москве, но Сталина там не видел. Зато в Полярном стоит перед Циркульным магазином его огромная статуя и смотрит пристально на подводные лодки, морские охотники и торпедные катера, что плотными косяками набили Екаторининскую бухту, самую не малую.

А смерть? — Это тоже что-то такое, к нему не относящееся. Но очень страшное. Он не помнил из-за тогдашнего своего малого возраста и сестру Светланку, что сама-то годом его меньше была и умерла от болезни в младенчестве, но мать плакала, ее вспоминая. А Николке от ее слез и рассказов недавно начали сниться страшные сны, о которых он днем старался не думать, не вспоминать.

Хотя сам Николка со Сталиным не был знаком, но хорошо, как своих домашних, других маячников, представлял себе его по кино, что несколько раз в год привозили на остров, а в Дворцах так и вообще он каждый день ближе к вечеру бегал с ребятами в клуб в Новоскаково, считай та же деревня с другого конца, смотреть за пятьдесят копеек очередной фильм.

Очень скоро Николка начал узнавать Сталина в кино: усатый, с трубкой в правой руке, согнутой в локте, в белом кителе, какой одевает по праздникам Федоров. Только без золотой звезды на накладном кармане. И говорит как-то странно, как брат материн, начальник Палагубского маяка Мишкó, когда выпьет: стараясь очень правильно выговаривать слова. Мать рассказывала, что Мишкó в малые свои года чего-то испугался и начал косноязычить, так деревенская знахарка его пользовала, а потом к доктору в Плесецк возили, тот и велел стараться говорить помедленнее и с расстановкой.

И хотя в кино Сталина называли чаще великим вождем, товарищем генералиссимусом, отцом народов, а иногда и вовсе каким-то Кобой, Николка уже стал понимать: это все один

и тот же человек. Названий фильмов он не запоминал, называл их просто «про Чапая», «про Щорса» и «про Сталина». Особенно хорошо запомнил один такой фильм — потому что там ребят чуть постарше его показывали. Так в этом кино, а его три дня подряд в клубе в Новосаково показывали, и все три дня Николка смотрел его, мальчик Петя, уже пионер, как Васька и Толька до прошлого года, нашел на сеновале в своей избе где-то в Сибири трубку, которую Сталин давным-давно там забыл. И специально за тридцать земель приехал Петя с другими пацанами в Москву и вернул трубку хозяину. А Сталин и спрашивает: «Зачем, дарагой, так далеко эхал? Мог и по почте прислать». А Петя отвечает, что трубка-то большая и в конверт почтовый не влезает. И Сталин дал ребятам конфет, сколько им хотелось. Очень Николке это кино понравилось.

Все другие про Сталина казались ему не такими интересными: ребят там совсем не показывали, а много говорили о непонятном. Но в этом году, опять же в мартовскую оттепель, Федоров предупредил всех: на днях приедет кинопередвижник и в первую годовщину со дня смерти товарища Сталина будут показывать кино «Падение Берлина». Действительно, завтра уже причалил к пирсу в Языковой бухте гидроотдельский катер, а уже через час, когда киномеханик с помощницей, молодой женщиной, пообедали у Федоровых, в самой большой комнате маячного дома, то есть в общей пекарне крутили кино.

Поначалу Николка и другие нешкольные

ребята все ерзали на отведенной им скамейке в первом ряду: все какой-то завод показывали, никакого тебе Берлина фашистского, а о Сталине только говорят-говорят, но самого в белом кителе не показывают. Зато потом как началось! Танки идут напролом, пушки грохочут, бойцы наши фрицев прикладами и штыками колошматят... А потом и Сталин в белом кителе с золотыми погонами во весь экран.

Когда, забрав Тольку прямо из интерната в середине мая, поехали в отпуск, Николка похвально ему, что-де такое кино без тебя на Седловатом показывали! Но Толька огорчил его: сам два раза смотрел, и вообще он в Полярном через день кино смотрит в декафе. А еще годом раньше, когда Сталин был жив, тот же Толька разочаровал его, сказав, что в кино показывают не настоящего Сталина и вообще не тех людей, которые представляются, а их заменителей, актеров. Николка долго этому не верил, хотя и отец, и Юрка подтвердили. И еще Толька, много чего знающий из жизни в таком большом городе как Полярный, сообщил брательнику по секрету, взяв страшную клятву, что исполняющему роль Вождя актеру-грузину сам Сталин, если очередное кино понравилось, велит отпустить из кремлевского склада сколько унесет коньяка и пиратского ямайского рому. А если актер огорчит его, то лично же дает затрещину и двадцать щелбанов костяшкой пальца.

Когда же Николка все это пересказал отцу, горя такой новостью, то тот пригрозил поркой ему и Тольке. А тот, зазвав брата в сарай, тоже лично влепил затрещину и горсть щелбанов, приговаривая: «Это я тебя на вшивость проверял.

Теперь знаю — никаких тайн доверять тебе нельзя. Тем более — *политических!*» С тех пор Николка никому ничего не пересказывал.

...В тот день, когда умер Сталин, отец после вахты проспал до полудня. Проснулся и велел матери ставить воду для чая на плиту и разогревать еду. Однако захлопала входная дверь, в дом вошли все остальные маячные мужики, исключая вахтенного Матронина.

— Давай, Андреян, помянем Вождя, — как-то вбок глядя, сказал Федоров. У нас на горке как-то неудобно, бабы опять же, а где баб больше одной, так все наружу выплывет. Еще дойдет до Шулейки, что в такой траурный день пьянку устроили.

— Гм-м, конечно, Михалыч, помянуть такого человека не грех, как говорится, — несколько ошарашенно ответил отец, — а чем поминать-то? Нешто прожекторного спирта отлил?

— Нельзя сейчас, а вдруг проверка? В такое время сверхбдительность нужна, быстро можно и мне должность утратить, и вам мало Шулейка не покажет! А как нагрянут с розыском: ан емкость опечатана еще с прошлого месяца. Мы вот по флакону «Тройного» захватили. У тебя-то есть? Ты ведь не бросаешься. А, Маня?

Мать кивнула начальнику, сходила в спальную комнату и принесла пузатенькую бутылочку с ядовито-зеленой наклейкой. Еще она поставила на кухонный стол вчерашнего холодного компота из сухофруктов.

— Вот это хорошо! Самое милое дело оден колон компотом запивать, — одобрил Федоров. Ну, давай на два приема: первый за упокой

души товарища Сталина, отца нам всем родного, а вторую и последнюю — за Северный флот! Хотя на поминках и три положено.

Николка сидел за столом в большой комнате, что-то рисовал тремя имевшимися у него цветными карандашами, но прислушивался к происходящему в кухне, пока мать, сообразивши что-то, не затворила туда дверь, обычно никогда не закрывающуюся. Как ни напрягал Николка слух, но кроме кряканья в четыре мужиковых глотки не мог разобрать. Но еще при незакрытой двери отметил: говорили они совсем не печальными голосами, как на похоронах соседки тети Насти во Дворцах прошедшим летом, но вроде как-то смущенно, а от этого смущения даже и чуть шутковато. Так обычно разговаривал отец в деревне, доставая из бумажника несколько больших денежных бумажек и вроде как советуясь с матерью и сестрой: «Надо бы отметить половину отпуска, что прошла. Пусть оба Тольки сгоняют в сельмаг, возьмут чего надо, они знают, а ты, Настасья, позови к обеду кого из мужиков, там Федьку-хромого, Пал Никитича да Игната». Старшего сына тети Насти тоже Толькой звали.

Все же любопытство разбирало Николку: о чем на кухне говорят после одеколона? Наверное, как в кино, все хвалят товарища Сталина, о его победе над Гитлером говорят.

Помогла дверь из комнаты на кухню; отроду не закрываемая, она сама чуть приотворилась, и до Николки стали доходить голоса маячников, после одеколона с компотом несколько более громкие, чем обычно, а главное — похожих друг на друга:

— ...Я так думаю, что Маленков с Булганиным поначалу рука об руку будут, а потом разойдутся.

— Не-е-ет, Лаврентий Палыч посильнее их обоих будет. А о Клименте Ефремыче забудь; он свое давно отскакал, а с гранатой впереди взвода, как он под Ленинградом учудил в сорок первом, сейчас этого мало. Политика! Ты, Андреяныч, как полагаешь?

— Мало выпил, потому никак не полагаю, — уклонился было отец от ответа, — знаю только, что без нас, конечно, все решат.

— Я вот полагаю, — Николка выделил молодой голос Паши Гусарова, — что второй грузин подряд во главе это уже слишком. Не усидит Берия, как есть — не усидит даже со своим МГБ.

Отец все-таки встрял, хотя и мало, но ведь одеколон!

— Это еще посмотреть, какой Сталин грузин? Мне вот в войну на Торосе Жора Асатурьян, он много знал из кавказской жизни, рассказывал: Сталин не грузин по отцу, а вовсе осетин. И фамилия отца поначалу была как Дзугаев, род такой из Ордона. А после, как в Гори перебрался, так огрузинили его: у них звук «дз» не используется, стало «дж», и как положено, «швили» добавилось. А Берия так вовсе из мингрельцев, а это не совсем грузины.

— Смотри, Андреяныч, договоришься; хотя и все свои, но время-то какое наступило?

— Да-да, и то скучно жить стало: ни чисток тебе, ни процессов в Колонном зале...

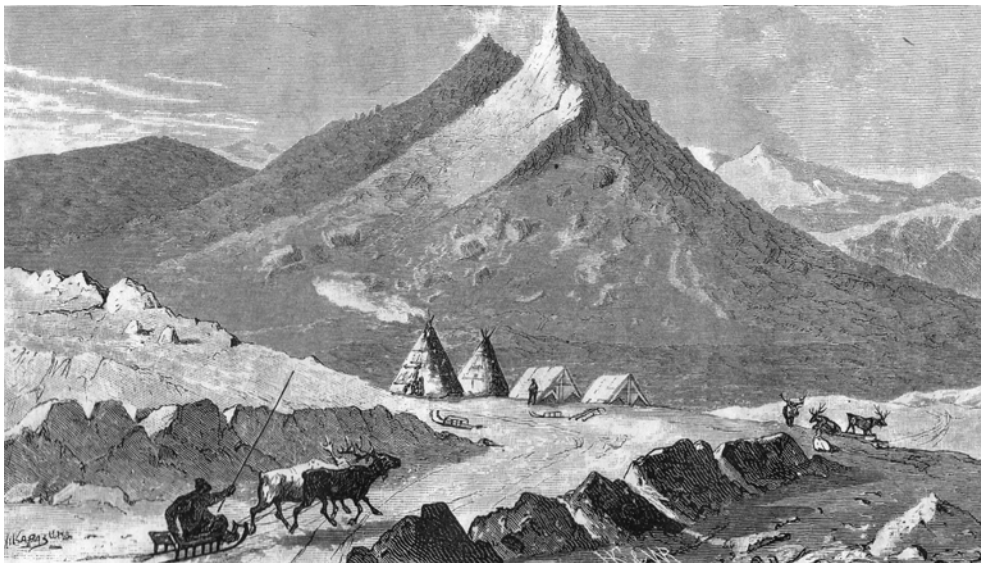
— И ты, Паша, умен слишком. Помалкивай. Думаете, помер Осип Виссарионыч, так

волю дадут языком трепать? Как бы не так. Нашему народу без узды не обойтись,— Николка узнал и Федорова голос,— а по мне так чем строже власть, тем для народа сподручнее. Берия-то сажал начальников за воровство и политиканов за длинный язык и если кривизну от линии платформы по своей же дурости давали. Конечно, и по пустому делу люди в лагеря попадали, но это ведь политика! Лес рубят, так завтра и щепки летят. Ладно, мужики, помянули — и к делам пора. Сейчас проверка за проверкой посыпятся. Большой тряской начальства все обернуться может, вот каждый с большими звездами на погонах и у нас будет стараться, из кожи вон лезть, чтобы свою ж... под пинок с теплого места не подставить. Все, разошлись.

...Прошло не более полугода, как Николка вспомнил этот разговор маячников под одеколон с компотом. Июль прошлого года семейство их также находилось в отпуске во Дворцах, когда из репродуктора в доме тети Насти с утра до вечера стали нехорошо говорить о Берии, что арестован он как враг народа и англо-американский шпион, а уже через неделю, не обращая внимания на шиканье взрослых, ребятня носилась по деревне, распевая частушку:

*Берия, Берия вышел из доверия,
А товарищ Маленков надавал ему пинков!*

Вечером того же дня, что поминали Сталина, уже стемнело, мать зажгла на кухне и в большой комнате керосиновые лампы, Николка все также сидел за столом и продолжал дорисо-



Вид гор с реки Хайяги

вывать крейсер в цветах. Славка заснул, а мать с отцом ужинали на кухне. Хотя мать и тихо выговаривала отцу, но он слышал:

— Ты б, Андреян, поостерегся. Неровен час — поругаешься по своему характеру с Федоровым, так он и донос на тебя напишет.

— А чего я такого сказал? Да и доносить-то здесь не в честь. Кляузы всякие — это за милую душу, а донос? Хм-м.

— Вот тебе и «хм-м» У них-то, у Федорова с Седалиным, по родственникам все чисто, а у тебя вон дядька, даром что полковник был энкеведэ, в заключении восемь лет, и этот, как его — твой троюродный брат-то? Сейчас в Кремле, а завтра как снова начальников примутся сажать — тоже куда-нито в Онеголаг. Так и до тебя доберутся по родственникам-то, да еще с разговорами.

— Да хватит тебе каркать! Разговор как разговор вышел, Вождя помянули. Тебе что — одеколону жалко? Так в Полярном будешь, хоть ящик купи! И какие-такие у меня родственники особенные? Лазарь сидит не за политику, а за должностное прегрешение; скорее всего не по чину чего-то прикарманил. А деревенский этот троюродный на киселе Серега не в Кремле вовсе, а по посольской части. Он в войну замом у начальника партизан Карелии, как фамилия-то... Да, у Андропова был. А тот теперь послом где-то и Серегу с собой забрал. Чтой-то я не слышал, чтобы послов на отсидку направляют. Здесь дело тонкое, перед границей надо козырять! Все, заканчивай нытье.

Но мать все же напоследок сумела вставить язвительное:

— Все б тебе ящиками покупать! Это как осенью тебе бочонок пива из Полярного приволокла, а ты его и вылил на землю!

Здесь Николка прислушиваться не стал; во-первых, над историей этой полгода весь маяк потешался, а во-вторых, сломался кончик красного карандаша, которым он дорисовывал флаги на крейсере — надо заново очинивать.

...Поняв, что он окончательно весь налил чаем, наелся виноградом и конфетами, Николка заерзал на стуле, нестерпимо захотелось в укромный уголок пописать. Отлить — пофлотски, поправился он про себя, даже в такую минуту следуя правильности слов. И Вера поняла его, чуть улыбнулась, протянула обещанный газетный кулечек с орешками и несколько конфет «Кара-Кум»:

— Пошел, Николка? Ну, счастливо тебе. Заходи, не стесняйся. А мне так весело хоть с одной живой душой в доме побыть, поговорить. Мать пусть не ругает тебя, скажи: Паша велел зайти тебе.

ОПЯТЬ ПРО ПИВО, НЯНЬКИН ОТПУСК

Однако Николка засиделся у Гусаровых, а может просто за делами-заботами и не заметил, как день уже давно перевалил за свою середину и близится к вечеру: солнце, что летним утром, провисев короткую светлую ночь над горизонтом Баренцева моря, где-то прямо над Северным полюсом, отрывалось от водной глади и подскакивало, как виделось с Седловатого, над Киль-

диным, затем до полудня, до высшей своей точки в небе, обходило остров по дуге на юг и замирало уже над невидимым отсюда Мурманском, а затем также по дуге огибало Седловатый уже с запада и снова снижалось до уровня Баренцева моря слева, за полуостровом Рыбачьим.

...А вот сейчас оно стояло в небе где-то на треть своей наибольшей высоты, проделав две трети своего суточного косого круга — если смотреть с берега Меловой бухты прямо по линии Седловатого — створ Медвежьего входного — узкое горло Сайда-губы. Через месяц с небольшим в это же время и на этой линии солнце уже будет заходить, знаменуя наступление настоящей, темной ночи. Пока, правда, не полярной, временной до восхода-рассвета.

Сейчас это самое тихое, теплое и умиротворенное время на острове. Тишина полная, даже корова попривыкла к новому своему житию, не мычит без дела; знать сыта, наверное. На новоселье Глаха переусердствовала, перекормила телку-однолетку. Все маячники попрятались: ни ребятни, ни даже Северка с Облайкиным.

Опасливо поглядывая влево, на свой дом, не дай бог мать не вовремя выглянет на улицу («Ты что, паразит ненасытный? Тебя дома не что не кормят, что за чужими кусками тянешься...»), сделал короткую перебежку до Гранитного озера: Толькина труба исправно выливала воду; еще час-другой и неровное дно начнет местами осушаться. Затем также быстро шмыгнула за склад, откуда его уже не увидеть из дома, и, огибая справа береговую сопку со скалой обрывом, прошел на северную часть пологого берега Меловой бухты, на мысок, разделяю-

щий ее с бухтой Языковой: посидеть, посмотреть на снижающееся солнце над Тювой-губой. Сидеть, думать и мечтать о чем-то неясном он мог здесь под вечер и час, и два... пока домой не загонят. Или сам не поймет: если тотчас не явится, то мать ему задаст по первое число!

Через узкий пролив между западным берегом Седловатого и оконечностью широкого мыса между Оленьей и Сайда-губами в полной тишине этого теплого вечернего мира чуткие уши Николки слышали неясные голоса и приглушенные звуки гармошки: это доносится из крохотного военного городка артиллеристов, что в Медвежьих входных. Сегодня же воскресенье, вот солдаты играют в мяч — потому и слышны здесь их веселые выкрики, когда забивают гол. А на гармошке играет умелец, который в армии в каждой роте, даже во взводе имеется.

Главное — в запасе еще несколько часов тишины и теплого, низкого солнца. Уже никакой беготни по острову, а правый карман приятно-волнующе чуть оттягивают кулечек с орехами и горстью конфет «Кара-кум». Но это на потом; сейчас же Николка сыт по горло. Однако знает: конфетно-виноградная сытость ненадолго, скоро проходит. Это не сало или вяленая треска с толстым ломтем ржаного хлеба, не сытная домашняя еда: щи или борщ с большим куском мяса, макароны по-флотски опять же с мясом, яичница толщиной в два пальца, рыба всевозможной готовности.

Николка давно уже решил: для того конфеты и придумали умные, как Сталин, люди, чтобы их можно было все время есть и не наедаться. Это как он каждый день видел, идучи с ре-

бятami в клуб или кино смотреть за пятьдесят копеек, около деревенской чайной: стоят и сидят на веранде мужики и без конца пиво пьют из тяжелых стеклянных кружек. Идешь в клуб — пьют, вышел после кино — опять и те же самые продолжают пить.

Наверное и отец, насмотревшись на деревенских мужиков, решил также несколько дней без конца пить пиво. Здесь и случилась та самая история с бочонком, что рассмешила весь остров. Еще и теперь, почти два года спустя, Федоров, разозлившись в чем-то на отца, язвительно говорит: «Что, Андреян, может тебе пивка захотелось вместо точного исполнения должностных инструкций?» На что отец суровоет лицом, невольно сжимает жилистые кулаки, досадливо сплевывает и молча уходит в сторону от досадившего ему Колуна-Федорова. А тот уже беззлбно хохочет: слишком уж смешная история вышла!

В ту осень, очень распогодную даже в середине октября, прикативший на остров с очередной проверкой политграмотности маячников и проведения закрытого партсобраниа с коммунистами Федоровым и Седалиным подполковник Шулейка с радостью на лице, но скорбя душой, громогласно объявил: «Все, товарищи вольнонаемные маячники, и вы, товарищи партийцы Федоров с Седалиным, заканчивается лафа любителям выпить на территории советского военно-морского Заполярья! С Нового года по всем гарнизонам от Сафонова, где начинается наша зона, и до самой Земли Франца-Иосифа — это не секрет для вас, давших подписку, знаете, что там дивизия первого уда-

ра по натовцам стоит — а может и до Северного полюса, коль скоро там кто окажется, вводится полный сухой закон. Ничего страшного не случится и для вас: все равно на острове распитие чего-либо строжайше запрещено. Да, товарищ Федоров? А душу отведете на Большой земле, в отпусках».

Приученные к дисциплине маячники и ухом не повели, равнодушно выслушав черномундирного политотдельца. А Николка тогда был настолько мал и неразумен, что не только ухом, но и белесыми бровями не повел, когда узнал от матери о словах Шулейки. Он вообще не понимал: зачем взрослым, серьезным мужикам пить мерзко пахнущие пиво, водку и спирт для протирки рубинов огромного маячного прожектора, а потом с красными, сразу становящимися какими-то одинаковыми лицами долго, перебивая друг друга, говорить всем разом. Нравилось только когда начинали громко, порой навзрыд петь военные песни.

И еще он знал от Тольки и Юрки, что в Полярном продают пиво в бутылках и наливают в большие кружки, а в ресторане «Ягодка» и вино официантки подают. Однако туда впускают только офицеров с кортиками, но без пистолетов, а штатских — обязательно в пиджаках и при галстуках. А в обычную столовую в Старом Полярном, где в буфете тоже наливают пиво, наоборот, офицеров не то что не пускают, но они сами не ходят.*

* Сразу после окончания войны тогдашний главнокомандующий Жуков издал приказ: офицерам разрешается «посещать предприятия общественного питания не ниже второго разряда» то есть только рестораны.

Вечером того же судьбоносного дня Николка услышал разговор отца с матерью:

— Да-а, хуже Гитлера подлянку сделали!

— Ты чего, Андреян? Чегой-то говоришь такое, посадят, — испугалась мать.

— Как у вас там, архангельских, говорят: дальше Колы все одно не сошлют. А мы ее дальше почти на тридцать миль. А говорю что есть: в конце войны в Полярном открыли единственный «голубой Дунай» с пивом, да еще и за городом на пустыре за Карантинной горкой. Обрадовались мореманы и штатские с судоремонтного завода, да не надолго. Полярный во время войны хорошо зенитчики сберегали, почти ни одной бомбы в цель не упало, а тут какой-то заблудившийся немецкий бомбер залетел, попал под обстрел, с перепугу сбросил весь боезапас за городом — и надо же? — Фугаска-сотка прямо в «голубой Дунай» и шлепнулась. Правда, пустая стояла, пива на той неделе не завезли.

— Ты все одно потише насчет Гитлера-то и пива.

— Ладно, дело прошлое. Ты вот что, послезавтра, Федоров сказывал, тювагубский катер с тамошними бабами за покупками в Полярный пойдет: туда и обратно и к нам причаливать будет. Это кто-то сверху распорядился к Октябрьским свозить со всех маяков по магазинным делам. Да и шторма пока не начались. Так ты, как поедешь, привези-ка малый бочонок, тридцатилитровый. Хоть напоследок попить, а то — до лета, до отпуска один чай хлебать?

— Так как же я привезу-то? Тяжелый, да и кто мне в бочонке продаст?

— Как-как, просто. Не люди что ли там, не понимают маячную жизнь? Катер швартуется у малого пирса у поста СНИС'а, там до пивного ларька десять минут ходьбы всего. А с ларьком Никифоровна еще с конца войны управляется, уважает сама пиво под вяленый палтус, которого в городе не купишь. Вот и возьми пару полотков по кило каждый, она тебе бочонок и зачтет. А донести и того проще: кликни пару празднующихся салаг, купи им по пачке «Казбека» — с охотой донесут до катера.

— Ну-у, посмотрю, как получится,— все сомневалась мать.

Катер обратным курсом из Полярного подошел к Седловатому уже в начинающейся темноте. Николка сторожил на правах старшего в доме трехгодовалого Славку, поэтому на улицу не выходил весь день, дожидаясь приезда матери. Вот и она вошла с двумя большущими сумками через плечо наперевес. А вскоре и отец веселый вошел:

— Ну, мать, удружила. Бочонок я в сарай закатил, утром с мужиками холодненького с ночи попьем. А я дней десять буду после вахты по литровке с палтусом...

— Раскатал нос,— устало, но беззлобно, коротко ответила мать, разбирая из сумок покупки.

Наутро отец при загодя предупрежденных, свободных от вахты Паше Гусарове, Седалине и Трофиме Матроне, пришедшими со своими алюминиевыми флотскими кружками, выкатил из сарая бочонок, поставил на попа и задумался: как открыть? Но здесь за дело взялся Матронин, некоторое время в молодости работав-

ший в Соломбале учеником бондаря на деревокомбинате. Попросил отца принести долото и молоток, чуток ослабил, подняв кверху, верхний обруч, постучал молотком по долоту округ верхнего днища, поддел его тем же долотом и лихо выдернул дощатое днище. Пока спадала пена, мужики взволнованными голосами, делая вид, что происходящее их не особо интересует, говорили о международной обстановке, осложнившейся на Корейском полуострове. Алюминиевые свои кружки они держали за спинами.

При словах возбужденного отца «...А вот как Мао Цзедун двинет за пятьдесят восьмую параллель трехмиллионную армию с нашими танками...» остатная пена быстро сбежала к краям бочонка, маячники, вроде как смущаясь, отвели из-за спины кружки и внимательно начали осматривать их внутренности на предмет чистоты. И в этот интересный момент что-то в бочке булькнуло, со дна выкатился большой пузырь воздуха, выгнув в середине пивного озерца маслянисто отсвечивающий на низком октябрьском солнце пузырь, который с шепотом лопнул, а на его месте появился разбухший от пива дохлый серенький мышонок.

Наступила тишина. Лицо отца вытянулось и начало бледнеть. А тут еще простоватый лопарь Седалин не к месту задумчиво сказал: «Говорят, в прошлом году на мурманском пивзаводе пьяный работяга ночью в бродильный чан упал. Никто не видел, пиво дошло, разлили и развезли по точкам, продали. А как под следующую заливку чана стали дно чистить от залипухи, так и нашли утопленника».

Здесь отец разразился таким трехэтажным,

какого оробевший и даже чуть отбежавший от бочонка Николка еще ни разу не слышал, а затем с силой ударил по верхнему краю бочонка подошвой своих яловых сапог. Тот с треском опрокинулся, а пиво вмиг впиталось в торфяную землю, оставив только островки с шипением лопающихся клочков пивной пены и дохлого мышонка.

Чтобы не видеть злобного выражения отца лица, а более всего противного мышонка, Николка и вовсе ушел с толковища.

Вечеру того же дня, когда мать пришла с вахты, сменив при карауле Славки пятилетнего Николку, а чуть отошедший от огорчения, но по-прежнему с крепко стиснутыми губами, молчащий отец ушел в ночную на маяк, забежала Вера Гусарова; они только что приехали на Седловатый.

Николка, поужинав, уже лежал на койке и сквозь медленно накатывающуюся дремоту невнимательно слушал их разговор на кухне: мать учила Веру вязать шерстяные носки, без которых в здешних местах не обойтись, а магазинные не достать, да и стираются скоро.

— ...Вот обиделся-то Андреян из-за пива! Одно хорошо — теперь и близко ко рту его не поднесет во всю жизнь.

— Ничего, отойдет. В жару-то в отпуске как хорошо кружечку-другую выпить! Вот мой Паша малопьющий, а редкий день дома, в Ташкенте без него обойдется.

— Да нет, Вера, характер у него такой вредный на самого себя; калуцкие все такие упертые, точно хохлы: раз что не понравилось, так и все тут. Перед флотом-то учился в мо-

лочном техникуме в Калуге, посмотрелся как сметану и творог творят, так с тех пор их покупных, магазинных не ест. Только у Настасьи домашнее. Она корову держит. Даже у ейных соседей брезгует. Так и с пивом будет. И то хорошо; пиво для желудка вредно, в газете вычитала, а у него язва с войны: то годами не болит, а то разойдется.

— Да-а, разные люди. И как ты не боишься на целый день, на вахте-то, Славку-меньшого оставлять?

— Так Колька-то на что. Он хотя и сам мал-мала, да в строгости воспитан, не забалуется. Я, уходя, бутылочки-то с разведенным сухим молоком, да каши на плите приготавливаю, по часам ему покажу, по положению стрелки малой, так он и покормит, пеленки заменит — сам увидит когда надо. Захнычет Славка-то, так он его успокоит. А то и на кровать нашу перенесет, поиграется. Зато и устает за день так, что приду — он сразу в свою койку. Конечно, и Андреян, коли дома, присматривает за обоими. Вот у тебя, Вера, дети пойдут, так сама спроворишься каждого старшего нянькой при младшем ставить.

— Хорошо бы... Вот денег заработаем, дом у себя построим, да кабы поздно не было.

— Куда поздно! Ты еще молодая, успеешься нарожать.

Николка заснул.

...А сейчас, сидя на мысу между Языковой и Меловой бухтами, даже подумывал, не пора ли приняться за орешки и «Кара-Кум», вспомнив о пиве и том вечернем разговоре матери с Верой Гусаровой, погрустнел. Ведь не только

лету скор конец, но и его, нянькину отпуску, как отец шуткует. Только-только избавился от нянькиной доуки со Славкой, теперь вот Сережка... Часто их мать из полярнинского роддома привозит. Вот пусть бы Славка дорос до его шести лет — ему бы по старшинству и передать Сережку, родись он двумя годами опосля. Но здесь разве мать виновата, что они так быстро рождаются? Как понимал Николка, появление дитенка у женщины ни от кого не зависит. Это как нашествие пеструшек*: то нет их год-два-три, а потом вся земля покрывается ими, так что и ступить человеку некуда.

А нянькин отпуск потому, что хотя мать уже и считается по приезде из отпуска на работе, по своей деревенской еще специальности трактористки — дизелистом, но до конца октября, если осень выдалась хорошая, включают только ночью световой маяк, сирену, а в ночную вахту мужики дежурят. Скоро, скоро конец его, Николки, блаженству ничегонеделания. А Сережка, завидя его из своей колыбели, уже загодя, словно зная, улыбается ему хитро, засовывает большой палец в рот и чмок-чмок делает. Паршивец такой, как знает, что буду скоро с утра до вечера его кормить и соску давать!

Чтобы отвлечься от поднадоевших нянькиных доук, он вытащил-таки из кармана одну конфету, полюбовался на верблюда, заодно подумал: хорошо бы Седалин вместо коровы, которых он насмотрелся во Дворцах и, вообще

* Местное название леммингов, которые в года перемножения сами идут плотной массой к берегу и тонут в море.

говоря, побаивался их рогов, завез на Седловатый верблюда. Вот здорово бы было! Тем более, что верблюда он видел только один раз — в Калуге, в передвижном зоопарке. Тот понравился ему горделивым выражением морды. А отец пояснил, что в Средней Азии, откуда Гусаровы приехали, езда на верблюдах — самое обычное дело. А в совсем жарких иностранных государствах так даже имеется военная верблюжья конница. Но этого Николка понять не смог, сразу представил себе конницу из кино про Чапаева, а сам Чапай будто бы говорит: «Где должен быть командир при атаке? Правильно, впереди на лихом верблюде!» Смешно все это получалось. Нет, решил Николка, пусть за границей на верблюдах в атаку бегают, а мы их, фрицев и беяков, из пулемета: та-та-та! Тра-та-та!

Поочередно развернул все три бумажки конфетной обертки: с верблюдом, серебряную шелестящую и маслянистую полупрозрачную, разгладил их на колене, вместе аккуратно сложил в два раза и положил в левый, свободный карман. Очень пожалел, что шоколадные конфеты так быстро тают на языке, не как карамельки, даже те же слипшиеся в комок подушечки с начинкой, что он совсем недавно покупал в сельмаге и обменивал деревенским ребятам на мелкие серебряные и медные монеты — дореволюционные, как объяснял Толька. Он же и жульнически обменял их все у него «в долг» на даймлеровский фонарик, который привезет ему из Полярного на октябрьские каникулы. Если, конечно, не заштормит и катер пойдет в сторону Седловатого.



Езда на оленях в тундре зимой

И пришел к такой мысли: хорошо бы фабрики и заводы делали такие конфеты, чтобы все они в трехслойных обертках с красивыми, цветными рисунками, сладкие и тающие во рту как шоколадные, и сосать их можно было долго-долго, как самые твердые карамельки, что вовсе без начинки, а сплошные. Даже тотчас название им придумал: *Каракумель*. Но чтобы на обертке-фантике не верблюд был нарисован, а скачущий на боевом коне Чапай с шашкой наголо. А чуть вдалеке за пулеметом Петька с Анкой залегли и поливают свинцовым огнем беяков-золотопогонников, идущих с сигарами в зубах в психическую атаку.

Между первой и второй конфетами лениво уже подумал: везде он сегодня на острове был, но не зашел на Южный мыс. Место голое, пустое, взрослые маячники там вовсе не бывают, а меж тем после штормов на более или менее пологий берег Вороничной сопки, прямо напротив крохотного Бурого островка, выбрасывает всякую всячину. Сам он в прошлом году нашел там обломленный приклад от автомата.

...Но тут же ленивую мысль отогнал: ведь штормов-то уже третий месяц как не было.

ЗАВОЗ ПРОДУКТОВ, ОБИТАТЕЛИ МАЯЧНОГО ДОМА И КАЛУЦКИЙ МУЖИК ВРЕДНЫЙ

С материкового берега, со стороны артиллерийской части у Медвежьего входного протрубили в горн. Сразу стихла и далекая гармошка. Ого! Вечернее построение за час до солдатского

отбоя. Уже и ночь скоро — ночь по часам, по расписанию. Как бы мать не затеяла его искать. Да вряд ли, сама понимает: нянькин отпуск.

Осень все же скоро. Его последняя осень на Седловатом; следующую же встретит уже в Полярном, в школе и интернате. А через два месяца также в последний раз увидит завоз продуктов на годовое довольствование маячников. Здесь день на день, год от года не приходится; как объяснял отец, завоз делается по графику хозотдела гидрографической службы флота с тем, чтобы загруженная по ватерлинию большая баржа, в соответствии с прогнозом погоды, в течение двух-трех недель, смогла, продвигаясь неспешно от интендантского причала под Мурманском, обслужить все маяки Кольского залива, затем взять курс на Рыбачий, завершив же разгрузку там, круто развернуться на ост-ост-зюйд и пойти на Цын-Наволок и другие маяки по Терскому берегу Кольского полуострова. При чем курс движения баржи так составляется, чтобы на ночь она находила хорошую, обитаемую бухту.

И еще объяснял отец: маячники являются вольнонаемными на флотской службе, поэтому как и военным, им положено денежное, вещевое и продуктивное довольствие. Первое — это зарплата, вещевое — спецодежда: комбинезон, сапоги и валенки, фуфайка, шапка и зимняя овчинная шуба. А пайковые продукты на целый год как раз и завозит осенняя баржа.

...Так и в прошлом году баржа подгадала в теплый, штилевой сентябрьский день. А полторы недели назад Юрку с Толькой попутным катером с Кильдина, остановив ракетой, отпра-

вили вместе с седалинскими Васькой и перво-клашкой Танькой на учебу в Полярный. Сопровождала их Глаха, беспокоясь о плачущей Таньке, ее устройстве в интернат и в школу.

Федоров объявил с утра до вечера день авральным: все на разгрузку кроме хромого Матронины, несущего по причине своей малополезности вахту на маяке. Он не обижался, понимая, что в спешном деле — на все про все давалось старшиной баржи шесть часов, в полудни его уже ждали на маяке острова Торос — будет только мешать, хотя силой его бог не обидел. Но здесь главное — быстрота и ловкость в движениях.

С самого рассвета все маячники, включая малых ребят, на ногах в ожидании баржи. И вот она, черная, тихоходная, широкая и низко сидящая, выдвинулась из-за Большого Оленьего, а уже через час без малого, осторожно обогнув Седловатый слева, вошла в узкий пролив и стала на якорь как раз напротив того мыса, где сейчас сидел Николка. К пирсу она подойти не могла из-за мелководности Языковой бухты, а Меловая, от которой ближе всего к складу для продуктов, и того мельче. Потом надо учитывать, что уже начался отлив.

— Эй, на маяке! Начинай разгрузку; даю свою шлюпку с двумя матросами. — Это прокричал в жестяной раструб старшина баржи. Шлюпка-«шестерка» для ускорения дела шла на буксире. От маяка выставили моторную «шестерку» и обе имеющиеся у маячников «двойки». Для перевозки от Меловой бухты до склада с горки спустили по лестнице обе тачки. Из склада пустые ящики, ворохи мешков, какие-то веревки

и рогожные кули. Все это женщины волокли к шлюпкам, к берегу Меловой бухты. Даже малолеткам Николке и федоровскому Витьке дело наши: грузить в причаленные шлюпки все эти кули, мешки и веревки-фалы. Но главная их помощь состояла в том, чтобы не путаться под ногами у взрослых и не нарушать давно выработанный порядок разгрузки: шлюпки загружались с борта баржи кран-балками, воротами и лебедками — мешками, ящиками, наполненными рогожными кулями, бочками, объемистыми сетками. Кроме продовольствия на шлюпки сгружали инструмент, рабочую одежду, кой-что из стройматериала: струганные доски, пакеты шифера, мешки с цементом. Но дизельное топливо и машинное масло, керосин и бензин завозился отдельно небольшим танкером, переделанным из устаревшей плавбазы подводников, который подходил с другой стороны острова к крутому берегу прямо напротив маячного здания; дизельное топливо закачивали в баки с помощью шланга, протягиваемого с борта базы, а бочки с остальным ГСМ втаскивали на маячную сопку на канатных таях. Делалось все это в конце мая после окончания весенних штормов.

Шлюпки поочередно, рассчитано с интервалами, подходят к удобному месту берега Меловой бухты, на который заранее уложены мостки, сколоченные из горбылей. На них и выгружают с легким матерком мешки, кули, ящики, оплетенные канатами бутылки с подсолнечным маслом. Выкатывают бочонки с просоленной селедкой, яичным порошком, солониной. В мешках и рогожных кулях как сушеные, так и натуральные овощи: картошка, морковь, лук и чеснок,

свекла. В больших фанерных ящиках сухофрукты, галеты, печенье. Мука и сахар в плотных мешках, а в дощато-реечных ящиках баночные консервы: тушенка, сгущенное молоко, томатная паста, повидло, овощная суповая заправка. Много чего завозят. Оно, конечно, маячникам все в удовольствие, но таскать все это сам-один, а бабы по-двое, по-трое, — не позавидуешь.

Федоров подбодряет, шуткует: «Своя ноша, бабоньки, не тянет!» Седалин и сам носит, и не забывает каждый приносимый на склад ящик, мешок, куль, вкатываемый бочонок оприходовать в конторкоррентную амбарную книгу. И указывает начальственно: куда, как и на что класть из приносимого. А Федоров, причаливая с очередной груженной с верхом моторкой, все шуткует: «Нонешний день нас целый год кормить будет!».

Самую большую ценность — два ящика с пачками дрожжей, без которых на весь год можно остаться без хлеба, Седалин лично укладывает в особый комод-лабаз под замком; в него же ставят картонные ящики со сливочным маслом, связки свежего чеснока и сетки с лимонами — не от воров, конечно, но от амбарных мышей: сколько их не трави, не лови мышеловками — все одно не переводятся.

Свежие овощи сразу высыпают из мешков в сбитые из бросовых досок и горбылей закрома, а на широкие полки вдоль стен укладывают то, что не должно отсыреть: мешки с сахаром и солью, ящик и кули с галетами и печеньем, весь овощной и компотный сушняк, коричнево-бумажные маленькие пачки с горчицей и махоркой. Впрочем, махорку на маяке курить брезгуют, папиро-

сами из Полярного запасаются, поэтому всю ее Седалин летом изводит на свой огород: травит ею тлю-плодожорку и отгоняет мух.

К полудню и пошабашили. Баржа, дав три отвальных свистка, двинулась из проливчика на север, на Торос, а на берегу Меловой еще таскать не перетаскать! Но здесь уже спешить не надо, да и на шлюпки уже мужчины не отвлекаются. По-двое носят вроде как совсем не тяжелые ящики, бочки также катят сам-двое. Бабам что полегче указывают нести. Седалин так и вовсе из склада не высовывается: ведет учет, дебет с кредитом сводит, уточняет диспозицию расстановки приносимого по известным только ему местам.

Мужики уже не матюкаются, на лицах усталое довольство. А женщины уже вслух прикидывают, что взять в первую выдачу пайков, слегка, как у них заведено, поругивают завезенный товар: картошка зеленовата на боках, чеснок и лук в вязанках-косицах жухловат. И цвет подсолнечного масла в бутылках им чем-то не понравился... Но даже малоопытный в жизни Николка не обращает внимания на бабье перекотыриванье.

...Николка съел третью, предпоследнюю конфету, в мыслях перейдя от прошлогоднего и скоро ожидаемого завоза продуктов к обитателям маячного дома.

Он давно уже, как само собой разумеющееся, поделил маячных жителей вроде как пополам: они и Гусаровы, живущие в низине, в отдельных домах, и проживающие на горке, в одном большом доме.

Вроде как все одинаково на маяке работают

(«Служат,— всегда поправляя отец,— ибо мы в составе Северного флота»), исключая Гусаровых и Трофима Матренина, живут на Севере давно и постоянно, ничем особым друг перед другом не похваляются. Даже образование у отца, Паши и Веры Гусаровых в маячном доме особого значения не имеет. И все же — различные они, жители маячной горки и низины Седловатого. Никак и ничем Николка объяснить эту разницу не мог, даже не пытался, но — чувствовал. Это как Северко или Облайкин, когда после шторма промышляют вместе с ребятами, а то и взрослыми маячниками по пологим берегам Меловой бухты, в устье высыхающего Семужьего ручья или у Южного мыса на сходе Вороничной сопки, что напротив Бурого острова-скалы. Если поблизости волной смыло с палубы баржи или какой иной каботажной посуды с десятков ящиков, то по берегу рассыпаны разношерстные консервные банки. Все без оберток с надписями — водой все смыло. Да если бы и сохранились они, то все одно Облайкин с Северко к чтению не приспособлены по своей породе. Однако бегут они впереди ребят, со всей силы дружелюбно вертя хвостами, оглаживаясь поминутно на пацанов, дескать, не даром хлеб-мясо едим, службу несем справно, вот впереди вас бежим, если мину выбросило, так наперед вас и подорвемся... эх, замечтался Николка! — Но бегут и — странное дело: на одни банки и вовсе мордой не поведут, а вдруг заприметят невзрачную, побитую при выкидывании штормовыми волнами на каменистый берег банку, да еще в тавоте извазюканную — и, как вкопанные, остановятся, стойку сделают

героическую, как в кино про пограничника Карацупу с овчаркой, даже слегка зарычат, чуть оскалив миролюбивые свои клыки, подзывают ребят: смотрите, что мы такое нашли! А Северко, который приписан к дому Гусаровых и достался им по наследству от прежних хозяев и которого Вера излечила от застарелой трахомы левого глаза, даже явственно подмигивает этим исцеленным глазом: не проходи, мол, мимо. Облайкин — общественный пес и числится за маячным домом.

И что же оказывается, когда все банки собраны, поделены и разнесены по домам на радость матерям? — А то, что в не понравившихся собакам красивых банках зеленый горошек, томатная паста, в лучшем случае килька пряного посола, а в одобренных псами невзрачных, измазанных тавотом — тушенка или даже прессованная ветчинная колбаса из походного пайка подводников... Как они чувствуют содержимое запаханных банок? Так вот и Николка эту разницу между двумя партиями*, как обычно говорит мать, маячников непонятно каким образом чувствует. Хотя по отдельности опять-таки вроде и не отличишь друг от друга.

Матронин, например, также как и отец, любит читать книги, рассказывать о наиболее интересном прочитанном. Седалин-хлопотун, ма-

* Мать Николки родом из Заонежья Архангельской области, где в 30—50-х гг. находился печально знаменитый Онеголаг со множеством филиалов-лагпунктов. Поэтому обычное дело, когда через село или деревню проходит партия лагерников, поэтому слово «партия» в контексте «группа людей» прочно вошло в разговорную речь местных жителей.

том никогда не ругается; отец говорит, что это он по старинке своих лопарских божков обидеть опасается. Глаха Седалина, как и Николкина мать, тоже вся в заботах о Ваське и Таньке, тоже работает на маяке, а все остальное время варит и стирает. Как и мать, долгими осенними и зимними вечерами прядет шерсть, сучит на веретене творимую нить, а потом из нее вяжет носки и варежки. И Улита федоровская обстирывает, окормливает мужа, малолетних Витьку с Настеной, но более вздорна, от работы на маяке косит, ссылаясь на нутряную хворь в груди. Может и взаправду хвоя.

Вообще-то на маяке несколько особняком стоят Федоров и Николкин отец, а как? Не поймет Николка разницу. Даже как-то, а дело недавнее, во Дворцах было, спросил у подвыпившего, значит разговорчивого, отца: в чем дело? Тот поначалу подивился наблюдательности сына, задумался, даже стопку водки выпил для укрепления соображения в голове, а потом сказал нечто малопонятное для Николки:

— Понимаешь, это как коровы здесь, во Дворцах. На нашей, Верхней улице, каждая на долгой веревке привязана и пасется сам-одна весь день неподалеку от своего хлева. А вот внизу, что Амуром эти выселки называют, потому что еще при царе в столыпинскую реформу подались мужики в Сибирь на вольные хлеба, да не солоно похлебавши вернулись и заново себе избы пришлось строить... так вот там Угра на излуке весной сильно разливается, потому вон, видишь, луг какой огромный и травянистый, а значит, коров удобнее стадом содержать. И пастуха в складчину нанимают.



Лопарская вежа

Отсюда и норовом наши и амурские коровы очень отличаются; наша понятлива сама по себе, а те, низовые, стадо и есть стадо, даже мычат не в разноголосицу, но как в народном хоре: все вместе и по нотам. А поменяй их местами — и норов изменится; бывшая наша, одиночная, начнет на Амуре хором мычать, а бывшая ихняя через пару недель пообвыкнется и самостоятельно себя поведет.

Так и люди, хотя вроде бы на двух ногах крепко стоят, какое-никакое соображение в голове имеют...

Отец сделал паузу, с воодушевлением выпил еще стопку, закурил, а мать все надоедала: «Закуси, Андреян, хоть чем-нибудь. Желудок-то у тебя, сам знаешь, не железный!»

— ...О чем это я? А-а, так значит. У людей это стадо коллективом называется. Ничего плохого в этом нет, быть в коллективе: ведь и семья каждая есть коллектив, и армия... то есть флот, конечно. Может и пехота, но я там не служил. В Кремле коллектив всеми нами верховодит. И вся страна коллективная, только на Кавказе по аулам живут, хотя и аул заодно. А в деревнях и селах так прямо и называются: колхоз, то есть коллективное хозяйство. Но законы в стаде и людском коллективе одни и те же насчет поведения: мычать — так всем скопом, а кто не мычит, молчит, так значит, фигу в кармане держит...

Но тут в избу зашли с намерением опохмелиться после вчерашнего, до полуночи, застолья у гостеприимного североморца Федька-хромой и Игнат. Не хватало только Пал Никитича. Разговор у мужиков сразу зашел о другом, в основ-

ном, о достоинствах сталинской сорокаградусной перед слабой «рыковкой» довоенного розлива.

Так ничего не поняв, только что в колхозе люди и коровы имеют полное право как в стаде ходить, так и на вольном выпасе, Николка вышел через прохладные сенцы на залитую уже жарким с утра солнцем улицу, здесь увидел идущих на Угру ребят и увязался за ними.

Стадо не стадо, но в обыденной жизни верхние и нижние маячники друг с другом особо не грызлись. Только, опять же, Федоров и Николкин отец старались держаться поодаль друг от друга, хотя обычно, по служебным делам, разговаривали, как заметил Николка, вполне спокойно. Иногда же начальник маяка повышал голос, брал по пустякам нахрапом. Отец обычно в ссору не ввязывался, сплевывал досадливо и уходил прочь. «Вредный ты, Андреян, даром что калуцкий!» — Это кричал озлившийся Федоров вслед.

И мать в вечерних разговорах с Верой Гусаровой, все учившейся и учившейся вязать шерстяные носки, не раз повторяла, что все беды у них, оттого и на каждом маяке не более трех-четырех лет засиживаются, от Андреянова характера: «У них, у калуцких, такой вот норов, что все не по ним; все не в ногу шагают в партии, а только они в ногу! Все от староверчества ихнего».

Особо на отца обижались за прозвища, которые он давал маячником. Хотя делалось это за глаза, но что утаишь на маленьком островке? Здесь Николка сомневался: а хорошо ли отец делает, давая эти прозвища, хотя понимал: раз отец припечатал, так всю жизнь и в любом мес-

те, на каком бы маяке не жили, прозвище это останется. В отношении Федорова, которому, как начальнику, отец щедро дал сразу две клички — Кабан и Колун — Николка одобрял. Особенно точно тот походил на топор-колун: такой же плотно сбитый, лицо тупой стороной колуна, говорит громко и грубо.

Долго не понимал смысла прозвища Улита, данного жене Федорова Клавке. И до сих пор не понял, хотя отец порой приговаривал явно не свое: «Улита едет, когда-то будет?» При этом слове он сразу вспоминал морскую улитку; действительно, на нее жена начальника очень похожа: низенькая, но кубастая, причем толстая посредине, а к голове и к ступням ног заостренная. Словно только что из раковины улиточной вылезла. Мать по другому говорит: на веретено с прялкой похожа. И ходит вроде как медленно, раскачиваясь, но смотришь — уже эта улитка да-алеко уползла! Голос вкрадчивый, как по маслу, чего-то говорит, говорит, да вдруг ошарашит, застыдит: «А обувка-то у тебя, Николушка, совсем прохудилась. Нити у отца-матери не на что купить? Аль купила все в отпуске, а отец на угощенья деревенским растратил?»

Ну-у, Глаха седалинская она и есть Глаха, все вертится как-то угловато, темна лицом, хотя в отпуск не ездит, не загорает. И головой-то так тык да тык кивает. Прямо как птица галка. И глуховата чуток. Говорит, в войну бомба фашистская рядом разорвалась; не ранило, но контузило.

Седалина отец нарек Косым. Конечно, глаз один у того совсем косо смотрит, а другой чуть-чуть. Хотя он и не виноват, что таким родился.

А вот Матренина Трофима Колчедыкиным напрасно прозвал. Хотя и злой иногда бывает Трофим, особенно если накануне на остров кино привозили, совсем неинтересное, где парни, вместо того чтобы фрицев бить, во всяких девушек влюбляются, а те пляшут и поют, дурят им головы, но человек хороший. Николке книги разные с картинками показывает, чаем с конфетами и печеньем поит. Тоже ведь не его вина, что родился с лошадиной стопой и дурацкую бородашку клинышком да реденькую для форсу отрастил.

Нет, решил Николка, правильнее всего отец Федорова Колуном назвал. Злой он, а в прошлом году, разругавшись на мать, что не в то время дизель запустила, так и вовсе с кулаками на нее было бросился, хорошо рядом оказался тоже вахтенный Паша Гусаров, в детстве далеком беспризорник, так на ихнем языке остановил Колуна: «Эй, ты, фраер захребетный! Отойди от соседки, а то я тебя, хоть ты и красный* придурок на должности, вот этим кувалдометром пощекочу!» А в руках в это время Паша держал именно кувалду, с которой выходил на улицу оббивать намерзший на низ стены лед поверх выходившей в отверстие выхлопной трубы от дизелей.

Федоров потом с месяц с Гусаровым не разговаривал, ворчал за глаза, что скоро закончит его с бабой длинные рубли, а отец написал в Управление маяками гидроотдела жалобу. Да только зря написал: в следующий плановый приезд подполковник Шулейка привез и зачитал всем выговор. Андреяну — «за склочниче-

* То есть член партии (на фене).

ство и отсутствие чувства социалистического коллективизма». И от себя добавил, что с тридцать седьмого года еще, когда Андреян прибыл из учебки для прохождения флотской службы, он у него на подозрении; главное, в партию до войны, в войну и после нее не хочет вступать. «А это, товарищи маячники, заставляет задуматься. Тем более — клеветает на члена партии, товарища Федорова, не сходящего в гидроотделе с Доски почета».

СТАРШИЕ БРАТЯ; ОДНА МАТЬ И ДВА ОТЦА

«Ты, Николка, все какой-то мечтательный, не от сего мира,— иногда говорила мать, как-то внимательно, даже с некоторой тревогой приглядываясь к сыну,— рано тебе задумываться!»

Но разве он виноват, что каждый день что-то, или кто-то неведомый ему, вроде как заставляет его постоянно вспоминать, ворошить в памяти все события еще небольшой разумной жизни? Наверное, он так устроен, что должен все это постоянно повторять, чтобы накрепко и навсегда засело в голове.

Он даже у Тольки спрашивал, а тот охотно подтвердил после того, как Николка добровольно отдал ему шоколадную конфету, что, в свою очередь, получил от встреченной на улице Веры Гусаровой: «Экая невидаль! Так человек и устроен, но это тебе в школе объяснят, что для запоминания следует постоянно и подолгу вспоминать одно и то же. Я вот когда в школу эту пошел, так таблицу умножения две четверти

учил, хотя и не тупой, как некоторые у нас в классе были и есть. И учительница Анфиса, она может и у тебя на следующий год будет, не ругалась: если, мол, у человека нет особой склонности к математическим упражнениям, так, значит, получится из него творческая личность. Это как я сейчас: что хочешь сотворю, только красть с витрины в Циркульном магазине конфеты не получается. Один раз попробовал, так конфеты не достал, а руку порезал. Народ шум поднял: никакого порядка в магазине нет! Стекла разбитые, вот парнишке чуть кисть руки не отхватило! Директора сюда немедленно — я *супруга* коменданта города!

Так мне сама директорша царапину пустьковую йодом замазала, забинтовала, а в карман — хорошо они у меня в пальто здоровенные — кулек «ласточки» сунула незаметно, а узнав, что интернатский, так в другой с напрягом, но запихала целую коляску краковской колбасы. Вот это и есть творчество. Кстати, у тебя второй конфеты в записке не имеется? А за полкило «Кара-Кума» я и вовсе тебя таблице умножения выучу». Таких талантов, как у Тольки, у него не имелось. И вообще он и Славка отличались от Тольки с Юркой; про Сережку сказать пока было нечего: младенцы все на одно лицо и знают одни и те же пять слов. Но если самый младший, не считая совсем неразумного Сережку, Славка и самый же старший Юрка не особо разнились и оба скорее на мать походили, то Николка и Толька для незнакомых людей вовсе на братьев не походили.

Николка — вылитый отец, хотя головой покруглее, а волосами на ней посветлее, но нос

такой же, по крайней мере если смотреть на довоенную фотографию отца, где его нос еще не переломлен слегка осколком немецкой фугаски, хорошо осколок был уже на излете. Но все равно след остался: вроде и прямой со слегка расширенными крыльями, как у Николки, но посредине, если смотреть норд-ост*, вроде надставленный. Глаза одинаково голубые, уши правильные, хотя мать и сомневается: дескать, чуть великоваты и самую малость оттопырены. Николка, как и отец, не соглашается, хотя самому ему это до чертиков, какие у него уши...

А вот Толька скуластый, с серыми глазами, с вьющимися ярко-рыжими кудрями. И Матронин, и Вера Гусарова, как увидели его в прошлом году, когда перешел он в шестой класс (обязательная стрижка «под Котовского» закончилась, а кудри за отпускные два месяца отрасли), так прямо одинаковыми словами сказали восхищенно: «Ну, Толька — Вера назвала Анатолием — ты прямо как запрещенный поэт Есенин!» Не в мать и не в отца Андреяна.

До самого недавнего времени он не то чтобы не знал, но как-то не задумывался: у Юрки с Толькой другой отец, который пропал без вести на войне. Не погиб в бою, а именно пропал; после боя его не нашли ни живым, ни раненым, ни убитым. Да и сейчас много не думал; раз он сам решил, в основном из-за наблюдений за пеструшками, что дети у женщин в животе заводятся независимо ни от чего и ни от кого, а потом едут на катере или моторке в Полярный, где в роддоме им разрезают живот, вынимают

* То есть среднее между фасом и профилем.

дитя, снова зашивают и отпускают домой, то, значит, отцы тут ни при чем. И какая разница: один ли у них всех пятерых отец, или два?

А то что все они слегка или очень разные? — Что же здесь удивительного, тем более что между рождениями их проходило по несколько лет. Вот этим летом кошка Мурка у тети Насти окотилась шестерыми котятками одновременно, но несмотря на эту одновременность, все котята получились совершенно разные: двое пушистых, трое гладких, а один так себе, средний. А по цвету ни одного похожего: полосатые, пятнистые, одноцветные, черные, рыжие, белые... Сама кошка Мурка ценная, сибирская. Ее старший сын Настасьи Валентин, что ветеринаром на Камчатке работает, целых две недели через всю Сибирь вез, когда в позапрошлом году в отпуск сразу на полгода приезжал. Поэтому всех шестерых оставили в живых; их потом, когда чуть подросли при кошке, разобрали — не только из Дворцов, но и из Новосакова, даже за одним приехали на крытом брезентом «козле» с Куровских шахт. Это очень далеко, надо доехать до села Ярлыкова, которое даже с высокого берега Угры не видно, потом до Баскакова, и только потом будет Куровской.

Гладких котят сначала сомневались брать, но, посмотрев на здоровенную, лохматую кошку-мать, усаживали котенка в принесенное с собой лукошко с подстилкой, а тете Насте вручали трехрублевую зеленую бумажку. «Почти на бутылку наторговала», — смеялся отец.

...Так вот и Толька с рыже-красными кудрями уродился, хотя все остальные — гладкошерстные, в смысле с прямыми волосами.

Собственно о разных отцах Николка и узнал из разговоров матери с Верой Гусаровой во время их вечерних сидений-прядений. Молодая Вера все быстро рассказала о своей жизни, а мать могла говорить часами, все что-то новое — для Николкиного слуха из соседней комнаты — припоминая:

— ...Вот Андреяну кто-то насоветовал: чего, мол, дети с разными фамилиями, усынови старших и перепишешь на свою. А то пойдет Николка в школу, в интернат, так все нос совать будут, интересоваться: отчего и как, не приемный ли Николка, Юрку-то с Толькой хорошо там знают, не из детдома часом? До слез парня доведут.

— И правда, — говорит Вера, — может действительно усыновить... в смысле, официально оформить, чтобы все эти вопросы не возникали. Я в школе ведь немного успела поработать, так схожие истории видела или слышала...

— Андреян-то когда расписывались в Белокаменском сельсовете, так хотел Юрку с Толькой переписать, но там какие-то справки с места рождения и военкомата с места призыва первого-то мужа Георгия понадобились. Все потому, что без вести пропал. А тут Николку рожать уже пора, Андреян в отставку со скандалом вышел с флотской службы, переезды с маяка на маяк начались. Не до справок. Потом Юрка, за ним Толька в школу пошли; еще больше справок требуется... Вот Андреян и говорит: не человек для фамилии, а она для человека служит. И чего зазорного в том, что Юрка, тем более в честь отца назван Георгием, и Толька с его фамилией будут? Опять же не в

пьяной драке, а в первые же дни войны погиб. Формальности все это, с фамилиями-то. Это в столицах с жиру бесятся да выгоду всякую ищут, меня прозвища: сегодня одно, завтра другое. То Магазинером звался, а то каким-нибудь Орловым или Беркутовым! Чего-то переменится во власти — наоборот перекрестится. Так что, мать, я больше dobroxотов на этот счет слушать не буду, а и ты не заикайся. Все!

— Да-а, может и прав Андреян. Семья-семьей новая, но и для старших память об их отце должна сохраниться. Ты говоришь — он погиб, а как же без вести пропавший?

— А мне когда похоронку — не похоронку, а из районного военкомата прислали извещение о пропаже, уже через год после того, так наши деревенские бабы, многие такие же получили, сказывали: в первые-то дни и месяцы войны кто их там учитывал, погибших-то? Не до того было.

Знатко, говорю я, не я одна така соломенной вдовой осталась: у многих баб мужья, сыновья и другие родичи в одной части с Георгием на фронт направлялись — все и без вести пропали. Уже после войны, когда сюда, на Север приехала, Мишко, брат мой что на Палагубском начальником, он шибко грамотный и знает куда писать — разузнал все.

У нас ведь, когда в тридцать седьмом годе Онеголаг расширялся, много осужденных привозить начали, лагпунктов понастроили в лесу, так всех отслуживших местных срочную в Красной Армии повербовали в охрану. А чего не идти-то? Деревня своя рядом, зарплата и паек хороший, работа не пыльная, чем на лесозаготовках

пуп до килы* надрывать. В том же годе Георгий, он на год старше меня был, со службы вернулся, я на сносях скоро с Юркой стала, вот он и пошел в вохру старшиной. К началу войны звездочку на погоны дали, младший лейтенант значит, отделенный командир.

А как войну-то объявили, мы-то поначалу о ней и не знали, радио в глухомани нашей не водилось, так лагеря и пораспускали почитай все: кого вовсе отпустили и в стройбат поверстали, многих на бесконвойное перевели, вместе с колхозниками лес валить и землю пахать — мужиков-то за половину сразу призвали на фронт. В оставшиеся лагпункты вохру набрали из непризывного возраста и нестроевых калек. Всю же прежнюю охрану, Георгия тож, в один день отвезли на грузовиках до станции, посадили в эшелон — и на фронт, куда-то в Прибалтику. Да до фронта вроде как не дошел эшелон-то, немцы вчистую его разбомбили, а вскорости это место уже в ихнем тылу оказалось. Больно быстро тогда немцы-то наступали. Вот весь эшелон, мужики со всего Онеголага и в нетях, в безвестно пропавших оказались.

— Страшно все это; мы вот с Пашей почти одни на свете остались.

— ...Первые-то годы без Георгия каждую ночь снился. Мать моя говаривала бывало: раз снится, значит не покойник. Может по госпиталям где лечится от ран али, не приведи господь, в плену мается. И когда с Андреем сошлись, уже Николку родила, все один сон повторялся: нашелся Георгий, будто в плен попал да контуженный на голову, память всю потерял, где-то

* Паховая грыжа (народн.).

после войны проживал в Иванах непомнящих. Потом знахарка хорошая попалась — во сне вроде как и цыганкой обернулась — и разговорила его, память и вернулась. Приехал он будто в наше село, Верхний Халуй называется, а мама моя и посейчас рядом, в деревеньке Погост проживает, узнал где я с детьми-то и вот будто пошел Мишко — тогда на Палагубском маяке — на моторке в Полярное, баб в магазин повез, а я что-то не поехала, уже Светланкой на седьмом месяце беременна была, муторно с утра, нехорошо этак... И у Андреяна все из рук в тот день валится, вроде как захворал чем-то, может животом мается?

Дела-то по дому переделала, даже прилегла на чуток — так нехорошо, все неймется, заснуть же не могу, а Колька маленький то молчалив с рожденья, а тут раскричался. Уже говорить умел мало-мало, да какие-то злые слова, что и знать еще не должен, выкрикивает, как будто в чем излыгает меня!

И такая вот немога и докука до пополудни, погода под стать портиться начала: то штиль полный еще с вечера на море, солнышко, хотя и неяркое, нежаркое в конце августа, а душу, если не тулово, греет. А тут сиверком с моря в залив подуло, тучи черные, хотя снегу идти совсем рано, с моря тож зашли, закрыли солнце.

Белка у нас в клетке жила, с Дворцов привезли энтим летом для Николкиного баловства, раз Андреяну кошки не по нраву, так в тот день к орешкам даже не притронулась, а свернулась клубочком, как ни разу того за ней не примечала, закрыла глазенки, но догадываюсь — не спит, даже не дремлет.

А на дворе бараны наши подрались — все до кучи!

Вдруг все затихло: ветер как оборвался, бараны уже травку позднюю, остатнюю дощипывают бок о бок, белка села, хвост столбом, насторожилась. Колька кричать перестал, молчит озадаченно. Ни звука вокруг. Только слышу — моторка наша тарахтит со стороны Полярного, уже противулежащий к маяку мыс между Палой-губой и Екатерининской бухтой проходит. Чегой-то в голову мне пришло, взяла Андреянов бинокль (сам-то на вахте на наутофоне), что еще с Тороса, с войны на память и для пользы с собой взял, под списанье подвел. Вышла с ним на мостки перед домом, навела на моторку-то нашу, смотрю: Мишко за рулем, обе бабы наши, парнишка Пелагеин, что с собой в город брала одежду-обувку в магазине примерять, а в носу шляпки стоямя стоит какой чужак, весь в черном, совсем незнакомый, только снял он кепку свою — а на голове кудри рыжие, с красным отливом, хотя и стриженные, но в бинокль хорошо видны.

И чем ближе моторка подходит к маяку, тем больше ноги подо мною слабеют, дурнота подкатывает к горлу. Здесь Юрка с Толькой, что пошли было на целый день за грибами за Оленью губу в сторону Сайды-речки, зачем-то объявились, стали по обе стороны от меня, молчат, тоже на моторку глядят. Какие-то оба не свои, все молчат, вздыхают.

Чуть-чуть шляпке осталось до нашего пирса, как вдруг, откуда ни возьмись, из-за Екатерининского острова смерч, какой я только раз в малости видела, налетел и прямо через моторку

прошелся и дальше унесся, развернувшись на выход из залива в море.

Но, видно не через самую моторку пронесся, а совсем рядом, так что та даже не перевернулась, все уцелели, только тот, с рыжими кудрями пропал. Пристала моторка к пирсу, бегу, расспрашиваю: что за человек незнакомый на носу стоял да куда подевался? А там все только-только от испуга отошли, чудом не потонули. Мишко же говорил: это, Маня, человек на причале СНИС'а к нам попросился, сказал: дело у него на Палагубском имеется. Да вот жаль, не добрался он до берега — стоял все на носу, вперед смотрел не отрываясь, а смерч-то по носу шлюпки коснулся, вот и унес его в море. Кто такой? Ума не приложу, сам он себя не назвал, но очень похож на постаревшего твоего Георгия, дай ему бог на том свете...

— Господи! Да какой, Маша, страшный сон? Это значит, думала ты тогда постоянно: и хочется чтобы первый муж живым остался, увидеть его хотела, но и представить не решалась, как он к тебе придет, да увидит-узнает, что снова замужем, уже от второго мужа дитя прижила и еще одним беременна. Самое страшное для нас, женщин, двоемужней оказаться.

...И долго еще мать с Верой говорили-рядили о мужьях, о детях, о войне, испортившей так много жизней. Николка многого не понимал, но сам в это время стал часто смотреть один и тот же страшный сон про умершую в младенчестве единственную сестренку Светлану, которую он толком и не помнил, просто по рассказам знал: была такая, он даже с ней играл. Снилось же, как идет он вроде по Палагубско-

му мысу, недалеко от маячного дома, за сараями с дровами и сеном для овец и видит из гранитного камня сложенный домик, маленький, с материн сундук размером, с одним окошком в ладонь размером и без стекла. А внутри темно. Вот приблизил он лицо к окошку, всматривается в темноту, ничего толком не разберешь, но чувствует: кто-то там лежит неподвижно и даже как бы на него смотрит из темноты.

В первое видение этого сна Николка проснулся с громким криком, напугав всех в доме. Опося по привычке, но утром просыпался с беспокойством в маленькой еще своей душе.

«КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКАЗЫ» — ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД И ТАИНСТВЕННАЯ ШКОЛА

А не зря Вера Гусарова и Трофим Матрошин сравнивали Тольку с поэтом Есениным, почему-то запрещенным. Как запрещено матом прилюдно ругаться; разрешается только мужикам, когда что-нибудь тяжелое ворочают, например, бочки с машинным маслом и керосином на канатных таях поднимают на скалу позади маячного здания со стоящей внизу, у берега баржи-танкера. Или когда во Дворцах, напившись пива с водкой в чайной, начинают ругаться громко, даже неопасно драться, то есть не беря в руки порожних бутылок, пивных тяжелых кружек, тем более ножей и других острых железок. Женщинам и детям — это Николка хорошо знал — матюкаться совсем нельзя. Даже если у тебя новенький, новомодный китай-



Лапландский лес и летние юрты

ский карманный фонарик заныкают: на время или насовсем. Словом, отберут или украдут. Такие вот эти волшебные слова: одним можно, но не всегда, другим — никогда нельзя.

...Не зря же потому, что поэт, как объяснили Николке, стихи пишет и много читает, а Толька, при всей его жизненной любознательности и вечной занятости всем чем угодно, очень любил читать. Все книги в доме он на каникулах, особенно летом, все давно перечитал. Будучи же в доверительных отношениях, почти своих, с Матрониным, брал на читку и у него. Больше Трофим никому на маяке книг не давал, а Николке разрешалось только в его комнате в маячном доме картинки разглядывать.

Но Толька редко приносил от Матронина книжки с картинками. Лишь однажды принес толстенную, сказал: «Это старая книга, ей почти сто лет без малого, про наши места. И с картинками — обращаясь к Николке, — только аккуратно листай, не слюнявь и шаньги с по-видлом при этом не лопай!»

Про аккуратность Николка давно усвоил от Трофима. Тут как раз, рановато для середины августа — дело было в прошлом году — зарядил частый и долгий дождь. А Николке, мучающемуся вынужденным ничегонеделанием, страсть как хотелось узнать: что в книге этой написан про остров Седловатый, про него, про лопаря Седалина... Как раз стерег уже трехлетнего Славку, то есть просто смотрел весь день, чтобы тот не совался куда не следует, и заработал у матери сразу половину банки сгущенки и штук десять печений. Все это и променял в дождливый вечер Тольке за чтение книги про

Север. Тот и свои условия оговорил: читаю только один час, засекаем — и ткнул отогнутым большим пальцем правой руки в настенный флотский хронометр.

— Вот, давай, лучше сказки про лопарей и чудь прочитаю; это тебе понятнее будет.

«Были три богатыря с работником, три богатыря братана. Промышляли они в лесу и выстроили себе на Туломском падуне каменные тупы. Раз они подняли из Туломы две громадные скалы. Один из них донес до верху и положил там, а другой — только до половины. Так и теперь лежат эти камни. Сто человек не пошевелият их... Раз они послали казака в погост узнать живы ли лопари, чтобы пойти к ним в гости. Казак по дороге заснул, а в это время чудь разоряла погосты. Когда казак проснулся да пришел — чудь уже сожгла все. Казака схватили, узнали, что он живет у богатырей, и велели ему вести себя к ним. Младший брат богатырь соскучился ждать. Должно быть, думал: все хорошо, потому казак там и остался. Пошел он в лес и видит — идет чудь навстречу, а впереди казак ведет их. Богатырь давай стрелять. Расстрелял все свои стрелы и давай рубить их. Пропасть положил он народу, наконец, один чудин срубил ему мечом полголовы. Так младший богатырь и упал тут. Пошла чудь дальше, вот и до каменных туп добрела. Увидели два брата-богатыря и давай стрелы пускать — много перегубили врага. Наконец, у одного брата и стрел больше нет. Остались только у старшего, который и продолжал бить чудь. И всю бы чудь они перебили,

если б жонка ему не изменила (лопари так говорят про жену — хотя они превосходно владеют русским языком и даже пословицы русские выдумывают), Она (т.е. жонка) подрезала тетивы у лука и крикнула чуди: «Идите, берите моего мужа; он теперь ничего сделать не может!» Но чудь все-таки не решалась идти к богатырю, а только просунула в избу к нему меч свой. Он схватился за него и порезал себе руки совсем. Тогда чудь связала его и брата и повела их к своему «царю». По дороге, когда на ночлеге все заснули, богатырь говорит жене: «Развяжи меня, я их всех перебью и одной рукой, а тебя не трону». Но она не сделала этого. На другой день чудь жонку убила, потому что жонка не должен изменять своему мужу. А богатырю у чудского царя был большой почет.

В Эк-Острове уже отделяют чудь от шведов. Чудь жила недалеко от лопарей в верхах, а лопари на мелких озерах, где попало. Лопь в это боязливое время сидела кучками, врозь не разбиваясь вовсе: сонгельский погост с нот-озерским, бабенгские с иок-островскими. Замечательно, что во всех этих преданиях о русских ни слова. Следовательно, лопь боролась с чудью задолго до пришествия ушкуйников. Только в одной легенде есть указание, что между лопью ходило серебро, которое преимущественно грабила чудь, и серебро это было русское.

Женщин и детей чудь убивала мечами. А соберет, бывало, мужчин всех в одну тупу и сожжет. Кто из мужчин противился — того рубили мечами, кто покорялся — того

жгли. Пощады не было никому. Время тогда было разбойное, нечистый ходил по воле, делал что хотел, тоже смутянил везде, ругался над человеком. Лопин раз пошел в лес; вдруг видит нечистого. Испугался.

— Надо ли тебе животов (денег)? — спрашивает нечистый.

— Надо.

— Поди домой, принеси, что вернее тебя.

Задумался лопарь, идет домой и рассказывает жене. Та говорит: «Возьми меня; я вернее всех». Повел он ее в лес. Приходит, нечистого еще нет.

— Поищи у меня в голове! — говорит лопин, а сам ложится отдыхать. Скоро заснул; в это время подкрался черт. А у мужа нож был больше четверти. Черт шепчет жене:

— Убей мужа; я тебя за это с собой возьму.

Жена сначала не соглашалась, а потом взяла, но только что подняла руку, чтоб убить мужа, как черт разбудил лопина.

— Кого ты ко мне привел? Видишь ты ее верность? Поди домой и принеси, что вернее тебя. Лопин бросил жену в лесу, а сам пошел в вежу. Видит, там никого нет кроме собаки. Взял он собачонку, пошел в лес. Черта опять нет. Лопин заснул. В это время нечистый стал потихоньку подкрадываться. Собака как почуяла его, залаяла и бросилась на него.

— Вот это действительно вернее тебя! — сказал черт. — Сколь же тебе денег?

Лопин назначил; нечистый расплатился, взял собаку и ушел.

Здесь между Иок-островом и Зашейком

по пути мне пришлось слышать и другое весьма оригинальное предание: «За Колой, к западу живут лопари «больные». Волос у них нет на голове, да и вся она в струпьях и болячках. Нет между ними ни одного здорового. Лопари объясняют это тем, что кого крестил преподобный Трифон Печерский — у тех рождаются дети, как следует, а кого он не крестил, у того пошло такое уродливое потомство».

В Бабенгском погосте тоже мне пришлось выслушать немало рассказов о чуди; приведу самые характерные, заметив только, что во всяком погосте арену борьбы с чудью определяют не у себя, а подальше.

Пришла чудь на реку Воронью. Промышлял в это время один лопин лавозерский. Как увидел чудь — давай бежать от нее домой. Чудь заметила и кинулась за ним, как за проводником. К этому времени, как теперь к Ильину дню, вся лопь собиралась в погост. Кельтище тут у них было огромное, как поле большое. На этом кельтище народ играл «бросая мячи». Тут же играли два брата богатыря. Заметили они, что идет на них чудь, и все рядами, много рядов. Один брат схватил мотор (крюк, на котором варят), а другой надел шубу. Первый кричит второму: не отставай от меня. Бежать было некуда: впереди чудь, а назади река. Кинулся богатырь в ряды врага, размахивая мотором, и много он побил народа, прошел первый ряд, второй и третий, на третьем ряду брат отстал от него. Его было схватили за полы, но он, быстро скинув шубу, оставил ее у чуди, а

сам побежал дальше. Наконец, перед ними оказалась река, сажени в четыре шириною. Перепрыгнули оба. Атаман чуди не мог перепрыгнуть, но перебросил за ними меч. Богатырь с мотором озлобился, схватив меч, кинулся через реку обратно за атаманом. Дрались они недолго, наконец, лопарь свалил чудина.

— Покажи язык! — Тот показал язык, лопарь отсек ему язык его же мечом и ушел. Атаман вернулся и порубил половину своих за то, что никто не шел за ним. Потом он перебил остальных лопарей, а женщин и детей их забрал в тупу и зажег ее, а сам с воинами ушел. В это время пришли два брата богатыря и, найдя многих еще живыми, вытащили их из тупы. Остальные сгорели.*

...Когда большая стрелка настенных круглых часов исправно обежала все двадцать четыре цифры, Толька захлопнул книгу, с аппетитом съел печенье, обмакивая его в сгущенку, затем выскреб насухо ложкой банку. «Всякий труд должен быть вознагражден, — сказал, подмигнув огорчившемуся брату, явно с чужих слов. — Однако, дождь дождем, а у меня к Трофиму спешное дело. Заодно и книгу эту отнесу, договаривались на два дня». Накинул на себя солдатскую плащ-палатку, на что-то удачно выменянную в Полярном, прикрыв ею от дождя себя и зажатую подмышкой книгу, еще раз подмигнул Николке и вышел из дома.

Надо сказать, что в доме имелась запретная книга, которая называлась «Кентерберийские рассказы». Что это такое — Николка не знал,

* См. пояснение к этому отрывку выше в рубрике «От автора».

но появилась она в прошлом году, когда Толька прибыл на новогодние каникулы. Разбирая свой вещмешок-сидор, он вынимал оттуда привезенные для стирки носильные вещи, а на большую часть опустевший мешок скомкал и небрежно бросил на печную лежанку — его обычное спальное место зимой, вскользь сказав матери: там всякая мелочевка, халда-бурда и пара учебников — хочу подчитать к новой четверти. Про учебники мать, конечно, не поверила, не водилось такого за Толькой — школьными делами в каникулы заниматься, но более расспрашивать не стала.

А на следующий день, когда дома никого из взрослых не было — отец на вахте, мать к Вере Гусаровой почаевничать ушла — Толька подмигнул Николке, совсем не обращая внимания на совершенного несмышленьша Славку, достал с лежанки сидор и вытащил из него большую, толстую, совершенно размахренную книгу:

— Большая редкость. На помойке за декафом нашел, видно тамошнюю гарнизонную библиотеку чистили и пришедшее в негодность выбросили. Называется «Кентерберийские рассказы», хотя и в стихах. Англичанин Чосер сочинил лет этак пятьсот-шестьсот назад. Делать им, англичанам, тогда нечего было, а у нас Дмитрий Донской татар лупил на Куликовом поле...

Очень поумнел Толька за прошедшую четверть; видно, учительницы истории и литературы крепко за него взялись. Он и сам об этом говорил, когда мать просмотрела его дневник и похвалила как раз за эти предметы.

Николка с некоторым недоумением смотрел на расхлябанную книжицу, даже подумал: сов-

сем заучился брательник, может и из ума выжил, — весь его на историю-литературу поизрасходовал, если такую рухлядь за столько миль притащил. Но когда Толька, на всякий случай отогнав ни в чем не повинного Славку, начал разворачивать листы книги и показывать Николке большие, во весь лист, цветные картинки, то у того глаза на лоб повыскакивали: всюду голые тетки с толстенными задницами обнимаются с голыми же дядьками, но в шляпах с перьями. На других картинках все едят до отвала, а на огромных столах громоздятся жареные целиковые поросята, куры, рыбины в Николкин рост, много кувшинов и бутылок... И снова пошли голые тетки и дядьки.

— Ладно, на первый раз хватит, — захопнул книгу Толька, — запретный плод, как говорят, сладок. Кстати, у тебя пары-тройки конфет, хотя бы карамели, нигде не значено? Ведь сколько я мытарств с этой книгой перенес? В интернате от воспитательниц прятал, от ребят, чтобы не стибрили. Здесь вот на лежанке сохранял под матрасом, а то мать-отец увидят, так сразу сожгут в печи. Так есть или нет?

Николка вздохнул, достал из своего тайника под койкой две карамельки в обертках

— Да-а, негусто. Ну, на безрыбье и карамель щука. Про книгу молчок! А то вздую тебя, а когда в школу пойдешь, в интернат, то защищать тебя от пацанов не буду.

Слыша упоминание — от взрослых, от Тольки — о скорой своей школе, житье в интернате при ней, Николка как-то терялся, не мог еще сам себе объяснить: к чему готовиться, к худу или к добру?

Вроде всем ребятам, даже и девчонкам, ходить в школу следует обязательно, Можно не ходить только цыганятам, что давеча во Дворцах табором в повозках на лошадях проходили окрест деревни, а деревенские бабы судачили: вот, мол, ездют, гадают, подворовывают при случае и забот у них нет, даже ребята в школу не ходят. И на всякий случай зорко следили за своей малышкой. Чтобы цыгане с собой не увели. Так про них, про цыган, и говорят: подманивают малых конфетами и свиристелками, уведят, а потом обучивают всяким своим фокусам и попрошайничать по городам заставляют. Может, и врут бабы-то; отец, например, в это не верил: «Это давно все было, а сейчас с ними строго, милиция таборы проверяет». И Мироныч, дальний родич отца, участковый сержант по Дворцам и Новоскакову, что уже третий день столуется у Настасьи, отмечая с отцом его приезд в отпуск, разгладив непослушные со сна в сенцах белесые усы, подтвердил: «Да, бабоньки, у нас в органах с этим строго... Слышь, Андреян? Ты Толек-то на лисапедах в сельмаг уже послал? А то мы с тобой политическую ошибку чуть было не сделали: сколь стопок, не счесть, за здоровье всех подымали, а за Отца родного пока не единой. Исправляться, знать, надо».

Кто такой этот Отец родной — Николка уже хорошо знал из радиоточки еще на Седловатом.

...Собственно школы он не пугался, раз она необходима, тем более, что как все вокруг говорили: там многому научат, в основном хорошему и полезному в жизни. А вот интернат? С одной стороны, Толька — заступник будет, но ведь

это сколько конфет, даже самой дешевой карамели, будет стоить это заступничество? Себе-то и вовсе не останется.

Вздохнул Николка в полную грудь, загрустил. Совсем с ничего вольной жизни на острове осталось, всего год с самым малым. И как он в школе-интернате будет по утрам посыпаться — а вокруг ни матери-отца, ни Славки с Сережкой, который к этому времени уже бегать будет, из дома осторожно в мир выходить? Главное, как тут без него обойдутся? Ведь не только он к острову привык, сжился, но и Седловатый, наверное, и его, Николку, всегда имеет в виду. Кто вместо него не раз обежит его, проверит: не выбросило ли что штормом на берега Меловой и Семужьей бухт? Не завалилось ли что на пологом склоне в воду Вороничной сопки? Опять же клад его в зенитных землянках... Здесь и вовсе огорчился: ох, растащат ведь! А Северко с Облайкиным? А только что появившаяся на острове корова Седалина?

...И точно чувствуя скорое расставание, откуда ни возьмись — оба пса, размахивая хвостами и умильно вытягивая свои остроносые морды, уважительно пригибая их и закладывая назад уши, подбежали к Николке, немного покружились, понапрасну принюхиваясь к карманам, где только неинтересные им орешки и остались, но вежливо еще раз взмахнули хвостами и убежали в сторону близкого коровника. Наверное, взяли телку под личную охрану.

В школу, так в школу! Но все же год еще впереди, а это — громадный для Николки отрезок детской жизни.

ВЕЧЕР БЕЗ ЗАКАТА

Уже не первый час, как Николка с какой-то оторопью, на миг остановившись, чувствовал: он так забегался, зарапортовался, говоря по-флотски, что вроде как и не он сам, Николка, сын Андреяна, выбирает себе занятие, а кто-то его водит. Не за руку, конечно, но в мыслях незаметно поселившись. И раньше с ним такое было, всегда под поздний вечер долгого летнего дня, проведенного в неустанных хлопотах и занятиях, для которых никогда времени не хватает.

А в какой-то момент и вовсе замер на месте: только сейчас и увидел, что солнце, ставшее огромным и тускло красным, уже колом лежит на дальней линии моря, где-то, наверное, посредине между Седловатым и островами Франца-Иосифа. Так то ли в шутку, но может и всерьез, по крайней мере с насмешливым лицом, говорил Трофим Матронин. А такое солнце говорит зарапортовавшемуся Николке только одно: уже дома на круглых корабельных часах маленькая стрелка вплотную дотянулась до самой большой цифры «24», а может и перешла ее, трудолюбиво начиная с нуля очередные долгие сутки.

О, ужас! Как бы мать не отлупила вицей... хотя не в первый раз домой в такое время возвращается. А потом Николка понимал: хотя за длинный день ноги так и не донесли его до дома, но не менее десятка раз мимо него проходил и пробегал, а потом почти все время на людях, на виду. А на острове у всех взрослых как-то уж невольно принято, даже не задумываясь, постоянно примечать: вот, допустим, Андреянов Ни-

колка показался около Торфяного озера, тут же взобрался на верхушку ближней Вороничной сопки и вроде как внимательно, сделав ладонь козырьком, смотрит на крохотный островок Бурый, что в полутора десятках метров от берега Седловатого; и чего он там усмотрел? Надо бы и самому вроде невзначай туда сходить, поглядеть.

А вот Танька с Настеной, две подружки по несчастью, других-то ровесниц им на маяке нет, все на качелях у маячного дома раскачивались, по затем дружно встали и пошли в сторону лестницы на спуск с маячной горки. Куда их понесло? А-а, наверное, к Гусаровым; Паша на вахте, а Вера дома. Из баб маячных она самая молодая, вроде как старшая подружка им будет. Значит, сейчас все трое, от мала до велика, часа два-три будут чай с вареньем гонять и патефон слушать с тангами всякими и фокстротами.

...Совсем уж странная компания направилась на берег Семужьей бухты, что напротив Акуловой скалы: Васька-то с Витькой, понятно, в одном доме проживают, а вот как к ним прибился Андреянов четырехлетний Славка? Не иначе, как намерен Витька или Васька что-то усмотрели на том берегу, что море принесло.

С появлением же на острове телефона и все может позвонить матери например, Глаха Седалинская: «Чтой-то, Маня, твой Николка уже два часа без малого сидит пень пнем на Носу, на самом мысу, ноги едва не в воде? Удочку-то и в руки не брал, а все вдоль по воде смотрит, все глаза, небось, проглядел. Чегой это он, а?»

Когда Гусаровы на Седловатый прибыли, немного к здешней жизни попривыкли, так Вера

все удивлялась: «Ну, у вас тут прямо как в детском саду: все взрослые своими делами занимаются, дети вроде как тоже каждый сам по себе, а на самом деле за каждым пацаном с рассвета до заката по несколько пар глаз наблюдают!» — «А иначе, Вера, здесь и нельзя, — отвечала ей мать, убаюкивая грудного Сережку. — Ты пей, пей чай-от с засахаренной морошкой; небось, у вас в Ташкенте про такую ягоду и не слышно? Здесь хоть мужики не поладят и по полгода друг с другом не разговаривают, окромя как рапортов по вахте — это от трезвости полной бывает; или бабы сцепятся друг с дружкой, но на ребят это лихо не падает: все одно за пацаном своей супротивицы та же Глаха или Улита зорко и не вредничая приглядывают, в случае чего не прямо, конечно, но через мужиков или Ваську с Танькой передадут. Без того здесь никак нельзя».

Но сегодня Николка явно переусердствовал: с утра вышел из дома и только после нуля ночи явится туда. И самое интересное: почему он в полночь сидит на мысу между Языковой и Меловой бухтами и смотрит на все прибывающую воду. Время для него замедлилось да так, что он видит, как ночной прилив метр за метром заливает белесую галечно-ракушечную низину Меловой бухты. Потому и уселся на высоком мысу, да и то в полную воду и от мыса этого только верхушка останется и каменистая дорожка вглубь острова. Любящий точность отец объяснял Николке, что приливы-отливы в их местах полусуточные, а разница между большой и малой водой составляет три с половиной метра. «Это, Николка, прямо под конек крыши нашего дома!»



Иллюстрация-заставка с титульного листа книги «Страна холода»
В. И. Немировича-Данченко

На Николку напала оторопь, какую он уже и раньше испытывал, оставаясь где-то на берегу острова в полуночный летний час, перед этим набегавшись за целый день, не заходя домой даже для приличия и обеда. Но он и понимал хорошо, что мать и отец совсем не зазря дают ему такую вольную жизнь: ведь и няньке положен отпуск. А дома за долгую зиму насидится еще, когда весь остров завален снегом, к берегу вовсе не подойти без опасения свалиться с наметенного на край берегового обрыва в кипящую от холода воду и, не сумев издать даже сдавленного крика, пойти на корм крабам и другой донной нечисти.

Потом, все в доме знают: жив-невредим Николка, сидит, уставши, сиднем на мысу между Меловой и Языковой бухтами на расстоянии меньше кабельтова почти прямой видимости, вот только угол склада чуть-чуть его оттеняет. К тому же с полчаса назад прошел с полусуточной вахты отец, махнув рукой: пора, мол, Николка, поесть за весь день — и на боковую! А еще через пяток минут и Толька с маячной горки спустился вслед за отцом: видно, у Трофима Матренина засиделся. Не один Николка у хромающего одинокого маячника бывает. Но если с Николкой Матронин душу за чаевничанием и рассматриванием старых книг отводит, то с Толькой ведет уже серьезные, взрослые разговоры о будущей жизни, когда оба они покинут Седловатый и вообще распростятся с холодной маячной жизнью: Трофим инженером сделается, а Толька поплывет по морям-океанам мир весь круглый посмотреть, себя показать-покрасоваться своими рыжими кудрями. «Они,

Толян, у тебя прямо-таки как у Сереги Есенина, моего любимого поэта», — смеялся с легкой завистью Матронин, у которого волосики на голове редковатые и пегой раскраски. Все к одному у обиженного ни за что жизнью холостяка: мало хромоты и тщедушности, так еще нос картошкой, глаза белесые... вот и волосы не для модельной укладки. Жалко Николке Трофима, но думает: вот уедет он на Большую землю, выучится на инженера — и все у него будет: жена, дети, дом.

...И все же Николка, из последних сил борясь с дремотной оторопью, понимал: идут последние минуты ночной воли; вот-вот послышится из-за угла склада, от дома голос тоже уже сонной матери, только укачавшей в колыбели для ночного сна Сережку, — голос не сердитый, но с притворной грозностью: «А где ты, паразит несчастный, еретик ты этакий? Шибко счас домой, а то вицей отхожу тебя по заду, так два дни есть-обедать стоя у стола станешь!»

И так далее, в давно известной Николке последовательности обличений и напрасных угроз.

Дважды он пробовал встать и направиться домой, но уже охватывающий его теплой и сладкой пеленой сон удерживал. Николка испугался: все, пропал! Так и заснет сидя, как уже случилось прошлым летом, так что придется отцу нести его домой на руках, а утром выслушивать малоприятные слова от матери.

Попробовал испытанный в таких случаях прием: вспомнить о смешном, да таком, чтобы рассмеяться, а смех и отгонит на какое-то малое время сон. И вспомнил об окончании осушения Гранитного озера часам к девяти вечера: коше-

лек Славки нашелся сразу, но... полтинников с бородатым императором там не оказалось, только ничтожная мелочь. Толька орал белугой недорезанной: «Где, гад этакий, полтины?» Славка только хлопал глазами, а потом вспомнил: он их, оказывается, за день до собственного плаванья по озеру, опасаясь покражи, из кошелька вынул и запрятал в сарае в дровяной поленище. Впрочем, обещанную монету отдать Тольке не отказывался; вот только запомнил, где именно он их спрятал... Толька совсем заматерился: еще и пару кубов дров теперь перекладывать! «Ну, найду, так обе полтины себе заберу! За обиду». Славка — в рев. А Николка в этот полуночный час рассмеялся. Сон действительно, остерегаясь громких звуков, недалеко отлетел от пацана. Уже без усилия тот встал и торопко пошел в сторону дома, все же попутно отмечая: и в этот час остров полон жизни: вроде как сам Федоров на горке прошел от большого дома на маяк; новый обитатель острова, корова миролюбиво мычит, а Глаха Седалина что-то еще копошится у ее обиталища. В доме Гусаровых тоже не спят, вроде как даже патефонная пластинка поет. И непонятно откуда донесся голос Васьки, а это значит, что и Витька с ним.

Домой он пришел по времени впритык: в двери столкнулся с матерью. В доме все уже спали, поэтому шуметь ей резону не было никакого. Молча взяла прогульщика за руку, отвела на кухню, усадила за стол, поставила миску с теплым пюре из картофельного порошка с жареной камбалой, кружку компота и маленькую кисточку винограда — от Гусаровых. Голод — не тетка, его сон тоже побаивается. Но и Ни-

колка сон уважает; быстро поел, разделся и лег в постель, последним усилием натянув на себя одеяло. Только голова коснулась подушки, набитой гагачьим пухом, как сон им овладел полностью.

Только в секундный миг, словно закрепляясь для следующего бесконечного дня, пронеслись лица Трофима и Паши Гусарова, его жены Веры, Седалина обок с коровой и все остальные — даже противные порой девчонки Танька и Настена. И еще как в скороговорке напомнили о себе названия городов, озер и рек их северного края: Лоухи и Имандра, Монче-тундра и Ловозеро, Поной и Варзуга, Иоканьга и Умбозеро. И вроде как голос отца: «Запоминай, Николка, запоминай на всю жизнь, ведь больше такого не увидишь...»

ЭПИЛОГ: ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

Николай Андреянович довел-таки в своих воспоминаниях шестилетнего Николку до постели. Раззевался — зная мороз, на ночь наступившую глядя, нешуточно растекся над утихшим городом: не великим, но и не малым, не хуже и не лучше других в ближней к Белокаменной провинции. Да и в доме все попритихли; видать, супруга заснула под тихую рокотную мистического канала телевизора... а на всех остальных по причине «рождественских каникул» все какие-то черти непонятной половой ориентации и чертовки в одних трусах фасона «нитка через попу» круглосуточно выплясывают.

И кот в своей зимней, в квартире вовсе излишней, шубе, хорошо хоть бесплатной, подозрительно давно не заглядывал насчет печенки поинтересоваться. Надо полагать, тоже задремал в своем кресле, мечтая о виртуальных мышках.

Пора и самому на боковую, мысленно утомив за длинный полярный день Николку, да так, что тот едва коснулся головой подушки, так и упал в сон. Ого! На кухонных часах-кукушках, ностальгических, хотя и современной китайской фабрикации, уже четверть первого ночи. Сколько Николай Андреянович ни ходил по часовым магазинчикам и лавкам, торгующим тикающим товаром, но так и не нашел ничего, даже близко напоминающего те, седловатовские флотские часы-хронометр с циферблатом на двадцать четыре часа. Но не отчаивался: допрут все же китайцы до такого спроса и мигом всю страну завалят похожими подделками.

«Вот допью стакан полуостывшего чая с размахившимся в нем лимоном, выкурю последнюю на сегодня заразу и — баста!» — Рассмеялся, сообразив, что вслух сказал. Впрочем, так часто с человеком бывает в начале ночи, когда вокруг все затихло, все спят, а только он один бодрствует. Реальное путается с вымышленным, сегодняшнее с давно бывшим...

Но анализировать свое состояние, прибегая к точным терминам, явно не хотелось: ведь сам с собой, а не перед аудиторией невнимательно слушающих студентов. Тем более, что все более растягивающиеся во времени, ночные мысли текли по прежнему руслу воспоминаний. Но только сейчас он не вживался в образ несмышленища Николки, а как бы со стороны смотрел на себя нынешнего и на себя же той невообразимо дальней поры, когда крохотный островок Седловатый казался необъятным миром.

Уже сорок лет Николай Андреянович живет в этом среднерусском городе, а до деревни Дворцы на реке Угре, где Николка в родительский, долгий северный отпуск с изумлением открывал для себя совершенно новый мир, не похожий ничем на мир маяков Палагубский и Седловатый, потом еще Большой Олений и город Полярный, — так ехать до нее на машине всего-то полтора-два часа. И все эти четыре десятилетия в общем-то наполненной событиями жизни здесь нет-нет, да и задумывался: а не кажется ли ему, что живет он в каком-то невероятно долгом отпуске — отпуске с крохотного островка Седловатого, узкого мыса Палагубского, Большого Оленьего и Полярного тож? «Где родился, там и пригодился», — не

раз и не два говаривала малому Николке мать, когда тот в самую темень полярной зимы начинал вроде как сожалеть, что живут они здесь, а не в тех же Дворцах; на худой случай — в Полярном, где в домах полно электрического света, тем же фонарным на столбах светом освещены все улицы, а в самой срединной точке города и вовсе пылает светом каток, где гремит до полуночи музыка, а сотни городских ребят и взрослых знай себе нарезают круги по льду замерзшего озера размером едва не в треть Седловатого.

И мать, мучительно в душе, не показывая это наружу, жалела Николку и всех своих детей, которым они с отцом, но не по своей воле, а по выпавшей им доле-судьбе, уготовили жить до взросления в таком месте. Исключая три летних месяца, «от Колы до ада три версты», все успокаивала его: «Не могут все жить в городах да на Большой земле. И здесь кто-то должен нести вахту на кораблях и маяках. А кому куда судьба нагадала жить-поживать, так на то грех жаловаться. Она-то, судьба, не любит хнычущих да стенающих и если надо, то за все перенесенное отблагодарит».

Отец же, много чего в жизни повидавший и многие нелегкости судьбы перенесший с истинным стоицизмом жизненного философа, нарочито серьезным голосом говорил о пользе детства в таких суровых условиях, что-де если, как здесь, смолоду не избалуешься, так зато после, во взрослой жизни, стержень в характере обретется, который и позволит жить не только по уму и сердцу, но и по внутренней дисциплине. «Как в военно-морском флоте», — добавлял он

под конец, невольно расправляя плечи и грудь под тельняшкой.

...И уже во взрослой жизни Николая, но еще не Андреяновича, когда семья покинула Север и осела в этом городе, в прикупленном собственном доме на заводской окраине, отец, неторопко отдыхая от тридцатилетнего «сухого» закона владений Краснознаменного Северного флота за бутылочкой любимой его «старки», впадал порой в несвойственный ему сентиментализм: «...Да, Колька, а все-таки не зря мы на Севере положенное прожили: я — за тридцать, а и ты восемнадцать. Хотя вовсе там не сахар и молочные реки в кисельных берегах, но ведь интересно жили, а? Здесь и близко такого нет. А тебе есть и будет что вспоминать до старости. Да-а, как поется в песне, если бы заново жизнь начинать, то опять бы выбрал ту же: флот, Север, маяки».

Но все же сорок лет как живет здесь,— так откуда эта диковатая мыслишка иной раз проскальзывает: живу в сверхдлинном отпуске! И заулыбался мысленно Николай Андреянович, вспомнив золотые семидесятые годы, когда все они, околотридцатилетние инженеры, умеренно диссидентствовали, по вечерам слушали «голоса» из-за бугра, а в курилках в своих НИИ-КБ хохотали, слушая анекдоты за злобу дня: «...Вот говорит инспектор 1-го отдела оформляющемуся на работу молодому специалисту: «Завод у нас режимный, а у вас родственники за границей постоянно проживают? Никак поэтому не могу вам разрешить работать в основном производстве. Только в цехе ширпотреба или в заготовительном». — «Иван Дормидонто-

вич! Здесь ошибочка вышла: это не родственники, а я проживаю постоянно за границей».

Все же кот заглянул на кухню, но не за печенкой, которой уже объелся, а проверить: здесь ли хозяин? Не ушел ли на улицу мышей ловить? И вообще непорядок: все спят, а он, видите ли, благодушествует с умным выражением лица. Нервно крутанул пару раз лисьим своим хвостом вправо-влево и в обратную пошел досыпать в своем кресле.

...Но еще страннее, интереснее, что за все эти сорок лет у Николая Андреяновича ни разу не возникало желания вновь посетить места своего детства, отрочества и юности. Правда, в 70—90-е годы мысли эти не появлялись по чисто «технической» причине. Выше — это если по карте смотреть — от Мурманска — запретная зона, флотские владения, даже его с постоянной «второй формой» допуска к секретным и совсекретным сведениям и близко не подпустят, если нет вызова от тамошних родственников, которых там, понятно, нет и в семьдесят седьмом колене. Но вот в самом начале «миллениума» случились поочередно друг за другом юбилеи: семьдесят лет его родной школе в Полярном, а потом и торжественно отмечаемое 105-летие самого Полярного, самого «старого» города на Кольском полуострове, исключая Колу — ныне небольшой пригород Мурманска. И хотя она упоминается в новгородских летописях аж с середины XIII века, как база для промысла поморов на русском Груманте, ныне норвежском Шпицбергене, и с восемнадцатого же века числилась уездным городом Архангелогородского наместничества, но с Алек-

сандровском — Полярным, столицей Северного флота еще с царских времен, сравнения не выдерживает...

А интернет всюду свою сеть раскинул; связался Николай Андреевич со своей знаменитой, ныне имени М. П. Погодина, первого директора в 30-х годах, школой, напомнил о себе. А в ответ по обычной уже почте официальные приглашения на оба юбилея с припиской: «Настоящее приглашение является пропуском в ЗАТО* Полярный».

Но — не поехал. А почему? — Наверное, возврата в детство нет. И ни к чему даже на пару-тройку дней возвращаться в дом детства из затянувшегося на всю последующую жизнь отпуска на Большой земле.

До недавнего времени, погружаясь в воспоминания о северном детстве, Николай Андреевич и вовсе думал: нет уже там никаких маяков давно: сирен и наутофонов, маячных домов, седалинских коров и огородов. Зачем громоздкие световые и звуковые маяки с десятком проживающих при них людей, когда все корабли и суда, даже самые мелкие каботажники, небось, давно перешли на радионавигацию, радиолокацию, ГЛОНАС'ы всякие... Однако не все таким печальным оказалось, не обезлюдели и в наш радиоэлектронный век островки, мысы и губы Кольского залива!

А узнал он об этом следующим образом. Как-то заехал в гости к брату Сережке, тому самому, что родился на Седловатом, и которого

* Закрытое административное территориальное образование.

нянька Колька убаюкивал, качая колыбель, когда мать уходила на вахту на маяк, где уже и отец суточную стоял на мостике с биноклем. За братской бутылкой-другой Сережка и похвастался, расстелив на столе «простыню» гидрографической карты Кольского залива и всего северного побережья Кольского же полуострова. И вся та карта в морской части исчерчена линиями, отметками глубин и магнитных склонений. Даже подписи имеются навроде: «район повышенной осторожности плавания».

Николай Андреянович восхитился: где добыл? И карта сама, конечно, секретная?

Сережка засмеялся и перелицевал полотно карты. А на обратной ее стороне, изначально чистой, тушью и рукой матроса, хорошо устроившегося при штабе, расчерчены по графам сведения о проступках членов экипажей эсминцев и противолодочных кораблей Краснознаменной Кольской флотилии (и такая появилась в составе КСФ); в основном преобладали пьянство на берегу и на борту, а также неуставные отношения.

— Вот тебе и секретность,— рассмеялся Сережка,— была бы таковой, не использовали в качестве макулатуры.

И дальше рассказал, что увидел эту карту в кабинетике начальника своего отдела (работает Сережка оптиком-юстровщиком в НИИ оборонного профиля), давнего приятеля, и выторговал за бутылку коньяка. А тот, в свою очередь, привез карту из командировки в Североморск, куда ездил с бригадой устанавливать на корабль «изделие».— Вроде как на память, как экзотику.

...С радостью увидел Николай Андреянович на карте обозначенные цветными кружками —

красными и синими — действующие маяки: сохранился и маяк Седловатого, и Тороса, маяк Великого и на мысе Лодейной губы, оба маяка острова Кильдина и Кильдинский Береговой. А вот Палагубского и Большого Оленьего маяков на карте не значилось. Увы. Особенно сожалели братья об упразднении маяка на острове Большой Олений, куда семейство Андреяна переехало с Седловатого: поближе к Полярному, где уже учились и жили в интернате Николка и Славка, а Толька, вслед на Юркой, выпорхнул в вольницу взрослой жизни.

Именно на довольно-таки большом — по сравнению с Седловатым — Оленьем острове у Николки началось отрочество, а Сережка повторил его прежнее осознание детства. И остров этот был поуютнее, полуднее: сам маяк с маячниками, пост *СНИС*'а с отделением матросов, зенитный батальон...

Но — это другая тема для воспоминаний. Николай Андреянович допил в пару глотков совершенно холодный чай, погасил свет на кухне и едва дотронулся головой до полушки, как сон его сморил. Не хуже, чем Николку в его воспоминаниях о долгом летнем дне на великом — для него, шестилетнего — острове Седловатом.

Что снилось Николаю Андреяновичу в том сне? — Это нам неизвестно, но явно не биржевые спекуляции и корпоративные вечеринки офисников-менеджеров с метанием боулинговых шаров, очень напоминающих рыболовецкие кувалды литого синего стекла, на которых держатся огромные неводные сети.

Вряд ли привиделись и поднадоевшие студизусы: если не тупые совсем, то обязательно

хитрющие и нагловатые — обоего пола. Но с гарантией на 100 % (процентов, как говорил маячный начальник Федоров) уверены: снился убаюканному воспоминаниями инженеру, а теперь «преподу» замечательный июльский, солнечный день и остров Седловатый, где Седалин пасет целое стадо буренок, а пацан Николка, которому подобреший Федоров вручил насовсем именную ракетницу и ящик патронов-ракет к ней, так и палит шипящими разноцветными огнями в ярко-синее небо. Грохот несется. И кот недовольный проснулся: опять кто-то во дворе среди ночи, явно перегуляв, поджег батарею китайской пиротехники. А как же? — Ведь рождественские каникулы!

1 января — 30 июня 2009, Тула

Автор выражает благодарность Тульской писательской организации Союза писателей России (ответственный секретарь Виктор Федорович Пахомов) за частичное финансирование издания настоящей книги из целевых средств Культурной программы Тульской области.

ОГЛАВЛЕНИЕ

К читателю (предисл. Леонида Ханбекова).....	3
От автора.....	8
«Воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток...».....	12
Утро без рассвета.....	25
Великий остров Седловатый.....	33
Телефон на острове и черномундирный подполковник Шулейко.....	45
Катанье дрови и палагубские бараны.....	62
Похищение Европы и плавсредства Кольского залива.....	77
Мичуринец Седалин и чаепитие у Матронина.....	100
Николка и Славка-гранатометатель.....	122
А война была недавно: маячные байки и были.....	133
Николка и его тезка, морской бог Никола.....	157
Николка и Меловой период.....	180
Дедушка ледокольного флота, тюлени, касатки и кит.....	198
Те же самые и клады зенитных землянок.....	211
Живой мир Торфяного озера и осушение озера Гранитного.....	225
Только-мелиоратор и ракетная пальба.....	234
Перезарядка огнетушителей и маяк-сирена острова Седловатого.....	246
Гусаровы, длинные рубли и поездка за три моря.....	259
Сталин, одеколон, бочонок пива и кино на острове.....	272
Опять про пиво, нянькин отпуск.....	285
Завоз продуктов, обитатели маячного дома и калуцкий мужик вредный.....	298
Старшие братья; одна мать и два отца.....	312
«Кентерберийские рассказы» — запретный плод и таинственная школа.....	322
Вечер без заката.....	334
Эпилог: где родился, там и пригодился.....	342

Библиотека журнала «Приокские зори»

Петровская академия наук и искусств
Независимое литературное агентство
«Московский Парнас»

ЯШИН
Алексей Афанасьевич

СТРАНА ХОЛОДА (ДЕТСТВО В ГИПЕРБОРЕЯХ)

Повесть

Компьютерный набор: Л. П. Хохлова
Компьютерная верстка
и изготовление оригинал-макета: С. В. Никитин
Редактирование и корректура: В. В. Резцов, А. А. Яшин
Художественное оформление: А. А. Яшин

Издатель — Независимое литературное агентство
«Московский Парнас»
123995, М., Поварская ул., 52, комн. 24,
тел. 8-495-691-63-41

Подписано в печать 07.11.2009 г.
Формат бумаги 76×90 1/32. Печ. л. 14,19.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура «Akademy»
Тираж 1000 экз. Заказ №

Отпечатано с готового оригинал-макета
в ЗАО «Гриф и К», 300062,
г. Тула, ул. Октябрьская, 81-а